ДМИТРИЙ

МЕРЕЖКОВСКИЙ

Данте

SHOUT
SHARE
IT

- Дмитрий Сергеевич Мережковский
  - ПРЕДИСЛОВИЕ. ДАНТЕ И МЫ
  - ЖИЗНЬ ДАНТЕ
    - I. НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ
    - II. ДРЕВНЕЕ ПЛАМЯ
    - III. ДВА ВМЕСТО ТРЕХ
    - IV. ПОЖИРАЕМОЕ СЕРДЦЕ
    - V. ЕРЕСЬ ЛЮБВИ
    - VI. ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ
    - VII. БЕАТРИЧЕ НЕИЗВЕСТНАЯ
    - VIII. СМЕРТЬ БЕАТРИЧЕ
    - IX. ПЕСТРАЯ ПАНТЕРА
    - X. ТЕМНЫЕ ЛУЧИ
    - XI. МЕЖДУ ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНОЙ
    - XII. В ЗУБАХ ВОЛЧИЦЫ
    - XIII. МАЛЕНЬКИЙ АНТИХРИСТ
    - XIV. ДАНТЕ-ИЗГНАННИК
    - XV. ДАНТЕ И КЕСАРЬ
    - XVI. В ВЕЧНЫХ ЛЬДАХ
    - XVII. ЛИЦО ДАНТЕ
    - XVIII. СВЕТ АЛЕБАСТРОВЫХ ОКОН
    - XIX. РАЙ
  - ЧТО СДЕЛАЛ ДАНТЕ
    - I. INCIPIT COMMEDIA
    - II. ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ
    - III. ДАНТЕ-МАГ
    - IV. ЧЕТЫРЕ МАГИИ
    - V. МЕХАНИКА ВЗРЫВОВ
    - VI. ЕСТЬ ЛИ АД?
    - VII. РАЗРУШЕНИЕ АДА
    - VIII. КРЕСТ И ПАРАЛЛЕЛИ
    - IX. АНТИ-ДАНТЕ
    - X. БУДУЩАЯ ЦЕРКОВЬ
    - XI. ДВА ИЛИ ТРИ?
    - XII. ДАНТЕ И ОН
    - XIII. ДАНТЕ И ОНА
    - XIV. ТРИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93

- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137

- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181

- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225

- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269

- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313

- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357

- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401

- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445

- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489

- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533

- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577

- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621

- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665

- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709

- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753

- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797

- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841

- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864
- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869
- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874
- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877
- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882
- ○ 883
- ○ 884
- ○ 885

- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893
- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897
- ○ 898
- ○ 899
- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908
- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913
- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918
- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921
- ○ 922
- ○ 923
- ○ 924
- ○ 925
- ○ 926
- ○ 927
- ○ 928
- ○ 929

- ○ 930
- ○ 931
- ○ 932
- ○ 933
- ○ 934
- ○ 935
- ○ 936
- ○ 937
- ○ 938
- ○ 939
- ○ 940
- ○ 941
- ○ 942
- ○ 943
- ○ 944
- ○ 945
- ○ 946
- ○ 947
- ○ 948
- ○ 949

Дмитрий Сергеевич Мережковский
Данте

ПРЕДИСЛОВИЕ. ДАНТЕ И МЫ

«Три в одном — Отец, Сын и Дух Святой — есть начало всех чудес».[1] Этим исповеданием Данте начинает, в «Новой жизни», жизнь свою; им же и кончает ее в «Божественной комедии»:

> Там, в глубине Субстанции Предвечной,
> Явились мне три пламеневших круга
> Одной величины и трех цветов…
> О, вечный Свет, Себе единосущный,
> Себя единого в Отце познавший,
> Собой единым познанный лишь в Сыне,
> Возлюбленный собой единым в Духе![2]

Все, чем Данте жил, и все, что сделал, заключено в этом одном, самом для нас непонятном, ненужном и холодном из человеческих слов, а для него — самом нужном, огненном и живом: Три.

«Нет, никогда не будет три одно!» — смеется — кощунствует Гете (Разгов. с Эккерманом), и вместе с ним дух всего отступившего от Христа, человечества наших дней. И Мефистофель, готовя, вместе со старой ведьмой, эликсир вечной юности для Фауста, так же кощунствует — смеется:

> Увы, мой друг, старо и ново,
> Веками лжи освящено,
> Всех одурачившее слово:
> Один есть Три и Три — Одно.[3]

Жив Данте, или умер для нас? Может быть, на этот вопрос вовсе еще не ответ вся его в веках немеркнущая слава, потому что подлинное существо таких людей, как он, измеряется не славой — отражением бытия, слишком часто обманчивым, — а самим бытием. Чтобы узнать, жив ли Данте для нас, мы должны судить о нем не по нашей, а по его собственной мере. Высшая мера жизни для него — не созерцание, отражение бытия сущего, а действие, творение бытия нового. Этим он превосходит всех трех остальных, по силе созерцания равных ему художников слова: Гомера, Шекспира и Гёте. Данте не только отражает, как они, то, что есть, но и творит то, чего нет; не только созерцает, но и

действует. В этом смысле высшей точки поэзии (в первом и вечном значении слова poiein: делать, действовать) достиг он один.

«Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осуществлять всю полноту созерцания, сначала для него самого, а потом для действия, prius ad speculandum, et secundum ad operandum».[4] Эту общую цель человечества Данте признает и для себя высшей мерою жизни и творчества: «Не созерцание, а действие есть цель всего творения („Комедии“) — вывести людей, в этой (земной) жизни, из несчастного состояния и привести их к состоянию блаженному. Ибо если в некоторых частях „Комедии“ и преобладает созерцание, то все же не ради него самого, а для действия».[5]

Главная цель Данте — не что-то сказать людям, а что-то сделать с людьми; изменить их души и судьбы мира. Вот по этой-то мере и надо судить Данте. Если прав Гёте, что Три — Одно есть ложь, то Данте мертв и мы его не воскресим, сколько бы ни славили.

Явный или тайный, сознательный или бессознательный суд огромного большинства людей нашего времени над Данте высказывает знаменитый итальянский «дантовед» (смешное и странное слово), философ и критик, Бенедетто Кроче: «Все религиозное содержание „Божественной комедии“ для нас уже мертво». Это и значит: Данте умер для нас; только в художественном творчестве, в созерцании, он вечно жив и велик, а в действии ничтожен. Это сказать о таком человеке, как Данте, все равно что сказать: «Душу свою вынь из тела, веру из поэзии, чтобы мы тебя приняли и прославили».

Все художественное творчество Данте, его созерцание, — великолепные, золотые с драгоценными каменьями, ножны; а в них простой стальной меч — действие. Тщательно хранятся и славятся ножны, презрен и выкинут меч.

«В эту самую минуту, когда я пишу о нем, мне кажется, что он смотрит на меня с высоты небес презрительным оком»,[6] — говорит Боккачио, первый жизнеописатель Данте, верно почувствовав что-то несоизмеримое между тем, чем Данте кажется людям в славе своей, и тем, что он есть.

Семь веков люди хулят и хвалят — судят Данте; но, может

быть, и он их судит судом более для них страшным, чем их — для него.

В том, что итальянцы хорошо называют «судьбою» Данте, fortuna, — громкая слава чередуется с глухим забвением. В XVI веке появляется лишь в трех изданиях «Видение Данте», «Visione di Dante», потому что самое имя «Комедии» забыто. «Слава его будет расти тем больше, чем меньше его читают», — злорадствует Вольтер в XVIII веке.[7] «Может быть, во всей Италии не найдется сейчас больше тридцати человек, действительно читавших „Божественную комедию“», — жалуется Альфиери в начале XIX века. Если бы теперь оказалось в Италии тридцать миллионов человек, читавших «Комедию», живому Данте вряд ли от этого было бы легче.

> О ты, душа… идущая на небо,
> Из милости утешь меня, скажи,
> Откуда ты идешь и кто ты? — ,

спрашивает одна из теней на Святой Горе Чистилища, и Даете отвечает:

> Кто я такой, не стоит говорить:
> Еще мое не громко имя в мире.[8]

Имя Данте громко сейчас в мире, но кто он такой, все еще люди не знают, ибо горькая «судьба» его, fortuna, — забвение в славе.

Древние персы и мидяне, чтобы сохранить тела покойников от тления, погружали их в мед. Нечто подобное делают везде, но больше всего в Италии, слишком усердные поклонники Данте. «Наш божественнейший соотечественник» (как будто мало для похвалы кощунства — сравнить человека с Богом, — нужна еще превосходная степень): эта первая капля меда упала на Данте в XVI веке, а в XX он уже весь с головой — в меду похвал.[9] Бедный Данте! Самого горького и живого из всех поэтов люди сделали сладчайшим и мертвейшим из всех. Казни в аду за чужие грехи он, может быть, слишком хорошо умел изобретать; но если был горд и чересчур жаден к тому, что люди называют «славой» (был ли действительно так горд и так жаден к славе, как это кажется, — еще вопрос), то злейшей казни, чем эта за свой собственный грех, не изобрел бы и он.

Те, кто, лет семь, по смерти Данте, хотел вырыть кости его из земли и сжечь за то, что он веровал будто бы не так, как учит Церковь, — лучше знали его и уважали больше, чем те, кто, через семь веков, славят его за истинную поэзию и презирают за ложную веру.

Люди наших дней, счастливые или несчастные, но одинаково, в обоих случаях, самоуверенные, никогда не сходившие и не подымавшиеся по склонам земли, ведущим вниз и вверх, в ад и в рай, не поймут Данте ни в жизни его, ни в творчестве. Им нечего с ним делать так же, как и ему с ними.

В самом деле, что испытал бы среднеобразованный, среднеумный, среднечувствующий человек наших дней, если бы, ничего не зная о славе Данте, вынужден был прочесть 14 000 стихов «Комедии»? В лучшем случае, — то же, что на слишком долгой панихидной службе по официально-дорогом покойнике; в худшем — убийственную, до вывиха челюстей зевающую скуку.

Разве лишь несколько стихов о Франческе да Римини, о Фаринате и Уголино развлекло бы его, удивило, возмутило или озадачило своей необычайностью, несоизмеримостью со всем, что он, средний человек, думает и чувствует. Но это не помешало бы ему согласиться с Вольтером, что поэма эта — «нагромождение варварских нелепостей»,[10] или с Ницше, что Данте — «поэтическая гиена в гробах».[11] А тем немногим, кто понял бы все-таки, что Данте велик, это не помешало бы согласиться с Гёте, что «величие Данте отвратительно и часто ужасно».[12]

Судя по тому, что сейчас происходит в мире, главной цели своей — изменить души людей и судьбы мира — Данте не достиг: созерцатель без действия, Колумб без Америки, Лютер без Реформации, Карл Маркс без революции, он и после смерти такой же, как при жизни, вечный изгнанник, нищий, одинокий, отверженный и презренный всеми человек вне закона, трижды приговоренный к смерти: «Многие… презирали не только меня самого, но и все, что я сделал и мог бы еще сделать».[13] Это презрение, быть может, тяготеет на нем, в посмертной славе его, еще убийственнее, чем при жизни, в бесславии.

И все-таки слава Данте не тщетна: кто еще не совсем уверен, что весь религиозный путь человечества ложен и пагубен, — смутно чувствует, что здесь, около Данте, одно из тех святых

мест, о которых сказано: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая»;[14] смутно чувствует, что на этом месте зарыто такое сокровище, что если люди его найдут, то обогатятся нищие. Как бы Данте ни умирал для нас, что-то в нем будет живо, пока дух человеческий жив.

Если отступившее от Христа человечество идет по верному пути, Данте никогда не воскреснет; а если по неверному, — то, кажется, день его воскресения сейчас ближе, чем когда-либо. В людях уже пробуждается чувство беспокойства; если еще смутное и слабое сейчас оно усилится, то люди поймут, что заблудились в том же «темном и диком лесу», в котором заблудился и Данте перед сошествием в ад:

> Столь горек был тот лес, что смерть немногим горше.[15]

Данте воскреснет, когда в людях возмутится и заговорит еще немая сейчас, или уже заглушенная, не личная, а общая совесть. Каждый человек в отдельности более или менее знает, что такое совесть. Но соединения людей — государства, общества, народы — этого не знают вовсе или не хотят знать; жизнь человечества — всемирная история, чем дальше, тем бессовестней. Малые злодеи казнятся, великие — венчаются по гнусному правилу, началу всех человеческих низостей: «победителей не судят». Рабское подчинение торжествующей силе, признание силы правом, — вот против чего возмущается «свирепейшим негодованием растерзанное сердце» Данте, saevissimo indignatione cor dilaceratum.[16] Нет такого земного величия и славы, где Дантово каленое железо не настигло бы и не выжгло бы на лбу злодея позорного клейма.

«Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются… Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы» (Пс. 81, 5–8). Это Данте сказал так, как никто не говорил после великих пророков Израиля.

Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? (Откр. 6, 9—10).

Этот, потрясающий небо, вопль повторяет Данте на земле:

> О, Господи! Когда же наконец

Увижу я Твое святое мщенье,
Что делает нам сладостным Твой гнев?[17]

В голосе Данте слышится, немолчный в веках, голос человеческой совести, заговорившей, как никогда, после распятой на кресте Божественной Совести.

Я не могу сказать, как я туда зашел,
Так полон я был смутным сном в тот миг,
Когда я верный путь уже покинул, — [18]

вспоминает Данте, как заблудился в темном диком лесу, ведущем в ад. Кажется иногда, что весь мир полон сейчас тем же смутным сном, — как бы умирает во сне, чтобы сойти в ад. Если суждено ему проснуться, то, может быть, в одном из первых, разбудивших его, голосов он узнает голос воскресшего Данте.

Верно угадал Пифагор: миром правит Число; музыка сфер есть божественная, в движении планет звучащая математика. К музыке сфер мы оглохли, но лучше Пифагора знаем, что правящие миром основные законы механики, физики, химии, а может быть, и биологии выражаются в математических символах-числах.

Символ войны — число Два. Два врага: два сословия, богатые и бедные, — в экономике; два народа, свой и чужой, — в политике; два начала, плоть и дух, — в этике; два мира, этот и тот, — в метафизике; два бога, человек и Бог, — в религии. Всюду Два и между Двумя — война бесконечная. Чтобы окончилась война, нужно, чтобы Два соединились в Третьем: два класса — в народе, два народа — во всемирности, две этики — в святости, две религии, человеческая и божеская, — в Богочеловеческой. Всюду два начала соединяются и примиряются в третьем так, что они уже Одно — в Трех, и Три — в Одном. Это и значит: математический символ мира — число Три. Если правящее миром число — Два, то мир есть то, что он сейчас: бесконечная война; а если — Три, то мир будет в конце тем, чем был сначала, — миром.

«Нет, никогда не будет Три — Одно», — возвещает миру, устами Гёте, дух отступившего от Христа человечества, и мир этому верит.

Ах, две души живут в моей груди!
Хочет одна от другой оторваться…
В грубом вожделенье, одна приникает к земле,
всеми трепетными членами жадно,
а другая рвется из пыли земной
к небесной отчизне, — [19]

возвещает миру тот же дух, устами Гёте-Фауста. Хочет душа от души оторваться, и не может, и борется в смертном борении. Это не Божественная комедия Трех, а человеческая трагедия Двух. С Гёте-Фаустом, под знаком двух — числа войны, — движется сейчас весь мир: куда, — мы знаем, или могли бы знать по холодку, веющему нам уже прямо в лицо со дна пропасти. Первый человек, на дне ее побывавший и только чудом спасшийся, — Данте. То, что он там видел, он назвал словом, которое сегодня кажется нам смешным и сказочным, но завтра может оказаться страшно-действительным: Ад. Вся «Комедия» есть не что иное, как остерегающий крик заблудившимся в «темном и диком лесу», который ведет в Ад.

Это и есть цель всей жизни и творчества Данте: с гибельного пути, под знаком Двух, вернуть заблудившееся человечество на путь спасения, под знаком Трех. Вот почему сейчас, для мира, погибнуть или спастись — значит сделать выбор: Гёте или Данте; Два или Три. Только что люди это поймут, — Данте воскреснет.

Найденные в пирамидах Древнего Египта семена пшеницы, положенные туда за пять тысяч лет, если их посеять, прорастают и зеленеют свежей зеленью. Сила жизни, скрытая в Данте, подобна такому пятитысячелетнему, пирамидному семени. «Три — одно есть начало всех чудес», и этого, величайшего из всех, — Вечной Любви, воскрешающей мертвых.

Спасти нас может вечная Любовь,
Пока росток надежды зеленеет…[20]

Счастлив, кто первый увидит в сердце Данте, певца бессмертной надежды, этот зеленеющий росток вечной весны; счастлив, кто первый скажет: «Данте воскрес».

Что это скоро будет — чувствуется в мире везде; но больше всего на родине Данте. Кто он такой в первом и последнем религиозном существе своем, всемирно-историческом действии

Трех, — люди не знают и здесь, как нигде. Знают, чем был он для Италии, но чем будет для мира, не знают. Все еще и здесь живая душа его спит в мертвой славе очарованным сном, как сказочная царевна в хрустальном гробу.

Я пишу эти строки на одном из окружающих Флоренцию блаженно-пустынных и райски-цветущих холмов Тосканы. Стоит мне поднять глаза от написанных строк, чтобы увидеть ту землю, о которой Данте говорил в изгнании: «Мир для меня отечество, как море для рыб, но, хотя я любил Флоренцию так, что терплю несправедливое изгнание за то, что слишком любил ее, все же нет для меня места в мире любезнее Флоренции».[21]

О ней (Беатриче) говорит Любовь: «Смертное как может быть таким прекрасным и чистым?»[22] «Как может земля быть такой небесной?» — могла бы сказать Любовь и о земле Беатриче. Кажется, нет в мире более небесной земли, чем эта. Вечно будет напоминать людям-изгнанникам об их небесной отчизне эта, самая блаженная, и самая грустная, как будто с неба изгнанная и вечно о небе тоскующая, земля. Только здесь и могла родиться величайшая, какая только была в человеческом сердце, тоска земного изгнания по небесной отчизне, — любовь Данте к Беатриче.

> Цвет жемчуга в ее лице (Беатриче).[23]

Тот же цвет и в лице ее земли. В серебристой серости этих далеких, в солнечной мгле тающих, гор — исполинских жемчужин — цвет голубой, небесный, холодный, переливается в розовый, теплый, земной. И в девственной нежности, с какою волнуется чистая линия гор на небе и с какой на земле волновалась чистейшая линия женского тела, когда Беатриче шла по улице, «венчанная и облеченная смирением», — та же незримая прелесть, как в музыке Дантовых о ней стихов:

> «Amor che ne la mente mi ragiona».
> «Любовь с моей душою говорит», —
> Так сладко он запел, что и доныне
> Звучит во мне та сладостная песнь.[24]

И будет звучать, пока жива в мире любовь.

«Так смиренно было лицо ее, что, казалось, говорило: всякого

мира я вижу начало», — вспоминает Данте первое видение Беатриче умершей — бессмертной.[25] Так смиренно и лицо этой земли, что, кажется, хочет сказать: «Всякого мира я вижу начало». Даже в эти страшные-страшные, черные дни, когда всюду в мире война, — в этой земле, где родилась вечная Любовь, — вечный мир.

О, чужая — родная земля! Почему именно здесь я чувствую больше, чем где-либо, что тоска по родине в сердце изгнанников неутолима, — не хочет быть утолена? Почему я не знаю, лучше ли мне здесь, в этом раю почти родной земли, чем было бы там, в аду совсем родной? И может ли земную родину заменить даже небесная? Кажется, этого и Данте не знал, когда говорил: «Больше всех людей я жалею тех, кто, томясь в изгнании, видит отечество свое только во сне».[26] Почему звучит в сердце моем эта тихая, как плач ребенка во сне, жалоба Данте-изгнанника: «О, народ мой! Что я тебе сделал?»[27]

Это во сне, а наяву все муки изгнания — ничто, лишь бы и мне сказать, как Данте говорит от лица всех изгнанников, борющихся за живую душу родины — свободу:

> Пусть презренны мы ныне и гонимы, —
> Наступит час, когда, в святом бою,
> Над миром вновь заблещут эти копья…
> Пусть жалкий суд людей иль сила рока
> Цвет белый черным делает для мира, —
> Пасть с добрыми в бою хвалы достойно.[28]

Только ли случай, или нечто большее, — то, что именно в эти, страшные для всего человечества, дни, может быть, канун последней борьбы его за свою живую душу, — свободу, — русский человек пишет о Данте, нищий — о нищем, презренный всеми — о презренном, изгнанный — об изгнанном, осужденный на смерть — об осужденном?

Никто из людей европейского Запада не поймет сейчас того, что я скажу. Но все поймут, когда увидят, — и, может быть, скоро, — что в судьбах русского Востока решаются и судьбы европейского Запада.

Самый западный из западных людей, почти ничего не знавший и не желавший знать о Востоке, видевший все на Западе, а к Востоку слепой, — Данте, кончив главное дело всей жизни

своей, — «Комедию», последним видением Трех, — умер — уснул, чтобы проснуться в вечности, на пороге Востока — в Равенне, где умер Восток, где Византийская Восточная Империя кончилась, и начиналась Западная, Римская.

Если в жизни таких людей, как Данте, нет ничего бессмысленно-случайного, но все необходимо-значительно, то и это, как все: к Западу обращено лицо Данте во времени, а в вечности — к Востоку. Данте умер на рубеже Востока и Запада, именно там, где должен был умереть первый возвеститель объединяющей народы, Западно-Восточной всемирности. Если так, то впервые он понят и принят будет на обращенном к Западу Востоке, — в будущей свободной России.

Только там, где, ища свободы без Бога и против Бога, люди впали в рабство, невиданное от начала мира, поймут они, что значат слова Данте: «Величайший дар Божий людям — свобода… ибо только в свободе мы уже здесь, на земле, счастливы, как люди, и будем на небе блаженны, как боги».[29]

Только там, в будущей свободной России, поймут люди, что значит: «Всех чудес начало есть Три — Одно», и когда поймут, — начнется, предсказанное Данте, всемирно-историческое действие Трех.[30]

ЖИЗНЬ ДАНТЕ

I. НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ

«'Incipit vita nova', — перед этим заголовком в книге памяти моей не многое можно прочесть», — вспоминает Данте о своем втором рождении, бывшем через девять лет после первого, потому что и он, как все дети Божии, родился дважды: в первый раз от плоти, а во второй — от Духа.[31]

Если кто не родится… от Духа, не может войти в Царствие Божье. (Ио. 3, 5.)

Но чтобы понять второе рождение, надо знать и первое, а это очень трудно: Данте, живший во времени, так же презрен людьми и забыт, как живущий в вечности.

Малым кажется великий Данте перед Величайшим из сынов человеческих, но участь обоих в забвении, Иисуса Неизвестного — неизвестного Данте, — одна. Только едва промелькнувшая, черная на белой пыли дороги тень — человеческая жизнь Иисуса; и жизнь Данте — такая же тень.

> …Я родился и вырос,
> В великом городе, у вод прекрасных Арно.[32]

В духе был город велик, но вещественно мал: Флоренция Дантовых дней раз в пятнадцать меньше нынешней; городок тысяч в тридцать жителей, — жалкий поселок по сравнению с великими городами наших дней.[33]

Тесная, в третьей и последней, при жизни Данте, ограде зубчатых стен замкнутая, сжатая, как нераспустившийся цветок, та водяная лилия Арнских болот, сначала белая, а потом, от льющейся в братоубийственных войнах, крови сынов своих, красная, или от золота червонцев, червонная лилия, что расцветет на ее родословном щите, — Флоренция была целомудренно-чистою, как тринадцатилетняя девочка, уже влюбленная, но сама того не знающая, или как ранняя, еще холодная, безлиственная и безуханная весна.

> Стыдливая и трезвая, в те дни,
> Флоренция, в ограде стен старинных,
> С чьих башен несся мерный бой часов,
> Покоилась еще в глубоком мире.
> Еще носил Беллинчионе Берти
> Свой пояс, кожаный и костяной;
> Еще его супруга отходила

От зеркала, с некрашеным лицом…
Еще довольствовались жены прялкой.
Счастливые! спокойны были, зная,
Что их могила ждет в родной земле,
И что на брачном ложе не покинут
Их, для французских ярмарок, мужья.
Одна, качая колыбель младенца,
Баюкала его родною песнью,
Что радует отца и мать; другая
С веретена кудель щипала, вспоминая
О славе Трои, Фьезоле и Рима.[34]

Данте обманывает себя в этих стихах, волшебным зеркалом памяти: мира не знала Флоренция и в те дни, которые кажутся ему такими счастливыми. Годы мира сменялись веками братоубийственных войн, что запечатлелось и на внешнем облике города: темными, острыми башнями весь ощетинился, как еж — иглами. «Город башен», cittá turrita,[35] — в этом имени Флоренции ее душа — война «разделенного города», cittá partita.[36] Самых высоких, подоблачных башен, вместе с колокольнями, двести, а меньших — почти столько же, сколько домов, потому что каждый дом, сложенный из огромных, точно руками исполинов обтесанных, каменных глыб, с узкими, как щели бойниц, окнами, с обитыми железом дверями и с торчащими из стен, дубовыми бревнами для спешной кладки подъемных мостов, которые, на железных цепях, перекидывались из дома к дому, едва начинался уличный бой, — почти каждый дом был готовой к междуусобной войне, крепостною башнею.[37]

Данте родился в одном из таких домов, в древнейшем сердце Флоренции, куда сошли с горы Фьезоле первые основатели города, римляне. Там, на маленькой площади, у церкви Сан-Мартино-дель-Весково, рядом с городскими воротами Сан-Пьетро, у самого входа в Старый Рынок, на скрещении тесных и темных улочек, находилось старое гнездо Алигьери: должно быть, несколько домов разной высоты, под разными крышами, слепленных в целое подворье, или усадьбу, подобно слоям тех грибных наростов, что лепятся на гниющей коре старых деревьев.[38]

Данте был первенец мессера Герардо Алигьеро ди Беллинчионе (Gherardo Alighiero di Bellincione) и монны Беллы Габриэллы, неизвестного рода, может быть, Дельи Абати (degli Abati).[39]

Памятным остался только год рождения, 1265-й, а день — забыт даже ближайшими к Данте по крови людьми, двумя

сыновьями, Пьетро и Джакопо, — первыми, но почти немыми, свидетелями жизни его. Только по астрономическим воспоминаньям самого Данте о положении солнца в тот день, когда он «в первый раз вдохнул тосканский воздух»,[40] можно догадаться, что он родился между 18 мая, вступлением солнца под знак Близнецов, и 17 июня, когда оно из-под этого знака вышло.[41]

Имя, данное при купели, новорожденному, — Durante, что значит: «Терпеливый», «Выносливый», и забытое для ласкового, уменьшительного «Dante», — оказалось верным и вещим для судеб Данте.

Древний знатный род Алигьери — от рода Элизеев, кажется, римских выходцев во дни Карла Великого, — захудал, обеднел и впал в ничтожеств.[42][43] В списке знатных, флорентийских, гвельфовских и гибеллиновских родов он отсутствует.[44] Может быть, уже в те дни, когда родился Данте, принадлежал этот род не к большой рыцарской знати, а к малой, piccola nobilita, — к тому среднему сословию, которому суждено было выдвинуться вперед и занять место древней знати только впоследствии.[45]

Данте не мог не видеть, как потускнело «золотое крыло в лазурном поле», на родословном щите Алигьери,[46] и хорошо понимал, что слишком гордиться знатностью рода ему уже нельзя; понимал и то, что гордиться славою предков глупо и смешно вообще, а такому человеку, как он, особенно, — потому что «благородство человека — не в предках его, а в нем самом».[47] Но и понимая это, все-таки гордился.

> Я не дивлюсь тому, что люди на земле
> Гордятся жалким благородством крови:
> Я ведь и сам гордился им на небе, — [48]

кается он, после встречи, в раю, с великим прапрадедом своим, Качьягвидой Крестоносцем. Чувствует, или хотел бы чувствовать, в крови своей «ожившее святое семя» тех древних римлян, что основали Флоренцию.[49] Но римское происхождение Алигьери «очень сомнительно», — замечает жизнеописатель Данте, Леонардо Бруни.[50]

Может быть, далекою славою предков Данте хочет прикрыть ближайший стыд отца. «В сыне своем ему суждено было прославиться более, чем в себе самом», — довольно зло замечает Боккачио.[51] Это значит: единственное доблестное дело Алигьери-отца — рождение такого сына, как Данте. Будучи Гвельфского рода, он, за пять лет до рождения Данте, был изгнан из Флоренции, со всеми остальными Гвельфами, но

подозрительно скоро, прощенный, вернулся на родину: так, обыкновенно, прощают, в борьбе политических станов, если не изменников, то людей малодушных.

Кажется, неудачный юрисконсульт или нотарий, сер Герардо пытался умножить свое небольшое наследственное имение отдачей денег в рост и был, если не «ростовщиком», в точном смысле слова, то чем-то вроде «менялы» или «биржевого маклера».[52] Данте, может быть, думает об отце, когда говорит о ненавистной ему породе новых денежных дельцов:

> …Всякий флорентиец, от рожденья,
> Меняла или торгаш.[53]

О нем же думает он, может быть, и в преддверии ада, где мучаются «малодушные», ignavi, «чья жизнь была без славы и стыда», «не сделавшие выбора между Богом и дьяволом», «презренные и никогда не жившие».[54]

По некоторым свидетельствам, впрочем, неясным, — сер Герардо, за какие-то темные денежные дела, был посажен в тюрьму, чем навсегда запятнал свою память.[55]

Данте был маленьким мальчиком, когда впервые, почти на его глазах, пролита была, в каиновом братоубийстве, человеческая кровь: дядя его, брат отца, Жери дэль Бэлло (Geri del Bello), убив флорентийского гражданина из рода Саккетти, злодея и предателя, жившего в соседнем доме, сам вскоре был злодейски и предательски убит. Старшему в роде, серу Герардо, брату убитого, должно было, по закону «кровавой мести», vendetta, отомстить за брата; а так как это не было сделано, то второй вечный позор пал на весь род Алигьери.[56]

Данте встретит, в аду, тень Жери дэль Бэлло.

> Он издали мне пальцем погрозил;
> И я сказал учителю: «За смерть
> Не отомщенную меня он презирает».[57]

Бывший друг, сосед и родственник Данте, форезе Доната, в бранном сонете, жестоко обличает этот позор отца и сына:

> …Тебя я знаю,
> Сын Алигьери; ты отцу подобен.
> Такой же трус презреннейший, как он.[58]

Зная исступленную, иногда почти «сатанинскую», гордыню Данте, можно себе представить, с каким чувством к отцу, тогда уже покойному, он должен был, молча, проглотить обиду. Вот, может быть, почему никогда, ни в одной из книг своих, ни слова не говорит он об отце: это молчание красноречивее всего, что он мог бы сказать. Страшен сын, проклинающий отца; но еще страшнее — молча его презирающий.

В небе Марса, увидев живое светило, «топаз живой»,[59] — великого прапрадеда своего, Качьягвидо, Данте приветствует его, со слезами гордой радости:

> Вы — мой отец.[60]

Это значит: «Мой отец, настоящий, единственный, — вы; другого я знать не хочу».

> О, ветвь моя… я корнем был твоим!
> [61]

отвечает ему тот.

Какою гордостью, должно быть, блестели глаза правнука, когда Качьягвидо ему говорил:

> Конраду императору служа,
> Я доблестью был так ему любезен,
> Что в рыцари меня он посвятил;
> И с ним ходил я во Святую Землю,
> Где мучеников принял я венец.[62]

Мать Данте умерла, когда ему было лет шесть, родив, после него, еще двух дочерей. Судя по тому, как Данте, в «Новой жизни», вспоминает об одной из них, брат и сестра нежно любили друг друга.[63] Сер Герардо, после пяти лет вдовства, женился второй раз на монне Лаппе ди Чалуффи (Lappa di Cialuffi).[64] Если бы Данте не помнил и не любил матери с благоговейной нежностью, то не повторил бы устами Вергилия, о себе и о ней, странно не боясь, или не сознавая кощунства, — того, что сказано о Христе и Божьей Матери:

> …Благословенна
> Носившая тебя во чреве.[65]

В детстве неутоленную, и потом уже ничем не утолимую, жажду материнской любви Данте будет чувствовать всю жизнь, и чего не нашел в этом мире, будет искать в том. В нежности «сладчайшего отца» его, Вергилия, будет сниться ему материнская нежность, как умирающему от жажды снится вода.[66] В страшные минуты неземного странствия прибегает он к Вергилию с таким же доверием, с каким

> Дитя в испуге,
> Или в печали, к матери бежит.[67]

В безднах ада, когда гонятся за ним разъяренные дьяволы, чтобы унести, может быть, туда, откуда нет возврата, Вергилий спасает его:

> Взяв за руки меня, он так бежал,
> Как ночью, мать, проснувшись от пожара,
> И спящее дитя схватив, бежит.[68]

«Господи… не смирял ли я и не успокаивал ли я души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди» (Пс. 130, 1–2): это Данте почувствовал с самого начала жизни и будет чувствовать всю жизнь.

Кем он оставлен в большем сиротстве — умершей матерью, или живым отцом, — этого он, вероятно, и сам хорошенько не знает. Стыдный отец хуже мертвого. Начал жизнь тоской по отцу, — кончит ее тоской по отечеству; начал сиротой, — кончит изгнанником. Будет чувствовать всегда свое земное сиротство, как неземную обиду, — одиночество, покинутость, отверженность, изгнание из мира.

«Я ушел туда, где мог плакать, никем не услышанный, и, плача, я заснул, как маленький прибитый ребенок», — вспоминает он, в юности, об одной из своих горчайших обид.[69]

Вот что значит «гордая душа» — у Данте:[70] миром «обиженная», — не презирающая мира, а миром презренная душа.[71]

II. ДРЕВНЕЕ ПЛАМЯ

Темные башни Флоренции еще темнее, на светлом золоте утра. Самая темная изо всех та, что возвышается над маленькой площадью Сан-Мартино-дель-Весково, в двух шагах от дверей дома Алигьери, — четырехугольная, тяжелая, мрачная, точно тюремная, башня дэлла Кастанья.[72] Каждое утро, на восходе солнца, тянется черная, длинная тень от нее по тесной улочке Санта Маргерита, соединяющей дом, где живет девятилетний мальчик Данте, сын бедного бесславного менялы сера Герардо, — с домом восьмилетней девочки, Биче, дочери вельможи, купца и тоже менялы, но славного и богатого, Фолько Портинари. Сто шагов от дома к дому, или, на языке пифагорейских — дантовских чисел: девяносто девять — трижды тридцать три. Врежется в живую душу Данте это число, мертвое для всех и никому непонятное, — Три, — как в живое тело, в живое сердце, врезается нож.

В черной от башни тени, на белую площадь утренним солнцем откинутой, плачет маленький мальчик от земного сиротства, как от неземной обиды; и вдруг перестает плакать, когда в щели, между камнями башни, под лучом солнца, вспыхивает красный весенний цветок, точно живое алое пламя, или капля живой крови. Глядя на него, все чего-то ждет, или что-то вспоминает, и не может вспомнить. Вдруг вспомнил: «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, — не только для него, но и для всего мира, — Новая Любовь, Новая Весна.

15 мая 1275 года, произошло событие, величайшее в жизни Данте, и одно из величайших в жизни всего человечества.

«Девять раз (девять — трижды Три: это главное, что он поймет уже потом, через девять лет, и что врежется в сердце его, как огненный меч Серафима) — девять раз, от моего рождения, Небо Света возвращалось почти к той же самой точке своего круговращения, — когда явилась мне впервые… облеченная в одежду смиренного и благородного цвета, как бы крови, опоясанная и венчанная так, как подобало юнейшему возрасту ее, — Лучезарная Дама души моей, называвшаяся многими, не знавшими настоящего имени ее, — Беатриче».[73]

Вспыхнул под лучом солнца, в щели камней, красный весенний цветок, как живое пламя или капля живой крови: вот чего он ждал, что хотел и не мог вспомнить.

«… И я сказал: вот бог, сильнейший меня; он приходит, чтобы мною овладеть».[74] Этого не мог бы сказать, ни даже подумать, девятилетний мальчик, но мог почувствовать великую,

божественную силу мира — Любовь.

Эта «Лучезарная Дама», gloriosa donna, — восьмилетняя девочка, Биче Портинари, — для тех, кто не знает ее настоящего, неизреченного имени. Но девятилетний мальчик, Данте Алигьери, узнал — вспомнил Ее, а может быть, и Она его узнала. Вспомнили — узнали оба то, что было и будет в вечности.

В этой первой их встрече, земной, произошло то же, что произойдет и в последней, небесной: та же будет на Ней и тогда «одежда алая, как живое пламя»,[75] — живая кровь (что в земном теле — кровь, то в небесном — пламя); так же узнает он Ее и тогда:

> И после стольких, стольких лет разлуки,
> В которые отвыкла умирать
> Душа моя, в блаженстве, перед Нею,
> Я, прежде, чем Ее мои глаза
> Увидели, — уже по тайной силе,
> Что исходила от Нее, — узнал,
> Какую все еще имеет власть
> Моя любовь к Ней, древняя, как мир.
> Я потрясен был и теперь, как в детстве,
> Когда ее увидел в первый раз;
> И, обратясь к Вергилию, с таким же
> Доверием, с каким дитя, в испуге
> Или в печали, к матери бежит, —
> Я так сказал ему: «Я весь дрожу,
> Вся кровь моя оледенела в жилах;
> Я древнюю любовь мою узнал».[76]

Нет никакого сомнения, что Данте, говоря о себе устами Беатриче:

> Он в жизни новой был таким,
> Что мог бы в ней великого достигнуть, — [77]

связывает эти две встречи с Нею, — первую, земную, в «Новой жизни», и последнюю, небесную, в «Комедии»: это будет на небе, потому что было на земле; будет всегда и для всех, в вечности, потому что было для него однажды, во времени, — в такую-то минуту, в такой-то час, такого-то дня: 15 мая 1275 года от Р. Х., 10-го — от рождения Данте.

Как это ни удивительно и ни мало вероятно для нас, нет сомнения, что девятилетний мальчик, Данте, был, в самом деле,

влюблен в восьмилетнюю девочку. Биче.

Едва девятое круговращенье солнца
Исполнилося в небе надо мной,
Как я уже любил.[78]

К девятилетнему мальчику пришла, в самом деле, восьмилетняя девочка, «с тем огнем», в котором он «всегда будет гореть». Первый ожог этого огня он почувствовал не только в душе, но и в теле, как чувствует его пораженный молнией.

В тот день, когда она явилась мне…
Я был еще ребенком, но внезапно
Такую новую узнал я страсть…
Что пал на землю, в сердце пораженный,
Как молнией.[79]

«Что за лицо у бога Любви?» — спрашивает Платон и отвечает: «молниеносное», opsis astrapousa. То же лицо и у Ангела, явившегося женам у гроба воскресшего Господа: «было лицо его, как молния» (Мт. 28, 3).

Данте мог бы сказать, уже в день той первой встречи с Нею, как скажет
потом, через сорок лет:

Я древнюю любовь мою узнал.

Между этими двумя встречами, земной и небесной, вся его жизнь — песнь Беатриче:

С тех юных дней, как я ее увидел
Впервые на земле, ей песнь моя,
До этого последнего виденья,
Не прерывалась никогда.[80]

Это глубоко и верно понял Боккачио: «С того дня, образ ее… уже никогда, во всю жизнь не отступал от него».[81]

Может быть, главное для Данте блаженство в этой первой встрече — то, что кончилось вдруг его земное сиротство — неземная обида, и что снова нашел он потерянную мать. Девятилетний мальчик любит восьмилетнюю девочку, «Лучезарную Даму души своей», как Сестру — Невесту — Мать,

одну в Трех. Сердце его обожгла — и след ожога навсегда в нем останется — молния Трех.

III. ДВА ВМЕСТО ТРЕХ

Данте родился под созвездием Близнецов. Два Близнеца были на небе, два согласно-противоположных Двойника; те же Два будут и на земле в душе самого Данте: Вера и Знание; и душа его между ними разделится надвое.

О, чудное созвездье Близнецов,
О, Свет могучий, весь мой дар, я знаю,
Каков бы ни был он, я принял от тебя…
Под знаменьем твоим я родился
И в первый раз вдохнул тосканский воздух.
Потом, когда вступил я в звездные колеса
Здесь, в высоте вращающихся сфер, —
Твоя назначена была мне область.
Тебя же, ныне, воздыхая снова,
Душа моя благоговейно молит:
Подай мне силу кончить трудный путь![82]

Надо будет Данте пройти до конца, под знаком Двух, не только на земле, но и на небе, весь «трудный путь» разделения, чтобы достигнуть соединения под знаком Трех.

Мудрым звездочетам тех дней было известно, что рожденные под звездным знаком Близнецов предназначены к великому знанию.

Коль будешь верен ты своей звезде,
То дверь свою тебе откроет Слава, — [83]

предскажет и Брунетто Латини, учитель, ученику своему, Данте, вероятно, потому, что манит и самого Данте слава не великого поэта, а великого ученого: не Гомера, новых песен творца, а Улисса, открывателя новых земель или «никем, никогда еще не испытанных истин», по чудному слову Данте;[84] слава не тех, кто чувствует и говорит, а тех, кто знает и делает. Так редка эта слава, и так необычайна, что он и сейчас, через семь веков, все еще ее не достиг.

Кажется, Данте был несправедлив к отцу. Сделаться великим ученым он не мог бы, если бы для этого не было заложено в нем основания с раннего детства и юности. Школьное учение, в те дни, когда, по свидетельству Боккачио, «науки были совершенно

покинуты», стоило немалых денег.[85] Если же верно свидетельство Бруни, что Данте, «с раннего детства был воспитан в свободных науках»,[86] то это могло быть лишь потому, что сер Алигьеро, хотя и «меняла-торгаш», подобно всем флорентийцам, — денег не жалел на учение сына: значит, любил его и хотел ему добра. И если мы, чужие люди, через семь веков, можем ему за это многое простить, то сын — тем более. Но Данте отцу не простил:

> он вообще не умел или не знал, что умеет прощать.

Первыми книгами, в слабых, детских руках его, были, вероятно, тяжеловесные рукописные учебники Доната и Присциллиана: «Основание искусства грамматики»,[87] а первыми учителями — иноки францисканской обители Санта-Кроче, находившейся в ближайшем соседстве с домами Алигьери: здесь была одна из двух главных во Флоренции детских школ;[88] другая была в доминиканской обители Санта-Мария-Новелла.

В школе Санта-Кроче, вероятно, и посвящен был отрок Данте в премудрость семи наук схоластической «Тройни и Четверни», Тривии и Квадривии: в ту входили грамматика, риторика и диалектика; в эту — арифметика, геометрия, музыка и астрономия.[89] Большая часть этих наук была лишь варварским полуневежеством, кладбищем древнеэллинских знаний, высохшим колодцем, камнем вместо хлеба. Хлеб нашел Данте не во многих мертвых книгах, а в единственной живой. «Будучи отроком, он уже влюбился в Священное Писание», — вспоминает один из надежнейших, потому что ближайших ко времени Данте, истолкователей «Комедии».[90] Так же, как в маленькую девочку Биче, «влюбился» он и в великую, древнюю Книгу. «Данте, говорят, был в ранней юности послушником в братстве св. Франциска, но потом оставил его», — вспоминает другой, позднейший, истолкователь.[91] Раньше семнадцати лет Данте, по уставу Братства, не мог принять пострига; но думать о том мог, конечно, и раньше.

> Я был тогда веревкой опоясан
> И думал ею изловить Пантеру
> С пятнистой шкурой, —

(сладострастную Похоть), — вспоминает сам Данте, в Аду, может быть, о той веревке Нищих Братьев, которую носил, или о которой мечтал, с ранней юности.[92]

Судя по тому, что впоследствии он должен был всему переучиваться, в школе он учился плохо. Кажется, главная его наука была в вещих снах наяву, в «ясновидениях». — «Многое я уже тогда видел как бы во сне».[93] — «Данте… видел все», — по чудному слову фр. Саккетти.[94] Истинная наука есть «не узнавание, а воспоминание, anamnêsis», — это слово Платона лучше всех людей, кроме святых, понял бы Данте; узнает — вспоминает он, только в самую глухую ночь, когда

> Густеет мрак, как хаос на водах,
> Беспамятство, как Атлас давит сушу;
> Лишь Музы девственную душу
> В пророческих тревожат боги снах, — [95]

душу еще не рожденной, но уже зачатой музы Данте. — «Я уже тогда сам научился говорить стихами», — вспомнит он об этих пророческих снах. Учится в них говорить «сладкие речи любви».[96]

Первый светский учитель Данте, не в школе, а в жизни, — самый ранний гуманист, Брунетто Латини, консул в цехе судей и нотариев, государственный канцлер Флорентийской Коммуны, сначала посланник, а потом один из шести верховных сановников, Приоров; «великий философ и оратор», по мнению тогдашних людей, а по нашему, — ничтожный сочинитель двух огромных и скучнейших «Сокровищ», Tesoro — одного на французском языке, другого — на итальянском, — в которых солома хочет казаться золотом.[97] «Он первый очистил наших флорентийцев от коры невежества и научил их хорошо говорить и управлять Республикой, по законам политики», — славит его летописец тех дней Джиованни Виллани, только с одной оговоркой: «Слишком был он мирским человеком».[98]

> Немножечко мирскими
> Прослыли мы в те дни, —

признается и сам Брунетто.[99] Что это значит, объяснит он, покаявшись на старости лет, когда и черт становится монахом:

> И в Бога я не верил,
> И церкви я не чтил,
> Словами и делами
> Я оскорблял ее.[100]

Больше всего оскорблял тем пороком, о котором скажет Ариосто:

> Мало есть ученых, в наши дни, без этого порока,
> за который был вынужден Бог
> опустошить Содом и Гоморру.[101]

Слишком усердно подражал Брунетто великим образцам языческой древности; слишком нравились ему отроки с девической прелестью лиц, каких много было тогда во Флоренции, каким был и Данте, судя по Джиоттову образу над алтарем в часовне Барджелло (лет в пятнадцать, когда, вероятно, зазнал Данте сера Брунетто, эта девическая, почти ангельская, прелесть Дантова лица могла быть еще пленительней, чем в позднейшие годы, когда писана с него икона-портрет Джиотто).

«Вот связался черт с младенцем!» — посмеивались, должно быть, знавшие вкусы Брунетто над удивительной дружбой великого сановника с маленьким школьником. Думал ли старый греховодник сделать Данте для себя тем же, чем, в Платоновом «Пире», хочет быть Алкивиад для Сократа? Если и думал, то мальчик этого не знал; не узнает, или не захочет знать, и взрослый человек. Но о смертном грехе своего любимого учителя Данте знал так несомненно, что ни искреннее, кажется, хотя и позднее, раскаяние грешника, ни сыновне-почтительная любовь к учителю не помешают ему осудить его на седьмой круг ада, где он его и увидит в сонме вечно бегающих, под огненно-серным дождем, содомитов.[102]

> Когда ко мне он руки протянул,
> Я обожженное лицо его увидел, —

жалкое, коричнево-красное, маленькое, черепку обожженному подобное, личико увидел, и тотчас же узнал:

> О, вы ли это, сер Брунетто, здесь?[103]

В этом удивленном возгласе слышится только бесконечная жалость, а за нею, может быть, и странная легкость, с какой ученик прощает смертный грех учителю, или даже совсем о нем забывает.

> Запечатлен в душе моей доныне

Ваш дорогой, любезный, отчий лик.
Тому меня вы первый научили,
Как человек становится бессмертным.[104]

Два бессмертья: одно — на небе, то, которому учат иноки Санта-Кроче; другое — на земле, то, которому учит сер Брунетто, «мирской человек». Надо будет отроку Данте сделать выбор между этими двумя бессмертьями, — двумя путями, — вслед за св. Франциском Ассизским, или за «божественным Вергилием».

Если же он выбора не сделает, то, прежде, чем это скажет, уже почувствует: «есть в душе моей разделение», — между двумя Близнецами, двумя Двойниками, — Знанием и Верой.[105]

Но это «разделение души» на две половины, земную и небесную, — только внизу, а наверху — соединяющий небо и землю чистейший образ Ее, Беатриче, надо всей его жизнью, ровным светом горящий, как тихое пламя — вечная тихая молния Трех.

«С этого дня (первой с нею встречи)… бог Любви воцарился в душе моей так… что я вынужден был исполнять все его желания. Много раз повелевал он мне увидеть этого юнейшего Ангела. Вот почему, в детстве, я часто искал ее увидеть, и видел».[106]

Может быть, не только видел, но и говорил с нею, в той длинной, черной тени на белую площадь от башни делла Кастанья, утренним солнцем, откинутой. «С раннего детства ты был уж Ее», — напоминает ему бог Любви, может быть, об этих детских свиданьях.[107] О них, может быть, вспомнит и сам Данте:

Не вышел я из отроческих лет,
Когда уже Ее нездешней силой
Был поражен.[108]

И уж наверное, вспомнит о них Беатриче в страшном суде над ним, павшим так низко, что ничем нельзя будет спасти его, кроме чуда:

Недолго я могла очарованьем
Невинного лица и детских глаз
Вести его по верному пути.[109]

Знал ли двенадцатилетний мальчик, Данте, что с ним делают, или что с ним делается, когда 9 февраля 1277 года (это первая из немногих точек в жизни его, освещенная полным

светом истории) заключен был у нотариуса письменный договор между сером Алигьеро и его ближайшим соседом, Манетто Донати, о будущем браке Данте с дочерью Манетто, Джеммой? Данте знал ее давно, может быть, раньше, чем Биче Портинари, потому что они жили почти под одною кровлей, в двух соседних домах, разделенных только небольшим двором, виделись постоянно и, может быть, играли или беседовали на той же солнечно-белой площади, в той же черной тени от башни, где встречался он и с Биче. Но в день помолвки, глядя на эту знакомую, может быть, миловидную, но почему-то вдруг ему опостылевшую, чужую, скучную девочку, не вспомнил ли он ту, другую, единственно ему родную и желанную?

Очень вероятно, что сер Алигьеро, замышляя этот брак, по обычным, в те дни, семейно-политическим и денежным расчетам, желал добра сыну: думал, что ему полезно будет войти в род Донати, хотя и не более древний и знатный, чем род Алигьери, но ничем не запятнанный, как этот, — увы, по его же собственной, сера Алигьеро, вине; думал, может быть, что и тщательно, в брачном условии, оговоренное невестино приданое, хотя и скаредное, — 200 малых золотых флоринов, — тоже на улице не валяется и может пригодиться ему, сыну полуразоренного менялы.

Так совершились две помолвки Данте: первая, с Биче Портинари, земная и небесная вместе, и вторая, с Джеммой Донати, — только земная. «Сладкий и страшный бог Любви» присутствовал на той, а на этой — «маленький бесенок, с насморком», — и тогда уже мальчику Данте, может быть, по отцу, знакомый, ненавистный «меняло-торгашеский» дух.

Две помолвки — два брака; но только один из них действителен. Какой же? В церкви ли венчанный? Надо будет Данте сделать выбор между этими двумя браками, а если он его не сделает, то снова почувствует, прежде чем скажет: «Есть в душе моей разделение».

IV. ПОЖИРАЕМОЕ СЕРДЦЕ

В 1283 году, или очень близко к этому году, произошло в жизни восемнадцатилетнего юноши Данте три великих события: два роковых, одно — роковое и благодатное вместе. Первое — смерть отца. Глядя в мертвое лицо его, понял ли Данте свою вину перед ним — презрение, молчание о тех, кто «никогда не жил»:

Не будем говорить о них: взглянув, пройди![110]

Понял ли вину и его, этого несчастного менялы, ничтожного потомка великих предков, единственную перед сыном, — его рождение? Понял ли, простил ли вину эту, или, не поняв до конца, молча взглянул и прошел; только ниже еще опустились, может быть, горько, точно с бесконечною брезгливостью к миру и людям, опущенные углы рта?

Мимо второго события, в том же году, он уже не мог бы пройти молча: Биче Портинари вышла, или, вернее, выдана была замуж (девушки тогда не выходили, а выдавались замуж) за мессера Симоне де Барди, из вельможного рода богатейших флорентийских менял, чьи торговые дома рассеяны были по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, а может быть, и до Великого Могола в полусказочной Тартарии.[111] Судя по тому, что мессер Симоне женился на Биче, овдовев от первой жены, и что вторая жена его, семнадцатилетняя девочка, оказалась мачехой скверного мальчишки-пасынка, из которого вышел потом большой негодяй, муж монны Биче был человеком уже немолодым.[112]

«Многие почитали отца ее тем, чем он в действительности был, — человеком добрейшим», — скажет Данте об отце Беатриче.[113] За год до смерти завещает он большую часть своего огромного богатства, нажитого тоже в меняльном деле (участь юного Данте жить среди менял), не пяти сыновьям и шести дочерям, а великолепной, им построенной, первой во Флоренции, больнице для бедных, при церкви Санта-Мария-Нова.[114] Там он будет и похоронен, вместе со старой любимой служанкой, монной Тэссой (Tessa), посвятившей себя уходу за больными, — может быть, Беатричиной няней. Простое, сильное и доброе лицо ее можно видеть в изваянии на уцелевшем доныне надгробном памятнике.[115]

Очень вероятно, что сер Фолько Портинари, выдавая дочь за сера Симоне де Барди, так же хотел ей добра, как отец Данте —

сыну, совершая помолвку его с Джеммой Донати. Может быть, брак Беатриче задуман был по таким же семейно-политическим и денежным расчетам, как и брак Данте: знатность к знатности, деньги к деньгам. Очень вероятно, что выдаваемая замуж, семнадцатилетняя Биче знала не многим больше, что с нею делают, или что с ней делается, чем помолвленный двенадцатилетний Данте. Но теперь он уже это знал и за себя, и за нее. Только что покинула она дом Портинари, соседний с домом Алигьери, для великолепного дворца-крепости де Барди, с толстыми, точно тюремными, стенами и зубчатыми башнями, в далеком квартале за Арно, у моста Рубаконте, — страшно опустело для Данте старое гнездо Алигьери, да и вся Флоренция, — весь мир.[116] Сколько бы ни затыкал ушей, не мог он не слышать нового ее, чужого имени: «монна Биче де Барди»; сколько бы ни закрывал глаз, не мог не видеть, как входит невеста в брачный покой жениха; и как бы ни хотел умереть или сойти с ума, чтобы не думать, все-таки думал о том, что было с нею, когда она туда вошла.

Третье событие, в том же году, — роковое и благодатное вместе.

«Ровно через девять лет… после первого явления той благороднейшей, gentilissima… она явилась мне снова, в одежде белейшего цвета, между двумя благородными дамами старшего возраста… и, проходя по улице, обратила глаза свои в ту сторону, где я стоял, в великом страхе; и с той несказанною милостью, за которую ныне чтут ее в мире ином, поклонилась мне так, что я, казалось, достиг предела блаженства… То было… в час дня девятый… И в первый раз ее слова коснулись слуха моего так сладостно, что, вне себя, я бежал от людей в уединенную келью мою и начал думать об этой Любезнейшей. И, в мыслях этих, нашел на меня тишайший сон, и посетило меня чудесное видение: как бы огнецветное облако и, внутри его, образ Владыки с лицом для меня ужасным; но сам в себе казался он радостным… И понял я из многого, что он говорил, только одно: „Я — твой владыка. Ego dominus tuus“. Девушка спала на руках его, вся обнаженная, только в прозрачной ткани цвета крови… И в одной руке держал он что-то, горевшее пламенем, и сказал мне так: „Vide cor tuum. Вот сердце твое!“ И, подождав немного, разбудил спящую… и принудил ее вкусить от того, что пламенело в руке его. И она вкушала в сомнении, dubitosamente. Вскоре же после того радость его обратилась в плач… и, подняв на руках девушку, вознесся он с нею на небо. И, почувствовав такую скорбь, что легкий сон мой вынести ее не мог… я проснулся. И тотчас же… вспомнил, что час, когда явилось мне видение… был первый из

девяти последних ночных часов».[117]

Старую народную сказку о сердце любовника, пожираемом возлюбленной, повторяют многие провансальские певцы-трубадуры тех дней. Данте, хорошо их знавший, мог узнать от них и эту сказку. Но по тому, как он ее рассказывает, чувствуется, что это для него больше, чем сказка. Может быть, он так долго и пристально думал о ней, что сказочное сделалось для него действительным, в страшном и чудном видении, вещем сне наяву. Чудно и страшно то, что Данте видит, в первый и последний раз, в этом сне, наготу Беатриче: «девушка спала на руках бога Любви, вся обнаженная». Любящий видит наготу возлюбленной только в том соединении любви, когда «они уже не двое, но одна плоть» (Мт. 19, 6). Видели наготу Беатриче только два человека: Симон де Барди и Данте Алигьери, муж и возлюбленный; тот — наяву, этот — во сне. Но что действительнее — явь того или сон этого, — люди не знают; знает только «сладкий и страшный бог Любви».

Что значит для Данте нагота Беатриче, мог бы понять Ботичелли. Лучше ослепнуть, чем грешными глазами увидеть наготу чистейшую Той, что смутилась от слова Ангела: «Радуйся, Благодатная»; лучше сойти с ума, чем помыслить об этой наготе, — знает Ботичелли так же хорошо, как Данте. Но прежде чем сойти с ума и едва не сжечь свою Новорожденную Венеру на костре Саванароллы, он все-таки увидел в ее земной наготе — неземную. Слишком одинаковы детски-испуганные и заплаканные очи только что родившейся Венеры и только что родившей Богоматери, чтобы не узнать одну в двух: плачет, страшится та, может быть, оттого, что родилась, а эта, — оттого, что родила. Та, в одежде, — эта; эта, обнаженная, — та.

Чудно и страшно, что Данте видит наготу Беатриче; но еще страшнее, чудеснее, что бог Любви принуждает ее пожирать сердце возлюбленного; что чистейшая любовь этой «Женщины-Ангела», donna angelicata, подобна сладострастию паучихи, пожирающей самца своего.

Что это значит, Данте не может понять и мучается так, что едва не сходит с ума.

> Ты злым недугом одержим и бредишь;
> Ступай к врачу, —

остерегает его, узнав об этом, тезка его, Данте да Майяно, в грубых, но неглупых, стихах, потому что и доныне, можно сказать, единственный нелицемерный суд мира сего над любовью Данте к Беатриче — этот: «Ты злым недугом одержим, ступай к

врачу».[118]

Близость «злого недуга» и сам Данте, кажется, чувствует, в эти дни. «После моего видения… я так похудел и ослабел, что друзьям было тяжело смотреть на меня».[119] — «И слышал я, как многие говорили обо мне: видите, как этою Дамою разрушено тело его!»[120]

Лучше всего видно по этому, что вещий сон о пожираемом сердце для Данте — не старая, милая сказка, а страшная новая действительность — дело жизни и смерти.

Но очень вероятно, что были и такие минуты, когда «злой недуг» затихал, и Данте смешивал действительность с вымыслом, «сладкие речи» — с горьким делом любви; играл, или хотел играть, как школьник, с тем, с чем не должно играть. Может быть, в одну из таких минут, и решился он открыть свое видение многим, прославленным в те дни певцам-трубадурам. «Так как я сам тогда уже научился говорить стихами, то решил написать сонет об этом видении, посвященный всем верным слугам (бога) Любви». С детски-простодушным доверием, по тогдашнему любовно-школьному обычаю, разослал он им этот сонет, которым и начинается вся его поэзия:

> Всякой любящей душе и благородному сердцу,
> всем, кто прочтет эти слова мои
> и ответит, что о них думает, —
> Привет, в их Владыке, чье имя — Любовь![121]

Кажется, впрочем, и здесь Данте не только играет, но делает, или хочет сделать что-то нужное для себя и для других, — ищет у людей помощи и хочет им помочь, в общем с ними, «злом недуге» любви; может быть, открывает он людям, невольно, эту заповеднейшую тайну любви своей, уже предчувствуя, что она имеет какой-то новый, людям неведомый, роковой или благодатный смысл не только для него одного, но и для всего человечества. Как бы то ни было, очень знаменательно, что, открывая тайну свою, Данте, хотя и признается, что «внезапное явление бога Любви было для него ужасно», все-таки утаивает самое ужасное или блаженное в этом явлении — наготу Беатриче.[122]

«Многие по-разному ответили мне на этот сонет… Но истинный смысл того сна не был тогда понят никем; ныне же он ясен и для самых простых людей». Нет, и ныне все еще темен: вот уже семь веков люди ломают голову над этой загадкой Данте — вечной загадкой любви; и сейчас она темнее, чем когда-либо.

«Был среди ответивших и тот, кого я называю первым из

друзей моих… И то, что он ответил мне, было как бы началом нашей дружбы».[123] Этот первый друг его, Гвидо Кавальканти — лучший флорентийский поэт тех дней, — «прекрасный юноша, благородный рыцарь, любезный и отважный, но гордый и нелюдимый, весь погруженный в науку», — вспоминает о нем летописец, Дино Кампаньи. — «Может быть, никого, во Флоренции, не было тогда ему равного», — вспомнит о нем и веселый рассказчик, Франко Саккетти.[124]

Кажется, Данте заразился от Кавальканти, а может быть, и от других, усердно им, в те дни, изучаемых провансальских любовных певцов-трубадуров, болезнью века — ученым школярством, схоластикой любви.[125] Юные дамы на провансальских «Судах Любви», corte d'amore, философствуют с ученой «любезностью», ссылаясь на Аристотеля, Платона, Аверрона, Ависенну и Боэция, не хуже старых ученых схоластиков.[126]

«Чтобы философствовать, нужно любить», — скажет Данте;[127] но мог бы сказать и наоборот: «Чтобы любить, надо философствовать»; так он и скажет действительно: «Надо, чтобы философские доводы внушили мне любовь».[128]

Истинная любовь не плачет, не смеется, —

учит трубадур, Гвидо Орланди, тоже ученый схоластик любви. Мог бы, или хотел бы с этим согласиться и Данте.[129] Все, в «Новой жизни», как будто философски доказано, измышлено, измерено, исчислено; все правильно, как в геометрии. Сам бог или демон Любви — Геометр; вместо факела, в руке его, — циркуль. — «Юношу увидел я… в белых одеждах, сидевшего рядом со мной, на моей постели, и смотревшего на меня задумчиво… И он сказал мне: „Я — как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности, а ты — не так“. И я спросил его: „Зачем ты говоришь… так непонятно?“»[130] Или, может быть, напротив, — слишком понятно, отвлеченно-холодно.

Но все это — как будто, а на самом деле вовсе не так. Холодно — извне, а внутри — огненно. Меряет божественный Геометр круг любви — круг вечности — циркулем, а сам «горько плачет».[131] Плачущая «геометрия» любви, — в нежности своей почти страшная, такая же вся трепетно-живая, страстная и заплаканная, как Августинова «Исповедь».[132] Более точной записи того, что говорит Любовь сердцу человеческому, не было никогда и, вероятно, не будет.

…Я один из тех,
Кто слушает, что говорит в их сердце
Любовь, и пишет то, что слышит.[133]

Пальцы у него в чернилах, как у школяра-схоластика, но когда пишут в стихах «стройными длинными и тонкими», на него самого похожими буквами, «сладкие речи любви», то дрожат от волнения.[134] Сухо шелестят страницы пыльных, старых книг, но подымает их вещий из открытого окна, душисто-влажный, как поцелуй любви, весенний ветер. Эта юная утренняя, клейкими листочками пахнущая, «схоластика любви» — совсем не такая, какой будет потом и какой она кажется нам. Дышит сквозь нее вся прелесть и нежность, все благоухание ранней флорентийской весны, Primavera, или розово-серая туманность, жемчужность летнего утра, — та же грусть о недолговечности всех радостей земных, как в детски-испуганных, заплаканных глазах Весны Ботичелли.

Очень простой и печальный смысл «Новой жизни» можно бы выразить двумя словами: нельзя любить; здесь, на земле, в теле земном, человеку любить нельзя; нет любви, — есть похоть, в браке или в блуде, а то, что люди называют «любовью», — только напрасное ожидание, неутолимая память о том, что где-то, когда-то была любовь, и робкая надежда, что будет снова. Нет любви на земле, — есть только тень ее, но такая прекрасная, что кто ее однажды увидел, готов отдать за нее весь мир. Вот почему, в книге этой, — такая грусть и такое блаженство.

Вот как вспоминает летописец тех дней о флорентийских празднествах «Владыки Любви», signor Amore, в том же году, когда явился он впервые восемнадцатилетнему отроку Данте. «В 1283 году от Рождества Христа, в городе Флоренции, бывшем тогда в великом спокойствии, мире и благоденствии, благодаря торговле своей и ремеслам… в месяце июне, в Иванов день… многие благородные дамы и рыцари, все в белых одеждах… шествуя по улицам, с трубами и многими другими музыкальными орудиями… чествовали, в играх, весельях, плясках и празднествах, того, чье имя: Любовь. И продолжалось то празднество около двух месяцев, и было благороднейшим и знаменитейшим из всех, какие бывали когда-либо во Флоренции. Прибыли же на него и из чужих земель многие благородные люди и игрецы-скоморохи, и приняты были с великим почетом и ласкою».[135]

Вся Флоренция, в эти дни, — город влюбленных юношей и девушек, мальчиков и девочек, таких же, как Данте и Биче.

Чтобы понять, что тогда совершалось, надо вспомнить: скоро зашевелится вся земля окрестных долин и холмов от восстающих из нее мертвецов древних богов или демонов. Первым вышел бог Любви, «Владыка с ужасным лицом», и явился Данте, первому.[136] Самое ужасное в этом лице — смешение бога с демоном и сходство его то с Беатриче, то с самим Данте: это как бы чередующийся двойник обоих.

Имя ее: «Любовь», — так она похожа на меня, — скажет о Беатриче сам бог Любви.[137]

«Пира» Платона Данте, вероятно, не читал, но если бы прочел, то, может быть, узнал бы самое страшное и неизреченное имя «Владыки» своего, бога или демона любви: «Андрогин», «Муже-женщина» «Данте-Беатриче». Два в Одном; это и значит: «всех чудес начало — Три», соединение Двух в Третьем.

Кажется, лучше всего увидел и понял лицо Данте, в «Новой жизни», — Джиотто, в портрете-иконе над алтарем часовни Барджелло: полузакрытые, как у человека засыпающего, или только что проснувшегося, глаза; в призрачно-прозрачном, отрочески-девичьем лице — неисцелимая грусть и покорная жертвенность, как у любящего, чье сердце пожираемо возлюбленной; губы бескровны, точно всю кровь из жил высосал жадный вампир, — «сладкий и страшный» бог-демон Любви.

V. ЕРЕСЬ ЛЮБВИ

«Я полагаю, что никогда никакой Беатриче… не было, а было такое же баснословное существо, как Пандора, осыпанная всеми дарами богов, по измышлению поэтов» — это говорит поздний, XV века, и плохо осведомленный, только рабски повторяющий Боккачио и Леонардо Бруни, жизнеописатель Данте, Джиованни Марио Филельфо.[138] Первый усомнился он в существовании Беатриче. В XIX веке сомнение это было жадно подхвачено и, хотя потом рассеяно множеством найденных свидетельств об историческом бытии монны Биче Портинари, так что вопрос: была ли Беатриче? — почти столь же нелеп, как вопрос: был ли Данте? — сомнение все же осталось и, вероятно, навсегда останется, потому что самый вопрос: что такое любовь Данте к Беатриче, история или мистерия? — относится к религиозному, сверхисторическому порядку бытия.[139]

Эта часть жизни Данте освещена, может быть, самым ярким, но как бы не нашим, светом невидимых для нас, инфракрасных или ультрафиолетовых, лучей. В этой любви у всего — запах, вкус, цвет, звук, осязаемость недействительного, нездешнего, чудесного, но не более ли действительного, чем все, что нам кажется таким, — в этом весь вопрос. Но что он не существует вовсе для большинства людей, видно из того, что ближайший ко времени Данте жизнеописатель его, Леонардо Бруни, уже ничего не понимает в этой любви: «Лучше бы упомянул Боккачио о доблести, с какой сражался Данте в этом бою (под Кампальдино), чем о любви девятилетнего мальчика и о тому подобных пустяках».[140] Это «пустяки»; этого не было и не могло быть, потому что это слишком похоже на чудо, а чудес не бывает. Ну, а если все-таки было? Здесь, хотя и в бесконечно-низшем порядке, тот же вопрос, как об историческом бытии Христа по евангельским свидетельствам: было это или не было? история или мистерия?

Любовь Данте к Беатриче, в самом деле, одно из чудес всемирной истории, одна из точек ее прикосновения к тому, что над нею, — продолжение тех несомненнейших, хотя и невероятнейших, чудес, которые совершились в жизни, смерти и воскресении Христа: если не было того, нет и этого; а если было то, есть и это.

Может быть, сам Данте отчасти виноват в том, что люди усомнились, была ли Беатриче. «Так как подобные чувства, в столь юном возрасте, могут казаться баснословными, то я умолчу о них вовсе». — «Я боюсь, не слишком ли много я уже сказал» (о

Беатриче).[141]

Данте говорит о ней так, что остается неизвестным главное: есть ли она? И так, как будто вся она — только для него, а сама по себе вовсе не существует; помнит он и думает только о том, что она для него и что он для нее, а что она сама для себя, — об этом не думает. Слишком торопится сделать из земной женщины «Ангела», принести земную в жертву небесной, не спрашивая, хочет ли она этого сама, и забывая, что человеку сделаться Ангелом значит умереть; а желать ему этого значит желать ему смерти.

Кажется иногда, что не случайно, а нарочно все в «Новой жизни», как в музыке: внешнего нет ничего, есть только внутреннее; все неопределенно, туманно, призрачно, как в серебристой жемчужности, тающих в солнечной мгле, Тосканских гор и долин. Неизвестно, что, где и когда происходит; даже Флоренция ни разу во всей книге не названа по имени; вместо Флоренции, — «тот город, где обитала Лучезарная Дама души моей»; даже имя Беатриче сомнительно: «та, которую называли „Беатриче“ многие, не умевшие назвать ее иначе».[142]

Это тем удивительнее, что Данте, как видно по «Комедии», и даже по некоторым нечаянным подробностям в самой «Новой жизни», любит деловую, иногда более научную, чем художественную, точность образов, почти геометрически-сухую резкость очертаний.

Кажется иногда, что он говорит о любви своей так, как будто скрывает в ней что-то от других, а может быть, и от себя самого; чего-то в ней боится, или стыдится; прячет какие-то улики, замигает какие-то следы. «Я боюсь, что слишком много сказал (о ней)…» Кажется, что прав Боккачио, когда вспоминает: «В более зрелом возрасте Данте очень стыдился того, что написал эту книгу» («Новую жизнь»).[143] Чтобы Данте «стыдился» любви своей к Беатриче, — невероятно и похоже на клевету; но еще, пожалуй, невероятнее, что Боккачио взвел на Данте такую клевету; и тем невероятнее, что сам Данте признается: «В этой книге (в „Пире“) я хочу быть более мужественным, чем в „Новой жизни“».[144] — «Более мужественным» значит: «менее малодушным», — не таким, чтобы этого надо было «стыдиться» потом. «Я боюсь, чтобы эта поработившая меня страсть не показалась людям слишком низкою», — скажет он о второй любви своей, для которой изменит первой, — к Беатриче, но кажется, он мог бы, или хотел, в иные минуты, сказать то же и о первой любви.

О, сколько раз к тебе я приходил,

Но видел я тебя в столь низких мыслях,
Что твоего высокого ума
И сил потерянных мне было жалко…
И столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей, —

скажет ему «первый друг» его, Гвидо Кавальканти, именно в эти дни и, кажется, об этих именно днях любви его к Беатриче. [145]

В чем же действительная, или хотя бы только возможная, «низость» этой, как будто, высочайшей и святейшей любви? В невольной или вольной, возможной или действительной лжи, — тем более грешной и низкой, чем выше и святее любовь. «Всей любви начало — в ее глазах… а конец — в устах. Но чтобы всякую порочную мысль удалить, я говорю… что всех моих желаний конец — в исходящем из уст ее приветствии». [146]

Чтобы человек, молодой и здоровый, влюбленный в женщину так, что бледнеет и краснеет, завидев ее только издали, на улице, а когда она к нему подходит, — убегает, боясь лишиться чувств, — чтобы такой влюбленный, в течение семи-восьми лет, ничего от любимой не пожелал, кроме мимолетного приветствия, — этому люди никогда не поверят; верит ли сам Данте? Если верит, то тем хуже для него: вечный воздыхатель Беатриче так же смешон, как вечный воздыхатель Дульцинеи; или еще смешнее, потому что Данте — не Дон Кихот.

…Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит. (Мт. 19, 12).

Помнит ли Данте это страшное слово, и если помнит, — почему не уйдет в монастырь, не оскопит духом плоть свою?

Что ему сказала Беатриче, в той мгновенной, уличной встрече, когда «слова ее коснулись впервые слуха его так сладостно», что он был «вне себя»? Может быть, всего три слова: «доброго дня, Данте». Но он успел спросить ее молча, глазами: «Можно любить?» — и прочесть в ее глазах ответ: «Можно».

Монна Биче, жена сера Симоне де Барди, позволяла ему, Данте, любить себя, как он любил ее в девушках. И не только она, — позволял и муж, зная, что эта любовь — без последствий, как у детей и скопцов.

Но сколько бы Данте ни делал Беатриче «Ангелом», он был уже и тогда слишком большим правдолюбцем, или, как мы говорим, «реалистом», чтобы не знать, что не к Ангелу в спальню

входит муж, а к женщине, и чтобы не думать о том, глазами не видеть того, что это значит для нее и для него.

Очень вероятно, что бывали, в любви его к Беатриче, такие минуты, — нам неизвестные, скрытые, но, может быть, самые важные, решающие все — когда он соглашался с Гвидо Кавальканти, что жизнь его «презренна». Видя, как вельможный «меняла», Симоне де Барди, с преувеличенной любезностью кланяется ему, бедному школяру-стихоплету, он сжимал, у пояса-веревки св. Франциска, рукоять действительного, или воображаемого, ножа и чувствовал, с каким наслаждением, вонзив его в сердце врага, перевернул бы в нем трижды. Но в то же время знал, что никогда этого не сделает, и вовсе не потому, что, как св. Франциск, врагу прощает. Очень вероятно, что в такие минуты он соглашался и с Форезе Донати:

> …Тебя я знаю,
> Сын Алигьери; ты отцу подобен:
> Такой же трус презреннейший, как он.

Вот на какие раны сердца целящим бальзамом была для него вышедшая, в 1280 году, книга «О любви», De amore, Андрея Капеллана, духовника владетельной графини Марии Шампанской, чей двор, убежище всех бродячих певцов, труверов и трубадуров, сделался тогда великой «Судебной Палатой Любви» Cour d'Amour.[147]

Если сам Данте и не читал книги Капеллана, то не мог хорошо не знать о ней от первого друга своего и учителя, Гвидо Кавальканти, а также от других флорентийских поэтов, творцов «нового сладкого слога», dolce stil nuovo, — ее усердных читателей.

Смехом казнится брачная любовь на суде графини Марии. «Может ли быть истинная любовь между супругами?» — спрашивает Андрей Капеллан, священник, совершавший, конечно, много раз таинство брака, и отвечает: «Нет, не может».[148] — «Брачная любовь и та, что соединяет истинных любовников, совершенно различны, потому что исходят из различнейших чувств».[149] «Истинная любовь, самая блаженная и огненная, — любовь издалека, amor da lonh».[150] Это и значит: лучше, вопреки Павлу, «разжигаться похотью», чем вступать в брак, чтобы утолить похоть, или утишить ее, потому что никаким плотским соединением похоть не утолима, как жажда — соленой водой. «Брак не может быть законной отговоркой от любви».[151]

Здесь все опрокинуто так, что блуд становится браком, а брак — блудом. Эта новая «неземная любовь» оказывается сплошным

прелюбодеянием, что не мешает законодателям ее считать себя, по слову Иоахима Флорского, пророка «Вечного Евангелия», — теми людьми, «коих пришествия ждет мир».[152]

Знал ли св. Доминик, что делает, когда, объявляя крестовый поход на еретиков альбигойцев, зажег первые костры Святейшей Инквизиции, на юге Франции, именно там, где провансальские певцы, труверы и трубадуры, полурыцари, полусвященники, в Судах Любви, возвещали миру новое «веселое знание», gaya sienzia, «любовь, радость и молодость», amors, joi e joven?[153] В те именно дни, после десяти веков смерти, ожили вдруг, сначала на славянском Востоке, а потом и на всем европейском Западе, в катарах, патаринах, альбигойцах, вальдейцах и многих других еретиках, две опаснейшие ереси двух величайших ересиархов, Монтана и Манеса.[154] В Муже воплотилось Второе Лицо Троицы, Сын, а Третье Лицо, Дух, воплотится в Жене, или Деве, или в Муже-Жене, Отроке-Деве: так учит Монтан.[155] К этому воплощению путь — неземная любовь к Прекрасной Даме — к Той, которая, для Данте, есть «Девять — Трижды Три — чудо, чей корень… единая Троица».[156] В образе человеческом — может быть, женском или девичьем, или муже-женском, отроко-девичьем, — является Дух в «Ланчелоте-Граале», книге, погубившей Франческу да Римини и, кажется, едва не погубившей Данте.[157]

Мир, лежащий во зле, создан не добрым Богом, а злым, — учит Манес.[158] Воля доброго Бога есть конец злого мира, а бесконечное продолжение его есть воля дьявола, Противобога, чье главное оружие — плотская похоть, брак и деторождение. «Плодитесь и множитесь» — заповедано всей твари не Богом, а дьяволом. Им же создано то, чем отличается мужское тело от женского. Плотская похоть есть начало греха и смерти — Древо познания: Еву познав, умер Адам. Плотский брак — такой же смертный грех, как блуд, потому что оба равно замедляют, деторождением, возврат изгнанных, живущих на земле-чужбине, душ в небесное отечество. И даже брак — больший грех, чем блуд, потому что согрешающие в блуде иногда каются, а в браке — никогда.[159]

Обе эти ереси, Монтана и Манеса, свили главное гнездо свое в провансальских, аквитанских и сицилийских «Судах Любви».[160] Первыми должны были бы взойти на первый, св. Домиником зажженный, костер Святейшей Инквизиции новые ученики Монтана и Манеса, законодатели новой, безбрачной любви, труверы и трубадуры, — учителя Данте.

Может быть, св. Доминик и не так хорошо знал, что делает, как это казалось ему и будет казаться его продолжателям; может

быть, он жег на кострах не тех, кого надо. Цветок новой любви, если бы и не сгорел в огне св. Инквизиции, сам, вероятно, истлел бы: в нем, от начала, заложено было семя тления, — вымысел, а не действительность, игра, а не дело, утонченность, упадочность; как бы запахами райских садов напоенный разврат.

Новая Любовь — «Новая жизнь начинается», incipit Vita Nova, уже не для игры, а для дела, только в книге Данте. Этот цветок не истлеет, и, может быть, прежде, чем сгореть, зажжет весь мир. Страшная и благодатная сила этой любви — в том, что в ней чистый любит чистую, девственную — девственник.

Два великих ересиарха — Монтан и Манес; но, может быть, есть и третий — Данте. Верный сын Римской Церкви, добрый католик, в вере, а в любви, — «еретик». Может быть, те, кто захотят, семь лет по смерти Данте, вырыть кости его, чтобы сжечь за «ересь» — что-то верно угадают и будут лучше знать, что делают, чем знал св. Доминик, и знают, в наши дни, те, кто хочет сделать Данте только правоверным католиком. Этой книгой, самому Данте непонятной (если бы он понял ее, как следует, то не «устыдился» бы ее), и, вот уже семь веков, никем не понятой, начинается, или мог бы начаться, великий религиозный мятеж, восстание в брачной любви; а говоря на неточном и недостаточном, потому что нерелигиозном, языке наших дней, великая Революция Пола.

VI. ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ

Одна из важнейших заповедей в законодательстве новой любви — ненарушимая тайна, может быть, нужная для того, чтобы «людям, коих пришествия ждет мир», не взойти на костер: «Узнанная любовь не приносит чести любовнику, но омрачает ее дурными слухами, так что он жалеет, что не утаил ее от людей».[161] — «Узнанная любовь недолговечна».[162]

Тайне истинной любви служит мнимая, к так называемой «Даме-Щиту», Donna Schermo.[163] Этой заповеди новой любви Данте был верен, как и всем остальным. Первую «Даму Щита» нашел он случайно, в церкви. «Ровно по середине и по прямой линии, что шла от Беатриче… и кончалась в моих глазах (дважды вспоминает он о „прямой линии“: точно циркулем измерил ее сам бог Любви, Геометр)… сидела… одна благородная дама с прекрасным лицом… И я очень утешен был тем, что тайна любви моей, в тот день, никем… не была узнана… и тотчас же решил сделать даму эту щитом моим от истины, schermo de la veritade… И скоро сделал так, что все подумали, будто знают тайну мою». Это значит: всех обманул, в том числе, вероятно, и «Даму Щита», — не думая, как эта игра в мнимую любовь может быть опасна для истинной.

С дамой этой скрывал он тайну любви своей, «в течение многих лет».[164] Когда же она уехала из города (имени Флоренции он не называет и здесь, как нигде, скрывая улики, заметая следы), то он нашел себе вторую «Даму Щита», уже не случайную, а указанную ему, в видении, самим богом Любви.[165] Но с этою дело кончилось плохо: «Через немного времени я сделал ее таким щитом для себя, что слишком многие стали о том говорить больше, чем должно по законам любви, и это было мне тяжело».[166]

Судя по тому, что с первою Дамою он таился «несколько лет» (сколько именно, не говорит, — опять как будто скрывая улики); а «несколько» — значит не менее трех-четырех, — ему, в это время, года двадцать два, и он уже не такой невинный мальчик, каким был в восемнадцать. Судя же по дальнейшему, более, чем вероятно, что не от жены своей, Джеммы, узнал он, что такое земная любовь. Очень возможно, что этому научила его вторая «Дама Щита»: устав «любить издалека», он захотел попробовать того же вблизи и, играя с огнем, обжегся.

«Начали глаза мои слишком услаждаться видом ее, и часто я мучился этим, и это мне казалось очень низким», — скажет он об одной из других Дам, с которыми изменит или полуизменит

Беатриче (их будет очень много), но, кажется, мог бы сказать и об этой, второй.[167] Как бы то ни было, «слишком многие стали говорить о том больше, чем должно… И по причине молвы, бесчестившей меня, эта Благороднейшая, разрушительница всех пороков и царица добродетели, проходя однажды мимо меня, отказала мне в своем сладчайшем приветствии, в котором заключалось все мое блаженство».[168] Молча, глазами, спросил он ее, должно быть, как всегда: «Можно любить?» — и она ответила, тоже молча, но не так, как всегда: «Нет, нельзя!» И точно земля под ним разверзлась, небо на него обрушилось, от этих двух слов, когда он понял, что они значат: «Если ты можешь любить двух, я не хочу быть одной из двух».

«…И почувствовал я такую скорбь, что, бежав от людей туда, где никто не мог меня видеть, начал горько плакать… Когда же плач немного затих, я вернулся домой, в комнату мою, где жалоб моих никто не слышал. И начал снова плакать, говоря: „Любовь, помоги!“ Плакал, рыдал, должно быть, теми ломающими тело и душу рыданиями, от которых остаются на ней неизгладимые следы, подобные рубцам на теле от ран или ожогов. Снова, как тогда, по смерти матери, чувствовал неземную обиду своего земного сиротства. Но теперь было хуже: как будто мать не умерла, а он ее убил.

И плача, я уснул, как маленький прибитый мальчик… И увидел во сне юношу в белейших одеждах… сидевшего на моей постели… И мне казалось, что он смотрит на меня, о чем-то глубоко задумавшись… И потом, вздохнув, он сказал: „Сын мой, кончить пора наши притворства. Fili mi, tempus est ut praetermictantur similacra nostra“. — „Наши притворства“, значит: наша игра в ложь — в мнимую любовь. — И мне показалось, что я знаю его, потому что он назвал меня так, как часто называл в сновидениях; и, вглядевшись в него, я увидел, что он горько плачет».

Этот «юноша в белейших одеждах», таких же, как у Беатриче, «Владыка с ужасным лицом». Ангел, бог или демон Любви, тоже плачет, «как маленький прибитый мальчик».

И я спросил его: «О чем ты плачешь, господин?» И он в ответ: «Я — как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности; а ты — не так…» И я сказал: «Зачем ты говоришь так непонятно?» «Не спрашивай больше, чем должно», — ответил он. Тогда, заговорив об отказанном мне, приветствии… я спросил его о причине отказа, и он сказал мне так:

«Беатриче наша любимая узнала, что ты докучаешь той даме (Щита); вот почему эта Благороднейшая, не любящая докучных

людей, боясь, что ты будешь и ей докучать, не удостоила тебя приветствием».[169]

Здесь, в голосе Любви, Данте мог бы снова услышать голос «первого друга» своего, Гвидо Кавальканти:

> Ты презирал толпу, в былые дни,
> И от людей докучных бегал…
> Но столь презренна ныне жизнь твоя,
> Что я уже показывать не смею
> Тебе любви моей и прихожу
> К тебе тайком, чтоб ты меня не видел.[170]

«Скука», noia, — главное слово и здесь, как там: «Взял и Господь к себе потому, что скучная наша земля недостойна была такой красоты», — скажет Данте о Беатриче.[171]

> И звуков небес заменить не могли
> Ей скучные песни земли, —

скажет поэт, единственно-равный Данте по чувству земного сиротства, как неземной обиды, Лермонтов.

Самое противоположное праздничному веселью любви, вопреки всем ее мукам, — будничная скука, пошлость, «низость» жизни; в ней и обличает Данте «первый друг» его Кавальканти. С этим обличением согласился бы и бог Любви, и сама любимая: «дух скуки, овладевший твоей униженной душой»,[172] хуже всякого зла, — бессилие сделать выбор между злом и добром. Богом и дьяволом, такое же, как у тех «малодушных», ignavi, кто никогда не жил, отвергнутых небом и адом, «милосердием и правосудьем Божиим презренных равно»; тех, кого Данте увидит в преддверии ада.[173] «Гордая душа» его презирает их, как никого; и вот, он сам — один из них.

Вскоре после того кто-то из друзей Данте привел его в дом, где многие благородные дамы собрались к новобрачной. «Ибо в том городе был обычай, чтобы невестины подруги служили ей, когда впервые садилась она за стол жениха». — «Зачем мы сюда пришли?» — спросил Данте. «Чтобы послужить этим дамам», — ответил друг. «Желая ему угодить, я решил, вместе с ним, служить этим дамам… Но только что я это решил, как почувствовал сильнейшую дрожь, внезапно начавшуюся в левой стороне груди и распространившуюся по всему телу моему… Я прислонился к стенной росписи, окружавшей всю комнату и, боясь, чтобы кто-нибудь не заметил, как я дрожу, поднял глаза и,

взглянув на дам, увидел среди них… Беатриче… и едва не лишился чувств… Многие же дамы, заметив то, удивились и начали смеяться надо мной, вместе с той, Благороднейшей… Тогда мой друг, взяв меня за руку, вывел оттуда и спросил, что со мной?.. И, придя немного в себя, я ответил: „Я был уже одной ногою там, откуда нет возврата…“ И, оставив его, я вернулся (домой), в комнату слез, где, плача от стыда, говорил: „О, если бы Дама эта знала чувства мои, она не посмеялась бы надо мной, а пожалела бы меня!“»

> Смехом вашим убивается жалость, —
> скажет он ей самой.[174]

В сердце его вошел этот смех, как тот нож, который хотел он, может быть, вонзить в сердце врага, Симоне де Барди.

Эта милосерднейшая, чей один только вид внушает людям «всех обид забвение» и прощение врагам, — слышит, как люди о нем говорят: «Вот что эта женщина сделала с ним!» — знает, что от любви к ней он стоит одной ногой в могиле, и все-таки смеется над ним.[175] Точно розовая нежная жемчужина — «цвет жемчуга в ее лице»,[176] — превращается в грубый серый булыжник или в серый холодный туман. Что это значит? Может быть, лучше всего объясняет Беатриче, сестру свою небесную, сестра ее земная и подземная, Франческа да Римини.

VII. БЕАТРИЧЕ НЕИЗВЕСТНАЯ

В 1282 году Данте мог видеть на улицах Флоренции тогдашнего военачальника Флорентийской Коммуны, капитана дэль Пополо, юного, прекрасного и благородного рыцаря, Паоло Малатеста, одного из тех, о ком он скажет:

> Любовь и сердце благородное — одно
> И то же.[177]

А года через три, узнав, что Паоло убит братом в объятиях жены его, Франчески да Римини, — Данте, если не подумал, то, может быть, смутно, как в вещем сне, почувствовал, что и его любовь к чужой жене, монне Биче де Барди, могла бы иметь не бескровный, небесный, а такой же земной, кровавый конец.[178]

Две судьбы — две любви: любовь Паоло к Франческе, земная, грешная, и любовь Данте к Беатриче, небесная, святая? Нет, две одинаково грешные, или одинаково для всех и для самих любящих непонятно-святые любви. Но если Данте этого умом еще не понимает, то сердцем уже чувствует: узнает вечную судьбу свою и Беатриче в судьбе Паоло и Франчески. Вот почему и говорит об этих двух преступных, или только несчастных, любовниках так, что заражает сочувствием к ним всех, кто когда-нибудь любил или будет любить.

> Я сделаю, как тот, кто говорит
> И плачет вместе.[179]

Вот почему эта любовная повесть будет читаться сквозь слезы любви, пока в мире будет любовь.

С первого же взгляда обе жалобные тени узнают в Данте не судию, а брата по несчастью, и, может быть, тайного сообщника. Обе летят к нему,

> Как две голубки, распростерши крылья,
> Влекомые одним желанием, летят
> Издалека к любимому гнезду…
> Обе к нему кидаются так, как будто ищут у него покрова и защиты.
> О, милая, родная нам душа!

Чем же родная, если не тою же, грешной или непонятно-святой, любовью? Обе как будто хотят сказать ему: «Люди и Бог осудили нас, но ты поймешь, потому что так же любишь, как мы!»

В этих двух «обиженных душах», anime ofíense[180] Данте узнает душу свою и ее, Беатриче:

> И я, узнав их горькую обиду,
> Склонил лицо мое к земле так низко,
> Что мне сказал учитель: «Что с тобою?»[181]

Заповедь любви преступают — «прелюбодействуют» Паоло и Франческа; исполняют ли эту заповедь Данте и Беатриче? Грех Паоло и Франчески — против плоти, а грех Данте, может быть, больший, — против Духа любви, вечного «строителя мостов», по чудному слову Платона о боге Эросе, вечном соединителе неба с землей, духа с плотью. Данте рушит эти мосты, разъединяет дух и плоть, небо и землю. Что такое любовь, как не соединение разлученного, — вечное сочетание, свидание после вечной разлуки? «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мт. 19, 6). Данте разлучает: любит, или хочет любить, не духовно и телесно, а только духовно-бесплотно; не Беатриче небесную и земную, а только небесную.

Крайнее, метафизическое «преступление», «прелюбодеяние» Данте хуже, чем физическое, Паоло. Кажется, он и это если умом еще не понимает, то уже чувствует сердцем.

> Любовь, что благородным сердцем рано
> Овладевает, овладела им
> К недолговечной прелести моей,
> Так у меня похищенной жестоко,
> Что мы и здесь, как видишь, неразлучны.

Кто это говорит, — Франческа, в аду, или Беатриче, на небе? Может быть, обе.

> Любовь, что никому, кто любит, не прощает,
> Там, на земле, мной овладела так,
> Что мы и здесь, как видишь, неразлучны.

Смерть и ад победила их любовь, земная; победит ли небесная любовь Данте и Беатриче?

…О, сколько
Сладчайших мыслей и желаний страстных
Нас довели до рокового шага!..
От жалости к тебе, Франческа, плачу…

Может быть, не только от жалости, но и от зависти?

Поведай же: во дни блаженных вздохов,
Каким путем любовь вас привела
К сомнительным желаньям?

Их — привела; но не привела Данте и Беатриче. «Страшного владыки», бога Любви, он испугался, остановился и, как евангельский богатый юноша, «отошел с печалью».

И мне она сказала

(кто «она», — Франческа, в аду, или Беатриче, на небе?), —

…нет большей муки,
Чем вспоминать о прошлых днях блаженства,
Во дни печали…

Кажется, под бременем этой именно муки Данте и склоняет лицо к земле, как под бременем вины неискупимой.

…Читали мы однажды повесть
О Ланчелоте и его любви.
Одним мы были, и совсем без страха.
И много раз от книги подымали
Глаза, бледнея…
Но погубило нас одно мгновенье:
Когда прочли мы, как любовник страстный
Поцеловал желанную улыбку, —
То он, со мной навеки неразлучный,
Поцеловал уста мои, дрожа…
И в этот день мы больше не читали…
Меж тем как говорил один из духов,
Другой, внимая молча, плакал так,
Что я, от жалости, лишившись чувств,
Упал, как мертвый падает на землю.[182]

Может быть, от жалости не только к ним, но и к себе, — от угрызенья и раскаянья: понял вдруг, как бесполезно погубил себя и ее. Так Орфей, выводя Евридику из ада, недолюбил, недоверил, усомнился, — оглянулся, и потерял любимую.

Здесь, в аду, с Данте происходит то же, что в доме новобрачных: «Я весь задрожал… и, боясь, чтобы кто-нибудь не заметил, как я дрожу, поднял глаза и, взглянув на дам, увидел среди них Беатриче… и едва не лишился чувств».

«Пал замертво и, будучи перенесен на постель, некоторое время лежал без чувств», — объясняет «Истолкование» Монтекассино те стихи из Ада, где описан обморок Данте, после рассказа Франчески.[183] Так же объясняет и другое, латинское истолкование этих стихов: «Данте, увидев Беатриче, сходившую по лестнице, пал замертво».[184]

Так же упадет и после первого свиданья с Беатриче в земном раю Чистилища:

> …И жало угрызения мне сердце
> Пронзило…
> И боль такая растерзала душу,
> Что я упал без чувств.[185]

Внутреннею связью этих трех обмороков, — земного, подземного, и небесного, — может быть только любовь Данте к Беатриче, ею разделенная. Но если так, то все в жизни и в творчестве Данте меняется для нас, — освещается новым светом. Если Беатриче любила Данте, то, в самом деле, новая любовь — «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, не только в жизни Данте, но и в жизни всего человечества.

Смехом вашим убивается жалость.[186]
Сладкие стихи любви…
мне должно оставить навек…,
потому что явленные в ней (Беатриче)
презренье и жестокость
замыкают уста мои.[187]
Долго таил я рану мою ото всех,
теперь она открылась перед всеми…
Я умираю из-за той,
чье сладостное имя: «Беатриче»,
…Я смерть мою прощаю той,
кто жалости ко мне не знала никогда.[188]
Душа моя, гонимая любовью,
уходит из жизни этой плача…
Но та, кто столько сделала мне зла,

подняв убийственные очи, говорит.
«Ступай, ступай, несчастный, уходи!»[189]

Слишком понятно, почему Данте выключил эти стихи из «Новой жизни»: они разрушают ее, как ворвавшийся в музыку крик человеческой боли; режут, как нож режет тело. «Кто жалости ко мне не знал никогда…», «Кто столько сделал мне зла…» Когда это читаешь, не веришь глазам: здесь уже совсем, совсем другой, нам неизвестный Данте и Беатриче Неизвестная.

«В ее глазах — начало любви, а конец в устах… Но чтобы всякую порочную мысль удалить, я говорю… что всех моих желаний конец — ее приветствие».[190] А эта порочная мысль — поцелуй.

…Любовник страстный
Поцеловал желанную улыбку, —

это место Ланчелотовой повести, погубившее любящих Паоло и Франческу, так же могло бы погубить и других двух, Данте и Беатриче.

Поцеловал уста мои, дрожа, —

в этом, может быть, действительный конец его желаний.

Очи твои обрати к нему.
Открой уста твои,
чтобы видел он вторую красоту твою,
что на земле ты скрыла от него, — [191]

соединяют их Ангелы уже в ином «конце желаний».

…Древней сетью
Влекла меня ее улыбки
Святая прелесть, — [192]

святая, или все еще грешная даже здесь, на небе, как там, на земле? Только этим вопросом и начинается «Новая жизнь» — новая человеческая трагедия любви в «Божественной комедии».

…Тогда, меня улыбкой побеждая,
Она сказала: «Обратись и слушай,

Не только у меня в очах весь рай»[193]

Это могла бы сказать и Ева Адаму, еще в земном раю, но уже после грехопадения; могла бы сказать и последнему мужчине последняя женщина.

Если довести до конца это начало желаний, то совершится заповедь: «Будут два одною плотью». Данте об этом и думать не смеет; но, может быть, смеет за него Беатриче, если больше любит и больше страдает, чем он. Только холодный, голубой, небесный цвет «жемчужины» видит в ней Данте; а розового, теплого, земного, — не видит. Но вся прелесть ее — в слиянии этих двух цветов; в ее душе нет «разделения». Этим-то она и спасет его, двойного, — единая.

Тайну земной Беатриче выдает Небесная, более живая, земная, чем та, что жила на земле.

Только что увидев ее в Земном Раю, Данте не радуется, а ужасается, предчувствуя, что и здесь, на небе, она подымет на него «убийственные очи».

И обратясь к Вергилию, с таким же
Доверием, с каким дитя, в испуге
Или в печали, к матери бежит, —
Я так сказал ему «Я весь дрожу;
Вся кровь моя оледенела в жилах:
Я древнюю любовь мою узнал!»
Но не было Вергилия со мной,
Ушел отец сладчайший мой, Вергилий…
И даже светлый рай не помешал
Слезам облить мои сухие щеки
И потемнеть от них лицу. — «О, Данте,
О том, что нет Вергилия с тобой,
Не плачь, — сейчас ты о другом заплачешь!»
Она сказала, и, хотя не видел
Ее лица, по голосу я понял,
Что говорит она, как тот, кто подавляет
Свой гнев, чтоб волю дать ему потом.[194]

«Гнев» — «презренье», «жестокость», «явленное в ней презренье и жестокость замыкают уста мои». Вдруг Ангелы запели.

«Зачем его казнишь ты так жестоко?» —
Послышалось мне в этой тихой песне.[195]

Но Беатриче не слышит песни и продолжает казнить обличать его.

…Каждым словом,
Вонзая в сердце острие ножа,
Чей даже край его так больно резал…[196]
… «Что, — больно слушать?
Так подыми же бороду, в глаза
Мне посмотри, — еще больнее будет!»
Она сказала. Налетевшей буре
Когда она дубы с корнями рвет,
Противится из них крепчайший меньше,
Чем я, когда к ней подымал лицо
И чувствовал, какой был яд насмешки в том,
Что «бородою» назвала она
Лицо мое.[197]

«Яд насмешки», il velen de l'argomento; ядом этим отравлен в сердце «вонзаемый нож».

В эту минуту, мог бы он вспомнить здесь, на небе, как там, на земле, в доме новобрачной, «смеялась эта Благороднейшая Дама» над ним, вместе с другими дамами; тем же «ядом» отравляла нож, «вонзаемый в сердце». — «Если бы знала она чувства мои, то пожалела бы меня?» Нет, не пожалела бы, потому что любила, а любовь сильнее жалости. Этого тогда не понял он, — понял теперь, когда уже поздно.

…Суровой,
Как сыну провинившемуся — мать,
Она казалась мне, когда я ощутил
Вкус горькой жалости в ее любви.[198]

Горькою кажется жалость тому, кто познал сладость любви. Он и это почувствует, когда уже будет поздно, и когда вся глубина любви его осветится страшным светом смерти.

…Верный путь
Тебе указан был моею смертью:
Не мог найти в природе и в искусстве
Ты ничего, по высоте блаженства,
Подобного моим прекрасным членам,

Рассыпавшимся ныне в тлен и прах.[199]

О смертном теле своем как будто жалеет бессмертная: в этом опять Беатриче Небесная подобна сестре своей, земной и подземной, — Франческе:

Любовь, что благородным сердцем рано
Овладевает, овладела им
К недолговечной прелести моей,
Так у меня похищенной жестоко,
Что все еще о том мне вспомнить больно…

В эту минуту Данте чувствует, может быть, что не она к нему была «безжалостна», а он — к ней.

Как только что я эту жизнь на ту
Переменила, он меня покинул
И сердце отдал женщине другой, — [200]

жалуется она Ангелам; и ему самому:

Ты должен был свой путь направить к небу,
От смертного вослед за мной, бессмертной,
Не опуская крыльев в дольний прах,
Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок.[201]

Вот откуда гнев ее, — от ревности; вот за что она казнит его так жестоко, — за то, что он изменял ей с «девчонками». Тайна Беатриче небесной и тайна земной — одна: любовь к Данте.

…И жало угрызения мне сердце
Пронзило так, что все, что я любил
Не в ней одной, я вдруг возненавидел;
И боль такая растерзала душу,
Что я упал без чувств, и что со мною было, —
Она одна лишь знает.

Кажется, Беатриче на небе делает с Данте то же, что на земле, в чудном и страшном видении: девушка в объятиях бога Любви, «облеченная прозрачной тканью цвета крови», пожирает сердце возлюбленного, пьет кровь его, как вампир. Это кажется, но это не

так: кто чью кровь пьет, кто кого убивает, Она — его или он — Ее, этого оба они не знают. Здесь как бы «снежная кукла» св. Франциска (его жена «земная», — Небесная — Данте) вдруг наливается живою, теплою кровью. Не потому ли на Беатриче Небесной — одежда не белого цвета, как на земной, а красного, точно «живое пламя» — кровь живая. Страшно-живая жизнь вторгается вдруг в отвлеченно-мертвое видение — аллегорию, Carro, Колесницы Римской Церкви, в тех песнях Чистилища, где происходит неземная встреча Данте с Беатриче, — и опрокидывает эту Колесницу, разбивает ее вдребезги. Вся «Птолемеева система» и даже все строение Дантова Ада, Чистилища, Рая — разрушено; вместо них зияет голая, черная, непонятная, непознаваемая вечность, где только Он и Она, Любящий и Любимая, — в вечном поединке и с вечным вопросом: как соединить любовь земную и небесную, заповедь Отца: «Да будет двое одною плотью», и заповедь Сына: плоть свою убей, будь «скопцом ради Царства Небесного»?

VIII. СМЕРТЬ БЕАТРИЧЕ

Смерть и любовь внутренне связаны, потому что любовь есть высшее утверждение личности, а ее отрицание крайнее — смерть. Бродит Смерть около Любви и подстерегает ее. Вечный страх любящего — смерть любимого. Вот почему и Данте только что полюбил Беатриче, как начал бояться ее потерять.

В первом видении будущего Рая Бог отвечает Блаженным, когда те умоляют Его взять Беатриче на небо:

> В мире еще потерпите, возлюбленные,
> чтоб ваша Надежда (Беатриче), — доколе Мне будет угодно, —
> осталась на земле, где кто-то боится ее потерять.[202]

Этот «боящийся» — Данте: вся его любовь как под Дамокловым мечом, под страхом смерти любимой.

… «Было угодно, в те дни, Царю Небесных сил отозвать во славу свою одну молодую прекрасную даму… И я увидел бездыханное тело ее, лежавшее среди многих плачущих жен… И, вспомнив, что видел их часто вместе с тою Благороднейшей (Беатриче), я не мог удержаться от слез».[203] — «Видя (чувствуя), как жизнь ее непрочна, хотя она и была еще здорова, я начал плакать».[204] Плачет над живой, как над мертвой.

Смерть подходит к ней все ближе и ближе: сначала умирает подруга ее, потом отец.[205] Многие дамы собрались туда, где Беатриче плакала о нем. «Так она плачет о нем, — говорили они, — что можно умереть от жалости…» И обо мне говорили: «Что это с ним? Посмотрите, он сам на себя не похож».[206]

«Вскоре после того я тяжело заболел. И на девятый день болезни (девять — трижды три — и здесь, как везде, — число символическое, — вещее знаменье)… вспомнив о Даме моей… я заплакал и сказал: „Умрет и она!“… И закрыл глаза… и начал бредить… И являлись мне многие страшные образы, и все они говорили: „Ты тоже умрешь… ты уже умер!“… И мне казалось, что солнце померкло… звезды плачут… и земля трясется… И когда я ужасался тому… голос друга сказал мне: „Разве ты еще не знаешь? Дама твоя умерла!“ И я заплакал во сне… И сердце сказало мне: „Воистину, она умерла!“ И тогда увидел я мертвое тело ее… И так смиренно было лицо ее, что, казалось, говорило: „Всякого мира я вижу начало“».[207]

Данте тяжело заболел вскоре после того, как умер отец

Беатриче 31 декабря 1289 года, следовательно, болезнь относится к началу 1290 года. Смерть Беатриче видит он в страшном видении, а свою — увидел наяву, лицом к лицу, полгода назад, 11 июля 1289 (это вторая, после помолвки с Джеммой, полным светом истории освещенная точка в жизни Данте), в бою под Кампальдино, где аретинские Гибеллины были жестоко разбиты флорентийскими Гвельфами.

«Доблестно сражаясь в первых рядах конницы… Данте подвергался величайшей опасности», — вспоминает Бруни,[208] и сам Данте, в драгоценном отрывке письма, уцелевшем в жизнеописании Бруни: «…в этой битве я участвовал и, хотя не был уже новичком на войне, испытал сперва большой страх, а потом, от различных приключений в бою, величайшую радость».[209]

Очень важным делом кажется Бруни участие Данте в Кампальдинском сражении, а любовь его к Беатриче — «пустяками», leggerezze.[210] Но самому Данте, может быть, наоборот: «пустяками» кажется его военная доблесть, а важным делом — любовь.

Судя по тому, как он вспоминает в «Новой жизни», первый поход, вероятно, на тех же аретинцев, в 1285 году, он не испытал, и в этом втором походе ничего, кроме «большого страха», скуки и отвращения. «В обществе спутников моих я очень тосковал, что удаляюсь от моего Блаженства» (Беатриче).[211] Он ехал на коне, грустный и задумчивый, потому что против воли. Вдруг увидел на дороге бога Любви, «в легкой одежде, как бы рубище паломника», подобного нищему: «как будто потерял он всю свою власть… и шел, грустно вздыхая, низко опустив голову, чтобы люди не видели его лица».[212] Что это — аллегория, видение, «галлюцинация», по-нашему, или нечто большее? Как бы то ни было, для самого Данте этот призрачный спутник действительнее всех других его спутников — рыцарей, закованных в железо; а может быть, действительнее даже, чем он сам для себя. Этот таинственный призрак сопутствовал ему, вероятно, и во втором походе так же, как в первом; всю жизнь будет он с ним неразлучен.

Дважды вспомнит Данте о Кампальдинском бое, в «Комедии»; в первый раз, — только для того, чтобы сравнить звук военной трубы, зовущей людей умирать за отечество, с тем непристойнейшим звуком в Аду, которым один из самых зловонных бесов, Барбариччия, сопровождает каждый шаг своего шутовского военного шествия;[213] а во второй раз — только для того, чтобы вспомнить, как один, почти никому не известный воин, Буонконте да Монтефельтро, погибший жалкою смертью в

неприятельском войске, спас душу свою в борьбе с дьяволом, последним вздохом к Деве Марии.[214] Вечные судьбы души человеческой дороже для Данте, чем так называемое «спасение отечества». В свой жестокий, железный, воинственный век он — один из самых мирных людей: не только ненавидит, но и презирает войну. И в этом, как во многом другом, к будущему ближе он, чем к прошлому и настоящему.

Может быть, после той тяжелой, едва не смертельной, болезни Данте, Биче, в одну из мимолетных уличных встреч, и прошла мимо него, без приветствия, как проходила во все эти два последних года («жестокость» это или что-то совсем другое, — мучить так человека, почти смертельно больного от любви к ней?). Но по тому, как она вдруг покраснела и побледнела от радости, увидав, что он жив и здоров, он понял, что она простила его и снова позволяет любить себя; и обрадовался этому так, как будто и она его любит; может быть, подумал, в первый раз: «А что, если любит?» Но все равно, любит или не любит, — Она есть в мире, и даже если умрет, и не будет ее, — все-таки была: уже в этом одном блаженство для него бесконечное.

> Видел я монну Ванну и монну Биче,
> идущих навстречу мне.
> Чудо одно шло за другим.
> И то же, что говорила душа моя,
> сказал мне бог Любви: «Имя той: Весна,
> а этой: Любовь, — так она похожа на меня»

вспоминает Данте, может быть, об этих блаженных днях.[215]

В первый и последний, единственный раз на земле называет он Беатриче ее земным, простым, уменьшительным именем «Биче» (так назовет ее снова, только в раю), — может быть, потому, что вдруг чувствует ее земную, простую близость, в простой, земной любви.

> Столь же, как любовь, прежде, казалась мне жестокой,
> кажется она мне теперь милосердной…
> И чувствует душа моя
> такую в ней сладость,
> что лицо мое бледнеет.[216]

… «Сердце мое было, в эти дни, так радостно, что казалось мне не моим: столь ново было для меня это чувство».[217]

В эти дни, вероятно, и прозвучала одна из самых райских

песен земли — о трех певцах любви и трех возлюбленных: Данте и монне Биче, Гвидо Кавальканти и монне Ванне, Лапо Джианни и монне Ладжии.[218] Но и в этой песне Данте не смеет назвать Беатриче по имени, — слишком оно для него свято и страшно; он называет ее «Числом Тридцатым», потому что «всех чудес начало — Три в Одном».

Хотел бы, Гвидо, я с тобой и с Лапо,
В одной ладье волшебной, в море плыть
Так, чтоб сама она, по нашей воле,
Как по ветру неслась, и ни судьба
И никакое зло иное в мире
Нам не могло преградой быть в пути;
Но, чтоб в одном блаженстве бесконечном,
Быть вместе в нас желание росло.
Еще хотел бы я, чтобы волшебник добрый
К нам перенес в ладью и монну Ванну,
И монну Ладжию, и ту, чье имя
Я под числом тридцатым в песне скрыл;
И чтобы в этом светлом море, с ними
Мы о любви беседовали вечно,
И каждая из наших вечных спутниц
Была бы так же счастлива, как мы.[219]

Вдруг, в этой блаженной вечности, точно громовой удар из безоблачного неба, — смерть. Монна Биче умерла внезапно, — кажется, в ночь с 8-го на 9 июня 1290 года.[220]

Данте еще писал ту песнь о блаженстве любви:

…так овладела мною любовь,
что душа исходит из тела
и об одном только молит любимую, —
дать ей больше этого блаженства.
И это всегда, когда я вижу ее;
и такая в этом сладость, что никто не поверит.[221]

«Я еще писал эту канцону и не кончил ее, когда призвал к Себе Господь Благороднейшую, дабы прославить ее, под знамением благословенной Девы Марии, чье имя больше всех других имен почитала она… И, хотя, может быть, следовало бы мне сказать, как она покинула нас, — я не хочу о том говорить… потому что нет у меня слов для того… и еще потому, что, говоря, я должен был бы хвалить себя, converebbe essere me laudatore di

me medesimo».[222]

Кажется, здесь один из двух ключей ко всему. Если Беатриче, умирая, произнесла, с последним вздохом, имя Данте и если, узнав об этом, он понял, что она его любила и умерла от любви к нему, то все понятно: ключ отпер дверь.[223]

Как она любила и страдала в мрачных, точно тюремных, стенах великолепного дворца-крепости рода дэ Барди, вельможных менял, — этого люди не знали, не понимали, и никогда не узнают, не поймут. Но только потому, что она так любила, так страдала, — Данте и мог быть тем, чем был, сделать то, что сделал. Славою, какой не было и не будет, вероятно, ни у одной женщины, кроме Девы Марии, думал он ей отплатить; но, может быть, всю эту славу отдала бы она за его простую, земную любовь, и в этом — ее настоящая, совсем иная, и большая слава, чем та, которой венчал ее Данте; этим она и спасет его, выведет из ада, — из него самого, — и вознесет в рай, к Самой Себе. Только для этого любит и страдает она, Неизвестная, во всей своей славе забытая так, что люди спрашивают: «Была ли она?»

«С Ангелами, на небе, живет, по отшествии своем, эта Беатриче Блаженная, а на земле — с моею душой», — хочет Данте утешить себя и не может.[224]

«Скорбь его… была так велика… что близкие думали, что он умрет, — вспоминает Боккачио. — Весь исхудалый, волосами обросший… сам на себя не похожий, так что жалко было смотреть на него… сделался он как бы диким зверем или страшилищем».[225]

Кажется, в эти дни, Данте, и в самом деле, был на волосок от смерти. Близкие думали, что он умрет; может быть, он думал это и сам, и этого хотел.

> Каждый раз, когда я вспоминаю о той,
> кого уже никогда не увижу, —
> я зову к себе смерть,
> как отдых блаженный.[226]

Ждет конца своего и конца мира, напророченного страшным сном-видением о смерти Беатриче: «Солнце померкло… звезды плачут… земля содрогается».

Вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет… и звезды спадут с небес… и силы небесные поколеблются. (Мт. 24, 29.)

К смерти близок он, или к сумасшествию. Пишет, должно быть, в полубреду, торжественное, на латинском языке, «Послание ко всем государям земли», — не только Италии, но и всего мира, потому что смерть Беатриче — всемирное бедствие,

знамение гнева Божия на весь человеческий род.[227] «Ее похитил не холод, не жар, как других людей похищает; но взял ее Господь к Себе потому, что скучная наша земля недостойна была такой красоты».[228] — «Как одиноко стоит Город, некогда многолюдный, великий между народами. Он стал, как вдова», — начинает он это «Послание» Иеремииным плачем;[229] но мог бы начать и другим:

Дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ваших… Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? (Лк. 23, 28–31.)

Если это «бред безумия», то, кажется, есть в нем и что-то мудрое, в безумном — вещее, действительное — в призрачном: то, что видит Данте во сне, в бреду, — все потом увидят наяву. В 1289 году, в самый канун смерти Беатриче, наступает внезапный конец флорентийского «мира, покоя и счастья», начинаются братоубийственные войны между простым народом и вельможами, между «Черными» и «Белыми». — «Кончились в этом году флорентийские веселья и празднества», — вспоминает летописец тех дней.[230]

«После того, как ушла она (Беатриче) из этого мира, весь город остался, как вдова, лишенная всякого достоинства», — вспоминает Данте.[231]

> Город этот потерял свое Блаженство,
> и то, что я могу сказать о нем,
> заставило бы плакать всех людей.[232]

«Скорбный Город», Città dolente, — не только Флоренция, но и вся Италия — весь мир.

> В Скорбный Город входят через меня,
> Per me si va nella Città dolente…
> Эти слова, написанные черным
> я увидел на челе ворот, —
> ведущих в Ад.

Муки любви — первое, а смерть Беатриче — второе для Данте сошествие в Ад.

IX. ПЕСТРАЯ ПАНТЕРА

Кажется, в 1292 году, — года через два по смерти Беатриче, — стоял однажды Данте, «в глубокой задумчивости, вспоминая о прошлых днях», и вдруг, подняв глаза, увидел прекрасную и благородную Даму, смотревшую на него из окна, «с такою жалостью в лице, что, казалось, сама она была воплощенная жалость».[233] — «И всюду (потом), где Дама эта видела меня, выражало лицо ее жалость ко мне и бледнело, как бы от любви, так что напоминало мне мою благороднейшую Даму (Беатриче), чье лицо было такого же цвета всегда».[234]

Если «Милосердная Дама», «бледнея от любви» к Данте, напоминала ему Беатриче, то, значит, и эта его любила. Не потому ли «цвет жемчуга», color di perle,[235] — бледность жемчуга, — главная для него и незабвенная прелесть в лице возлюбленной?

«Я не хочу говорить о смерти ее, потому что, говоря, я должен был бы хвалить себя», — если в этих словах один из двух ключей ко всему, то другой, может быть, здесь: тайна Данте и Беатриче — их любовь взаимная. А если так, то лишь при свете этой, неизвестной нам, Беатриче, мы могли бы увидеть — узнать и неизвестного Данте.

> И много раз, глаза от книги подымая,
> Бледнели мы, —

вспоминает Франческа да Римини о том, что ее погубило, «довело до рокового шага».[236] Она «бледнеет» от любви. Здесь опять земная и подземная — сестра Небесной; темная — спутница Светлой, неразлучная с нею, как тень, не только в этом мире, но и в том. «Вечный Строитель мостов» — бог Любви, строит, человеком разрушенный, мост между землей и небом. В жизни Данте этот мост разрушил; но в смерти он построится снова, неразрушимый.

«…И часто, не будучи в силах плакать, чтобы облегчить слезами скорбь мою, я старался увидеть эту Милосердную Даму, одним только видом исторгавшую у меня слезы из глаз…»[237] — «И начали глаза мои слишком услаждаться видом ее, и часто я мучился, потому что это мне казалось очень низким, vile assai… И я говорил глазам моим: „Проклятые! вы должны были бы плакать до смерти о той, кто умерла“».[238]

Так же, как некогда с «Дамой Щита» изменял он живой

Беатриче, — изменяет он теперь, с этой «Милосердной Дамой», и Беатриче умершей. Служит ему и эта «щитом», но в каком трусливом и жалком поединке с беззащитной — мертвой! «Дама Милосердная», donna pietosa, — уже одно это имя живой оскорбляет память умершей — бессмертной, как будто она была «немилосердной», — той, «кто жалости к нему не знала никогда».

«…Часто думал я об этой Даме, с чрезмерным услаждением, так: „Может быть, самим богом Любви послана мне эта благородная Дама, прекрасная и мудрая, для того, чтобы мне утешиться?“ И сердце мое соглашалось на это… Но, едва согласившись, говорило: „Боже мой, что это за низость!“ Так я боролся с самим собою».[239] — «Но знал об этой борьбе только тот несчастный, который в себе ее чувствовал».[240] — «И это было мне так тяжело, что я не мог вынести».[241]

Кажется, именно к этим дням относится начало «Ада», — не в книге, видении, а в жизни, наяву.

Только что выйдя из «темного, дикого леса», selva selvaggia, где заблудился, —

> столь горек был тот лес, что смерть немногим горше, —[242]

встречает он Пантеру. Быстрая, легкая, ласковая, все забегает она вперед и заглядывает ему в глаза, преграждая путь, и он уж хочет вернуться назад. Но весеннее утро так нежно, солнце восходит так ясно, под знаком тех же звезд, что были на небе, в первый день творения, и «пестрая шкура» Пантеры так весела, что он уже почти перестает ее бояться.[243]

Первые истолкователи Дантовых загадок уже разгадали, что эта «пестрая Пантера», Lonza a la gaetta pella, есть не что иное, как «сладострастная Похоть», Lussuria. — «Этому пороку он очень был предан», — вспоминает сын Данте, Пьетро Алигьери.[244]

«В жизни этого чудесного поэта, при такой добродетели его… занимала очень большое место, не только в юности, но и в зрелые годы, плотская похоть», — подтверждает и Боккачио.[245] Очень знаменательно, что прежде, чем окунуться в очистительные воды Леты на «Святой Горе Чистилища», Данте влагает в уста Бонаджьюнты, гражданина из Лукки, пророчество об одной из его соотечественниц, Джентукке, тогда еще маленькой девочке, в которую Данте влюбился, почти на старости лет (так, по истолкованию другого сына его, Джьякопо Алигьери).[246]

— «Даруй мне. Господи, целомудрие — только не сейчас!» — мог бы молиться и грешный Данте, как св. Августин, боясь быть услышанным слишком скоро.[247]

«Славу великих добродетелей своих омрачил он блудом», — вспомнит, лет через пять по смерти Данте, один из его благоговейных почитателей.[248]

Кроме двух жен, земной и небесной, Джеммы и Беатриче, жизнеописатели Данте насчитывают до десяти возлюбленных, а сколько еще, может быть, несосчитанных![249]

«С девятилетнего возраста, — вспоминает он сам, —

…я уже любил и знал,
Как взнуздывает нас любовь и шпорит,
И как под ней мы плачем и смеемся.
Кто разумом с ней думает бороться,
Иль добродетелью, подобен тем,
Кто хочет грозовую тучу звоном
Колоколов прогнать…
В борьбе с любовью, воля человека
Свободною не будет никогда;
Вот почему совет в любви напрасен:
Кому в бока она вонзает шпоры,
Тот принужден за новым счастьем гнаться,
Каким бы ни было оно презренным».[250]

В детстве, в отрочестве и, может быть, в ранней юности, любовь его невинна; но потом, смешиваясь с «похотью», делается все более грешною, и это продолжается «почти до конца жизни», по свидетельству Боккачио.[251] — «Похотью сплошной была вся моя жизнь, libido sine ullo interstitio», — мог бы сказать великий грешник Данте, вместе с великим святым, Августином.

«Держит меня любовь, самовластная и страшная, такая лютая… что убивает во мне, или изгоняет, или связывает все, что ей противится… и господствует надо мной, лишенным всякой добродетели», — признается Данте, уже почти на пороге старости.[252] Любит, полушутя, — и это хуже всего; играет с любовью, «плачет и смеется» вместе; бежит, издыхая, как загнанный конь под страшным всадником.

О кто поверил бы, что я в таком плену?[253]

Этому, в самом деле, не поверит почти никто, и, чтобы оправдать его, люди изобретут одну из величайших глупостей, — будто бы все нечистые любви его — чистейшие «аллегории».[254]

Здесь, в блуде, небо с землей, дух с плотью уже не борются; здесь «любовь», amore, смешивается с «похотью», lussuria, и бог

Любви уже «строит мосты» не между землей и небом, а между землей и адом.

Может быть, самое страшное не то, что Данте изменяет Беатриче с одной из многих «девчонок», — Виолеттой, Лизеттой, Фиореттой, Парголлеттой,[255] — не то, что он любит сегодня Беатриче, а завтра — «девчонку»; самое страшное, что он любит их обеих вместе; говорит Виолетте и всякой другой девчонке, в одно и то же время, почти то же и так же, как говорит Беатриче:

> …прелестью твоей, нечеловеческой,
> ты зажгла огонь в душе моей…

Страшная война противоречивейших мыслей и чувств, высоких святых и грешных, низких, — кончается миром, согласием, еще более страшным. Только что пел неземную любовь:

> смертное может ли быть таким
> прекрасным и чистым?[256]

как начинает петь совсем иную любовь к «Даме-Камню», Donna Pietra:

> …О, если бы она, в кипящем масле,
> Вопила так из-за меня, как я —
> из-за нее, — я закричал бы ей:
> «Сейчас, сейчас иду к тебе на помощь!»
> …О, только б мне схватить ее за косы,
> Что сделались бичом моим и плетью, —
> Уж я бы их не выпустил из рук,
> От часа третьего до поздней ночи,
> И был бы к ней не жалостлив и нежен,
> А как медведь играющий, жесток!
> И если б до крови Любовь меня избила,
> Я отомстил бы ей тысячекратно;
> И в те глаза, чье пламя сердце мне
> Испепелило, я глядел бы прямо
> И жадно; мукой бы сначала — муку, —
> Потом любовь любовью утолил.[257]

«Данте-поэт лежал однажды с блудницей», — так начинается гнусный и кощунственный анекдот XVII века.[258] Этого не было?

Может быть, и не было, но могло быть. Если и не было в действительности, а было только в нечистых желаньях и помыслах, то это, пожалуй, еще хуже.

«Это было мне так тяжело, что я не мог вынести», — вспоминает Данте о борьбе этих согласно-противоположных мыслей и чувств. Но, кажется, он ошибается: в иные минуты, часы или дни жизни, он это не только отлично выносит, но это ему и нравится: сладостно мучается сердце его неутолимой жаждой этих раздирающих его противоречий.

Пестрая, гладкая шкура Пантеры нежно лоснится под утренним солнцем, и светлые пятна чередуются с темными так, что смотреть на них приятно. Нравится ему это смешение светлого с темным, небесного с подземным, — полета с падением. В ласковом мяуканье Пантеры слышится: «Бросься вниз, — с выси духа в бездну плоти, и Ангелы — или демоны — понесут тебя на руках своих, да не преткнешься о камень ногою твоею». Это и значит: падение — полет.

«Вынести я не могу», — говорит Данте и, от страха или от стыда, недоговаривает. — «Вынести я не могу», — говорит духовный близнец Данте, или из XIII века в XIX-й «перевоплощенная душа» его, Достоевский, и договаривает, устами Дмитрия Карамазова: «Вынести я не могу, что иной, высший даже сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто, с идеалом содомским в душе, не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек… я бы сузил… Что уму представляется позором, то сердцу — сплошь красотой… Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут».[259] В этой «исповеди горячего сердца» Дмитрия Карамазова не узнал ли бы Данте своей души?

Кроме старшего друга-обличителя, Гвидо Кавальканти, был у него и младший друг, ровесник, сосед, брат будущей жены его и, кажется, товарищ всех его любовных похождений за «девчонками», Форезе Донати. Как-то друзья жестоко поссорились, но ненадолго, судя по тому, что снова встретились, как лучшие друзья, на шестом уступе Чистилищной горы, где, года за четыре перед тем умерший Форезе, искупая грех обжорства и пьянства, мучается голодом и жаждой.

Как некогда, там, на земле, над мертвым
Лицом твоим, я плакал, так и ныне
Я плачу здесь над ним, столь жалко искаженным, —

говорит ему Данте, не поминая ни словом о бывшей ссоре. Форезе называет его «милым братом» и, забывая о себе, спрашивает, как мог он, живой, войти в царство мертвых. Но Данте, прежде чем ответит, говорит о прошлом:

…О, тяжко вспомнить,
Какую жизнь с тобою мы вели![260]

Кажется, в это незабываемое прошлое, — в «презренную жизнь», в которой обличает Данте и Гвидо Кавальканти, — дают нам заглянуть шесть бранных сонетов, по три на каждого, которыми обмениваются в ссоре бывшие друзья. Данте обличает Форезе в обжорстве, пьянстве, воровстве, а тот его, — в «плутовстве» и «подлой трусости», но не в распутстве; может быть, потому, что в этом они равны. Трудно поверить, читая эти строки, что один из пишущих — Данте. Точно ругаются два ослиных погонщика на большой дороге, или двое пьяниц в доме терпимости, или, в одной из зловоннейших адских «ям», bolgia, два сцепившихся в драке грешника, чью гнусную ругань слушает Данте с таким порочным услаждением, что Виргилий остерегает его:

Желание такие речи слушать
Есть низости душевной знак.[261]

Есть и в этой земной ссоре двух друзей, может быть, нечто, от Форезе, а от Данте идущее, «подземное».

Тогда услышал я — о диво! — запах скверный,
Как будто тухлое разбилося яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной.
Я нос себе зажал, отворотив лицо.[262]

Хуже всего, что этот «скверный запах» смешивается с райским благоуханием тех самых «юных беспорочных дней», когда пишется — живется «Новая жизнь»,[263] и что в сердце Данте происходит и теперь то же, что перед сошествием в ад, когда на гладкой, нежно лоснящейся под утренним солнцем, шкуре Пантеры чередование светлых пятен с темными кажется ему «веселым»; хуже всего то, что сердце его хочет утолить горящую жажду противоречий этим смешением Рая с Адом.

«Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое… пусть скажет оно

Тебе, чего искало в этом бескорыстном зле — зле ради зла».

— «Гнусно было зло, но я его хотел; я любил себя губить, amavi perire; любил мой грех, — не то, ради чего грешил, а самый грех. Гнусная душа моя низвергалась с неба Твоего, Господи, во тьму кромешную. Я хотел не чего-либо стыдного, а самого стыда». — «Сладко мне было преступать закон… и, будучи рабом, казаться свободным… в темном подобии всемогущества Божия…» Кто это говорит? Грешный Данте? Нет, святой Августин.[264]

«Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор, или в свет и радость… И когда мне случалось погружаться в глубокий позор разврата… я всегда этот гимн Церере читал (Данте читает гимн Беатриче). — Исправлял ли он меня? Никогда! Потому что, если я уж полечу в бездну, то прямо головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в таком унизительном положении падаю… И вот, в самом этом позоре, я вдруг начинаю гимн»… Или наоборот: сначала гимн, а потом «вверх пятами».

Может быть, и в этой исповеди близнеца своего, Дмитрия Карамазова, или самого Достоевского, Данте узнал бы свою душу. Но может быть и то, что без этих двух противоположно-согласных внутренних опытов, подземного и небесного, он не создал бы «Божественной комедии». Это очень страшно; и еще страшнее то, что нужно ему было, чтобы спасти себя и других, так погибать от этих внутренних опытов зла.

Вещий сон приснился Данте, в Чистилище: древняя, безобразная «ведьма» превращается, на его глазах, его же собственной «похотью», в юную, прекрасную полубогиню, и слышится ему чарующий зов:

«Я — сладостно поющая Сирена,
Манящая пловцов на ложный путь…
Кто полюбил меня, тот скоро не разлюбит, —
Так чар моих могущественна власть!»
Еще уста поющей не сомкнулись,
Когда явилась мне Жена Святая;
И, быстрым шагом подойдя к Сирене
И разодрав ей спереди одежду,
Мне показала чрево той нечистой,
Откуда вышел смрад такой, что я проснулся.[265]

Это, может быть, происходит с ним не только на «святой горе Очищения», в том мире, но и в этом, и не однажды, а много раз; едва «проснувшись от смрада», он опять засыпает, и ведьма превращается опять в богиню, «смрад» — в благоухание, — и так без конца.

X. ТЕМНЫЕ ЛУЧИ

Огненная река обтекает предпоследний уступ Чистилищной Горы, там, где начинается лестница, ведущая в Земной Рай. Так же, как все, повинные в блудном грехе, должен пройти и Данте сквозь этот очистительный огонь. Но слыша, как Ангел, стоящий над рекой, поет:

Блаженны чистые сердцем!
Здесь нет иных путей, как через пламя,
Войдите же в него, святые души,
Не будьте глухи к песне за рекой, —
он ужасается:
…И сделавшись таким,
Как тот, кого уже кладут в могилу,
Я обратился к доброму вождю,
И он сказал мне. «Сын мой, помни,
Здесь может быть страданье, но не смерть.
Не бойся же, войди в огонь скорее!»
Но я стоял, недвижимый от страха.
Увидев то и сам смутясь, Виргилий
Сказал мне так: «О, сын мой, видишь,
Между тобой и Беатриче —
только эта стена огня…»
И, головою покачав, прибавил:
«Ты все еще стоишь?» и улыбнулся мне,
Как яблоком манимому ребенку,
И впереди меня вошел в огонь…
За ним вошел и я, но был бы рад
В расплавленное броситься стекло,
Чтоб освежиться: так был жар безмерен.
Но, идучи в огне, со мною рядом, —
Чтоб укрепить меня, отец мой нежный
Мне говорил о Беатриче: «Вот,
Уже глаза, ее глаза я вижу!»[266]

Кажется, сквозь тот же очистительный огонь проходит Данте, и на земле, в эти именно, последние дни своей «презренной жизни».

«Против этого врага моего (Духа искушающего: „Бросься вниз!“ или Демона Превратности, как мог бы назвать его другой близнец Данте, тоже сходивший в ад, Эдгар Поэ) — против этого

врага поднялось однажды во мне, в девятом часу дня, могучее видение: Беатриче… в одежде того же цвета крови… в том же юном возрасте, как в первый раз, когда я увидел ее (девятилетним отроком)… И, вспомнив прошлые дни, сердце мое мучительно раскаялось в тех низких желаниях, которым дало собой овладеть… и вновь обратились все мои мысли к Беатриче единственной».[267]

Было ему и другое «чудесное видение», mirabile visione, о котором он ничего не говорит, может быть, потому, что оно не выразимо словами, или слишком свято для него и страшно — «чудесно». — «В нем увидел я то, что мне внушает не говорить больше об этой Благословенной, пока я не буду в силах сказать о Ней достойно. К этому я и стремлюсь, насколько могу, и это воистину знает Она; так что если угодно будет Тему, в Ком все живет, даровать мне еще несколько лет жизни, — я надеюсь сказать о Ней то, что никогда, ни о какой женщине не было сказано. Да будет же угодно Царю всякой милости, Sire de la cortesia, чтобы увидела душа моя славу госпожи своей, Беатриче Благословенной, созерцающей лицо Благословенного во веки веков».[268]

Так кончается «Новая жизнь» — первая половина жизни Данте — в той серединной точке, о которой он скажет:

> Посередине жизненной дороги, — [269]

и начинается вторая половина — «Комедия». Точное разделение этих двух половин Данте сам отмечает одним и тем же словом «начинается», повторяемым в заглавии двух книг, или двух частей одной Книги Жизни: «incipit Vita Nova — incipit Comedia»; «Новая Жизнь начинается», — «начинается Комедия».

Данте пишет «Новую жизнь», вероятно, в 1295 году, когда ему исполнилось тридцать лет.[270] В первой половине жизни, — от девяти лет до тридцати, от первого явления живой Беатриче до последнего, или предпоследнего, земного видения умершей, — Данте любит ее, земную, как небесную; живую, как мертвую. А во второй половине жизни, от тридцати лет до смерти, от последнего земного видения умершей до первого небесного явления Бессмертной, — он любит ее, мертвую, как живую.

Может ли живой чувственно любить мертвую? Этот вопрос людям наших дней, и верующим и неверующим одинаково, кажется умственно нелепым или нравственно чудовищным, получающим ответ только в таких клинических случаях полового безумия, как «вампиризм» или «некрофильство». Может ли мертвая любить живого? Этот вопрос кажется еще более нелепым

и чудовищным: уже в нем самом — как бы начало безумия. Вот почему людям наших дней так трудно понять любовь Данте к Беатриче: в лучшем случае, эта любовь для нас только живой художественный символ, а в худшем — мертвая аллегория. «Беатриче — Священная Теология, la sacra Teologia», как объясняет Боккачио и вслед за ним другие бесчисленные истолкователи Данте.[271]

Деторождение — пол и смерть, начало и конец жизни, — для людей не только нашего времени, но и всей христианской эры — две, чувственно физически и метафизически сверхчувственно, несоединимые категории, два несовместимых порядка. Но древняя мистерия — религиозная душа всего дохристианского человечества — только и начинается с вопроса о соединении этих двух порядков; исходная точка всех древних мистерий, от Египта и Вавилона до Елевзиса и Самофракии, есть половое ощущение трансцендентного, как Божественного или демонического. Бог Любви и бог смерти, Эрос и Танатос, в мистериях, — два неразлучных близнеца.

Может ли живой чувственно любить мертвую? Может ли мертвая так любить живого? Для Данте здесь нет вопроса: он больше, чем верит, — он знает, что это не только может быть, но и есть; и что ни на земле, ни на небе нет ничего прекраснее, чище, святее, чем это.

Данте, вероятно, думает, или хотел бы думать, что любит Беатриче умершую, как любил живую, — духовно бесплотно. Но так ли это? В этом, конечно, весь вопрос. Что такое для Данте Беатриче, в своих посмертных «чудесных видениях» — явлениях, mirabile visione? Только ли «бесплотный дух», «призрак», — «галлюцинация», по-нашему? Нет, Данте больше, чем верит, — он знает, что она приходит к нему, живому, — живая, хотя и в ином, нездешнем, «прославленном», теле. Может ли это быть? Но если не может, то не могло быть и этого:

Сам Иисус стал посреди них и сказал: мир вам. Они же, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа (демона, daimon, по другому чтению).

Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?… Это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. (Лк. 24, 36–39.)

Так же, как ученики Иисуса, пугается и Данте, при первом явлении Беатриче в Земном Раю:

> …я весь дрожу,
> Вся кровь моя оледенела в жилах.[272]

И Беатриче говорит ему те ж почти слова, как Иисус — ученикам:

> …Смотри же, смотри: это я,
> Я — Беатриче![273]

То, что открывалось религиозному опыту всего дохристианского человечества как божественная красота, в соединении двух порядков, здешнего и нездешнего, — Любви и Смерти, — смутно мерещится и людям христианской эры, но уже в искажениях демонических.

Брачная любовь живых к мертвым — сильнейший ожог темных лучей «полового радия». Гоголь знал об этом. Прекрасная панночка-ведьма скачет верхом на молодом бурсаке, Хоме Бруте; он отмаливается, сам вскакивает на нее и, загоняв ее до смерти, влюбляется в мертвую. «Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей — и не мог, несколько вздрогнувши, не зажмурить глаз… Такая страшная, сверкающая красота… В чертах лица ничего не было тусклого, мутного, умершего: оно было живо».[274] Жизнь сквозь смерть, пол сквозь смерть, — вот в чем ожог радия.

Жалкою гибелью — сначала безумием, а потом смертью — кончается первая брачная ночь живого жениха, Аратова, и мертвой невесты, Клары Милич.[275] Та же гибель постигает и новобрачных, в «Коринфской невесте» Гёте.

> Выхожу я ночью из могилы,
> Чтоб блаженства моего искать,
> И, придя туда, где спит мой милый,
> Кровь из сердца у него сосать.

Слыша это, как не вспомнить пожираемого возлюбленной сердца любимого, в первом видении Данте?

В книге XVII века, «О поклонении демонам», откуда Гёте заимствует легенду, мертвая невеста говорит родителям жениха: «Не без воли Божьей, я сюда пришла!» В этих для нас кощунственных или непонятных словах — как бы родимое пятнышко — знак тайного сродства этой христианской легенды с дохристианским таинством.[276]

Кажется, знает и Данте этот страшный ожог темных лучей. «Кто мы такие? Кто мы такие?» — спрашивают влюбленных

юношей девушки в цветных масках, на флорентийских играх бога Любви;[277] так же могла бы спросить и Батриче у Данте, приходя к нему, после смерти: «Кто я такая? Кто я такая? Живая или мертвая? Небесная или подземная?»

«Будут два одна плоть», — будут, но не суть, в любви брачной, рождающей, смертной, ибо умирает все, что рождается; будут, — в любви бессмертной, воскрешающей.

Сыны Воскресения не женятся, ни замуж не выходят, ибо равны Ангелам. (Лк. 20, 35–36.)

Но что же такое влюбленность, самое небесное из всех земных чувств, как не греза о небе на земле уснувшего Ангела? И почему сыны Воскресения— «Сыны чертога брачного»? Грешный пол уничтожен ли, в святой, преображенной плоти, или преображен вместе с нею?

В Абидосском храме Фараона Сэти I, и на гробнице Озириса, в Абидосском некрополе, и в тайном притворе Дендерахского святилища, всюду повторяется одно изображение: на смертном ложе лежит Озирисова мумия, окутанная саваном, — воскресающий, но еще не воскресший, мертвец; и богиня Изида, ястребиха, парящая в воздухе, опускаясь на него, соединяется в любви, живая с мертвым.[278] «Лицо Изиды светом озарилось; овеяла крылами Озириса, — и вопль плачевный подняла о брате»:

> Я — сестра твоя, на земле тебя любившая;
> никто не любил тебя больше, чем я!
> И в Песне Песней Израиль вторит Египту:
> Ночью на ложе моем,
> искала я того, кого любит душа моя;
> искала его, и не нашла…
> …Положи меня, как печать, на сердце свое,
> как перстень, на руку свою;
> ибо крепка любовь, как смерть.

Две тысячи лет Церковь христианская поет эту песнь любви, и мы не слышим, не понимаем, жалкие скопцы и распутники: надо, воистину, иметь в жилах кровь мертвеца, чтобы не понять, что нет и не будет большей любви, чем эта. «Никто на земле не любил тебя больше, чем я!» — «Крепка любовь, как смерть». Это и значит: любовь сквозь смерть — сквозь смерть Воскресение.

Это, может быть, понял бы Данте, лобзая последним лобзанием Беатриче в гробу: только в разлуке смертной понимает любящий, что любовь есть путь к Воскресению.

Главное, еще неизвестное людям, будущее величие Данте — не в том, что он создал «Божественную комедию», ни даже в том,

что он вообще что-то сделал, а в том, что был первым и единственным человеком, не святым, в Церкви, а грешным, в миру, увидевшим в брачной любви Воскресение.

Если в жизни каждого человека, великого и малого, святого и грешного, повторяется жизнь Сына Человеческого, то понятно, почему Данте запомнил, что в последнем земном видении Беатриче, которым кончилась первая половина жизни его и началась вторая, явилась ему Возлюбленная, «в одежде цвета крови», в девятом часу дня. Час девятый, а по иудейскому — третий.

Час был третий, и распяли Его. (Мк. 15, 25).

В тот же час, и Данте, один из великих сынов человеческих, был распят на кресте Любви.

XI. МЕЖДУ ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНОЙ

Кое-что, хотя и очень мало, мы знаем о том, как Данте любил чужую жену, монну Биче де Барди; но о том, как он любил свою жену, монну Джемму Алигьери, мы совершенно ничего не знаем. Эта часть жизни его забыта и презрена не только другими, но и им самим.

Между Данте и Беатриче совершается Божественная Комедия, а между Данте и Джеммой — человеческая трагедия; ту видят все, а эту — никто. «Знал… об этой борьбе с самим собою… только тот несчастный, который чувствовал ее в себе».[279]

Если верить Боккачио, Данте хуже, чем не любил, — «ненавидел» жену свою: «Знала она, что счастье мужа зависит от любви к другой, а несчастье — от ненависти к ней».[280]

Как женился Данте? По свидетельству того же Боккачио, единственного из всех его жизнеописателей, который кое-что знает об этом или думает, что знает, — «видя убийственно горе Данте об умершей Беатриче» и полагая, что своя жена будет для него наилучшим лекарством от любви к чужой, родственники долго убеждали его и наконец убедили жениться. Но лекарство оказалось хуже болезни. — «О, невыразимая усталость жить всегда с таким подозрительным животным, sospettoso animale (как ревнивая жена)… и стареть и умирать, в его сообществе!»[281]

После общих мест о несчастных браках почти всех поэтов и философов, Боккачио оговаривается: «Произошло ли и с Данте нечто подобное… я, конечно, не знаю».[282] Но тут же ссылается на довольно убедительный довод в пользу своих догадок о несчастном браке Данте: «Раз покинув жену, он уже никогда не хотел быть там, где была она, и не терпел, чтобы она была там, где он».[283] Можно бы на это возразить, что, если бы Данте и любил жену, и даже в этом случае, тем более, — он не захотел бы подвергать ее всем бедствиям своей изгнаннической жизни. Но для последних годов этой жизни, проведенных в Равенне, в сравнительном довольстве и покое, довод Боккачио остается в полной силе: если оба сына, Пьетро и Джьякопо, вместе с дочерью Антонией, могли приехать к отцу и поселиться с ним на эти годы, то могла бы это сделать и жена. А если она этого не сделала, то очень похоже, что Боккачио прав: Данте не любил жену и не хотел жить с нею.[284]

Есть на это косвенный намек и у Петрарки, одного из очень немногих, чьи сведения о Данте идут не от Боккачио: «Любовь к жене и детям не могла отвлечь Данте от науки и поэзии; только одного искал он — тени, тишины и молчания».[285]

Кажется, в связи с тем, о чем догадывается Боккачио, и на что намекает Петрарка, знаменательно и молчание самого Данте о жене; и тем знаменательнее, что память сердца у него очень верная. Главная для него горечь изгнания — разлука с любимыми:

> О, если б только с милыми разлука
> Мне пламенем тоски неугасимой
> Не пожирала тела на костях![286]

Как же, при такой тоске, не обмолвился он, за всю жизнь, ни словом о разлуке с женой? Два молчания Данте — об отце и о жене — отягчены, вероятно, двумя одинаково страшными смыслами: отца презирал, жену ненавидел.

«Зла причинила мне в жизни больше всего злая жена», — мог бы, кажется, сказать и Данте, вместе с одним из грешников, в седьмом круге Ада.[287]

Кем была Джемма, злой женой или доброй, мы не знаем; но, по некоторым свидетельствам, можно догадываться, что, если Данте, в самом деле, не любил ее, или даже ненавидел, то не был к ней справедлив. В 1297 году Дантов тесть, Джеммин отец, Манетто Донати, зная, конечно, как зять небогат и как трудно ему будет выплатить долг, согласился быть поручителем в довольно большом, по тогдашнему времени, займе его, — тысяч в десять лир золотом, на наши деньги. Очень вероятно, что он согласился на это, по просьбе дочери.[288] Судя по этому, Джемма любила Данте и могла бы ему быть доброй женой.

Когда, после изгнания его, все имущество, не разграбленное чернью, было отобрано в казну, Джемме удалось, с большим трудом, спасти крохи своего приданого и вскормить на них, воспитать и поставить на ноги восемь или десять маленьких детей, — «так умно распорядилась она» этими спасенными крохами: свидетельство тем более драгоценное, что идет от злейшего врага Джеммы, Боккачио.[289] Судя по этому, она не только могла быть, но и была доброй и умной женой. Если же Данте не был с нею счастлив, то, может быть, не по ее вине. Очень вероятно, что за простую любовь и за простое счастье с другим, не знаменитым мужем, она отказалась бы от великой, но слишком дорого ей стоившей, чести быть женою Данте.

«Прижил с ней несколько человек детей», — говорит Боккачио, не сознавая, как это страшно, если муж ненавидит жену.[290] С точностью мы знаем только о двух сыновьях Данте, Пьетро и Джьякопо, и о двух дочерях, Беатриче и Антонии (если это не одно лицо под двумя именами, мирским и монашеским).

Но кажется, были у него и другие дети, восемь или десять, за двенадцать лет брака. Детям не мешала рождаться ненависть мужа к земной жене и любовь к Небесной.

Маленькая девочка, Джемма Донати, знала, конечно, что помолвлена, по нотариальной записи, с маленьким мальчиком, Данте Алигьери, своим ближайшим соседом по Сан-Мартиновой площади. Долгие годы видела невеста, что жених ее любит другую, и слушала повторяемые всеми вокруг нее «сладкие речи любви», сказанные не ей, а другой. Очень вероятно, что Данте, вопреки Боккачио, женился не после, а до смерти Беатриче. Если так, то Джемма видела все муки любви мужа к другой, и того, что видела, было бы достаточно для всякой женщины, даже ангела во плоти, чтобы сделаться дьяволом или «подозрительным животным».

> «Он сердце отдал женщине другой», —[291]

говорит Беатриче, но это с большим правом могла бы сказать Джемма.

> Ты должен был свой путь направить к небу…
> Не опуская крыльев в дольний прах,
> Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок, — [292]

в этом суде Беатриче над Данте, включает ли она, или не включает, в число «девчонок» и Джемму? Как бы то ни было, более страшной соперницы, чем у жены Данте, не было, и, вероятно, не будет ни у одной женщины в мире. Любит она мужа или не любит, — в сердце ее выжжено имя Беатриче каленым железом.

Чувствовать могла Умершая — Бессмертная замогильную ревность не только к «девчонкам», но и к жене Данте, и даже к этой больше, чем к тем. Вот почему, в «Божественной комедии», оба, Данте и Беатриче, молчат о Джемме, как бы убивают, уничтожают ее этим молчанием, небесные — земную, вечные — временную. Так же, как Данте, проходит и Беатриче — «Священная теология» — мимо церковного таинства брака, точно мимо пустого места. Но сколько бы они ни уничтожали брак, — не уничтожат: Данте будет навеки между монной Джеммой Алигьери и монной Биче де Барди, вечной женой и вечной возлюбленной: а Беатриче — между сером Симоне и Данте, вечным мужем и вечным возлюбленным.

Бедная жена, бедное «животное»! Нет ее вовсе, не должно

быть и не может быть, в вечности; «пар у нее вместо души», как у животных. Но если так, в глазах человеческих, то, может быть, в Божьих, — не так; столь же бессмертна душа и у той, как у этой. Двое, в глазах человеческих, — Данте и Беатриче, а в глазах Божьих, — трое: Данте, Беатриче и Джемма. Здесь, как везде и всегда, в жизни Данте, — но в каком грозном для него и неведомом, спасающем или губящем смысле, — Три.

Кто будет судить Данте, кроме Того, Кто его создал и велел ему быть таким, каков он есть? Но нет никакого сомнения: в свидетельницы на суд Божий над Данте вызвана будет и Джемма.

Может быть, о Сократе кое-что знает Ксантиппа, чего не знает Платон; знает, может быть, и Джемма кое-что о Данте, чего не знает история. Пусть это знание — самое простое, земное, или даже «подземное»; оно все-таки подлинное. Если бы и мы знали о нем все, что знает Джемма, каким новым светом озарилась бы, может быть, вся его жизнь и любовь к Беатриче!

Жена Данте, Джемма Донати, и Нэлла Донати, жена Форезе — родственницы, кажется, не только во времени, но и в вечности. Если, плача «над мертвым лицом» бывшего друга здесь, на земле, стыдно было Данте вспомнить, как оскорбил он жену его непристойной шуткой, в одном из тех бранных сонетов, которыми обменялся с ним, в ссоре, — то насколько было ему стыднее вспомнить об этом, на горе Чистилища, плача над его живым, «искаженным» мукой лицом!

> И я спросил: «Как ты вошел, Форезе,
> Сюда, наверх? Тебя я думал встретить,
> На тех уступах нижних, где грехи
> Мученьем долгим искупают души».
> И он — в ответ: «Моя вдовица, Нэлла,
> Сюда меня так скоро привела,
> Пить мучеников сладкую полынь, —
> Молитвами и сокрушенным плачем
> Освободив от долгих мук внизу.
> И знаю: тем она любезней Богу,
> В святой любви ко мне и в добром деле,
> Чем более, в злом мире, одинока».[293]

Этих простых и вечных слов о брачной любви не вложил бы Данте в уста Форезе, если б чего-то не знал о святом браке, о святой земной любви. — «Брак не может быть помехой… для святой жизни… как думают те, кто постригается в монашество. Только внутренней веры хочет от нас Бог».[294] Это знает грешный Данте лучше многих святых.

Джемма, если бы Данте любил ее, могла бы стать второй Нэллой. Как Франческа да Римини, Нэлла-Джемма — земная Беатриче, но не во грехе, а в святости. Та совершает чудо любви, на небе, а эта, — на земле. Как соединить земную любовь с небесной? На этот вопрос, поставленный миру и Церкви всей жизнью и творчеством Данте, никто не ответил; и даже никто не услышал его, ни в миру, ни в Церкви.

Людям Церкви Данте кажется сейчас «правоверным католиком». Но если бы исполнилось то, чего он хотел для себя и для мира; если бы мир понял и принял его, «не для созерцания, а для действия», то люди Церкви, вероятно, почувствовали бы в нем и сейчас, как это было при жизни его, запах «ереси» — дым костра, и были бы по-своему правы, потому что одно из двух: или вся полнота брачной любви вмещается в церковном таинстве брака, и тогда любить чужую жену и видеть в этом нечто божественное, как делает Данте, в любви к Беатриче, — значит быть в ереси; или же этой любовью поставлено под знак вопроса церковное таинство брака. А если так, то «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, значит: «начинается Вечное Евангелие», incipit Evangelium Acternum, — уже не сына, а Духа, не Второй Завет, а Третий.[295]

«После Нового Завета ничего не будет, post Novum Testamentum non erit aliud», — устами св. Бонавентуры возвещает Римская Церковь.[296] «После Нового Второго Завета будет Третий, — Вечное Евангелие Духа Святого», — возвещает устами Данте Иоахим Флорский, —

> Калабрийский аббат, Иоахим,
> одаренный пророческим духом, — [297]

именно здесь, в брачной любви.

«Это люди, возмущающие вселенную», — жаловались Иудеи римским правителям, в городе Фессалонике, во дни ап. Павла, на учеников Иисуса (Д. А. 17, 6). Распят был и сам Иисус за то, что «возмущал народ» (Лк. 23, 5). И в этом Иудеи были тоже по-своему, правы: если высшая мера всего — Закон, а не свобода, то величайший из «возмутителей» — Он, восставший на Закон во имя свободы так, как никто не восставал и не восстанет.

Данте, в любви и во многом другом, — тоже «возмутитель», «революционер», говоря на языке государства; а на языке Церкви — «еретик».

Все «возмущения», «революции», политические и социальные, внешние, совершающиеся между телами и душами человеческими, — буйны, но слабы и неокончательны; только

«революция пола», внутренняя, совершающаяся в душе и в теле человека, тишайшая и сильнейшая, окончательна. Начал ее, или мог бы начать, еще неизвестный людям, не прошлый и не настоящий, а будущий Данте.

«Кто может вместить, да вместит» (Мт. 19, 12) —

сказано о браке.

«Вы теперь не можете (еще) вместить» (Ио. 16, 12) —

сказано о Духе: этими двумя словами тайна Брака соединяется с тайной Духа. К соединению этому никто, может быть, не был ближе, чем Данте.

Мы, по обетованию Его (Иисуса), ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. (II Пет. 3, 13.)

В Царстве Божием, на новой земле, под новым небом, будет, конечно, и новая брачная любовь. С большей надеждой и большим бесстрашием, чем Данте, никто не устремлялся к этой новой любви; с большей мукою никто не был распят на ее кресте. И если будет когда-нибудь эта любовь, то потому, что Данте любил Беатриче.

XII. В ЗУБАХ ВОЛЧИЦЫ

Выйти из внутреннего порядка бытия во внешний, из личного в общественный, из своего «я» — во всех, было тогда, по смерти Беатриче, единственным для Данте спасением.

Цель всего, чем он живет, «не созерцание, а действие». Только думать, смотреть, «созерцать», — вечная, для него, мука — Ад; созерцать и действовать — блаженство вечное — Рай. Кажется, в политику, в дела государственные, кинулся он, в те дни, очертя голову, «не думая откуда и куда идет», — как вспоминает Боккачио, — именно с этой надеждой: начать «действие».[298] Но и здесь, в бытии общественном, внешнем, подстерегали его, как и в бытии внутреннем, личном, соответственные искушения; те же, что у Сына Человеческого, только в обратном порядке.

Первое искушение, «плотскою похотию», lussuria, — полетом-падением с высей духа в бездну плоти; второе — властью, гордыней; третье — голодом, хлебом. «Бросься вниз», — слышится в ласковом мяуканье Пантеры; «если падши поклонишься мне, я дам тебе все царства мира», — слышится в яростном рыкании Льва, а в голодном вое Волчицы: «повели камням сим сделаться хлебами».

Данте, в политике, находится между Львом и Волчицей, или, говоря на языке наших дней, между «политической проблемой власти» и «социальной проблемой собственности».

> Будь проклята, о древняя Волчица,
> Что, в голоде своем ненасытимом,
> Лютее всех зверей![299]

Чрево нее бездонное.

> Чем больше ест она, тем голодней.[300]

Кто эта Волчица, мы хорошо знаем по страшному опыту: жадность богатых, столь же ненасытимая, как зависть бедных, — две равные муки одного и того же лютого волчьего голода.

> О, жадность! всех, живущих на земле,
> Ты поглотила так, что к небу
> Поднять очей они уже не могут.[301]

Эта древняя и вечно юная Волчица — та самая проклятая собственность, которую так ненавидел «блаженный Нищий», противособственник, св. Франциск Ассизский. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому, «собственнику», сыну древней Волчицы, войти в Царство Божие: это помнит св. Франциск, а грешные люди забыли; путь его покинули, пошли по другому пути. Раньше, чем где-либо, здесь, во Флоренции, в двух шагах от Ассизи, родины св. Франциска, начали они решать «социальную проблему», не с Богом, в любви, как он, а с дьяволом, в ненависти, как мы. Может быть, не случайно, а как раз для того, чтобы люди увидели и поняли (но не увидят, не поймут), рождается именно здесь, рядом с Коммунизмом Божественным, — дьявольский. В маленькой Флорентийской Коммуне, как во всех коммунах средних веков, уже начинается то, что кончится, — или сделается бесконечным, — в великой Коммуне всемирной, — в Коммунистическом Интернационале XX века; здесь открывается кровоточащая рана у самого сердца человечества, от которой оно и погибнет, если не спасет его единственный Врач.

«Разделился надвое, во дни Данте, город Флоренция, с великой для себя пагубой», — вспоминает Боккачио.[302] Надвое разделился город между богатыми и бедными, «жирным народом» и «тощим», popolo grasso и popolo minuto. — «Было в душе моей разделение», — могла бы сказать и Флоренция так же, как Данте.

> Я знаю: разделившись,
> Земля спастись не может;
> И эта мысль жестоко
> Терзает сердце мне, —

сердце учителя, Брунетто Латини, и сердце ученика Данте.[303]

> Скажи мне, если знаешь, до чего
> Дойдет наш город разделенный?[304]

спросит он, в аду, одного из флорентийских граждан, попавших из-за этого разделения в ад.

> За рвом одним и за одной стеною,
> Грызут друг друга люди.[305]

Волчья склока бедных с богатыми, «тощего» народа с «жирным», есть начало той бесконечной войны, сословной, «классовой», по-нашему, которой суждено было сделаться самой лютой и убийственной из войн. Люди с людьми, как волки с волками, грызутся, — шерсть летит клочьями, а падаль, из-за которой грызутся, — Флоренция, вся Италия, — весь мир.

> Уже никто землей не правит:
> Вот отчего, во мраке, как слепой,
> Род человеческий блуждает.[306]

В муках «социальной проблемы», «проклятой Собственности», — мрак слепоты глубже всего. Это первый увидел Данте. В эти дни он мог испытывать то же чувство, как в первые дни по смерти Беатриче, когда писал «Послание ко всем Государям земли»:

> Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче),
> и то, что я могу сказать о нем,
> заставило бы плакать всех людей.

«На два политических стана, — партии, — Белых и Черных, Bianchi e Neri, весь город разделился так, что не было, ни среди знатных, ни в простом народе, ни одного семейства, не разделенного в самом себе, где брат не восставал бы на брата», — вспоминает Л. Бруни.[307] К Белым принадлежали лучшие люди Флоренции; к Черным, — те, кто похуже, или совсем плохие; хуже всех был главный вождь Черных, Корсо Донати, дальний, по жене, родственник Данте, человек большого ума и еще большей отваги, но жестокий и бессовестный политик.

Белые — умеренные, средние; Черные — крайние. «Данте был человеком вне политических станов, партий».[308] — «Всю свою душу отдал он на то, чтобы восстановить согласие в разделенном городе», — вспоминает Боккачио.[309] Только «мира и согласия ищет Данте»;[310] думает, в самом деле, только о «благе общем». Слово «партия», «pars», parte, происходит от слова «часть». В слове этом понятие «частного» противополагается понятию «целого», «общего», — «часть» бедных — «части» богатых, в бесконечной и безысходной, братоубийственной войне. Вот почему для Данте любимейшее слово — «мир», pace, ненавистнейшее — «партия», parte; он знает, что смысл этого слова — война всех против всех: не только Флоренция, но и вся Италия, — весь мир, сделавшись добычей «партий», «частей», — превратится в «Град разделенный» «Città partita» — «Град Плачевный», «Città dolente», — Ад.[311]

Данте соединяется с Белыми, умеренными, против Черных (большей частью мнимых вождей народа, а в действительности, — вожаков черни). Это ему тем труднее, что сам он, внутренне, вовсе не «умеренный», «средний», но «крайний» и «безмерный».

Чтобы обойти в 1292 году принятый и направленный против богатых и знатных граждан закон, воспрещавший тем, кто не был записан в какой-либо торговый или ремесленный цех, исполнять государственные должности, — Данте вынужден был записаться, в 1295 году, в «Цех врачей и аптекарей». Arte dei medici e speciali. [312]

Гвидо Кавальканти, верный до конца себе и своему презрительному к людям, вельможному одиночеству, не без тайного злорадства мог наблюдать, в эти дни, как, пропустив мимо ушей остерегающий голос его:

> Ты презирал толпу, в былые дни,
> И от людей докучных, низких, бегал, —

Данте, неизвестный поэт, но известный аптекарь, оказался на побегушках у Ее Величества, Черни.[313]

Но только что поэт сделался аптекарем, как был вознагражден: 1 ноября 1295 года Данте избран на шесть месяцев в Особый Совет Военачальника флорентийской Коммуны, consiglio speciale del Capitano del Popolo; в том же году — в Совет мудрых Мужей, Consiglio dei Savi, для избрания шести Верховных Сановников Коммуны, Приоров; в 1296 году — в Совет Ста, Consiglio de Cento; в 1297-м, — еще в другой Совет, неизвестный; в мае 1300 отправлен посланником в Сан-Джиминиано для заключения договора с Тосканскою Лигой Гвельфов, Lega Guelfa Toscana; 15 июня того же года избран одним из шести Приоров и, наконец, в октябре 1301 года отправлен посланником к папе Бонифацию VIII.[314]

«Данте был одним из главных правителей нашего города», — скажет историк тех дней, Дж. Виллани.[315]

Явно подчиняясь воле народа, чтобы достигнуть власти, Данте питал будто бы «лютейшую ненависть к народным правлениям», — полагает Уго Фосколо.[316] Так ли это?

Два врага в смертельном поединке: «маленький» Данте, действительный или мнимый враг народа, и, тоже действительный или мнимый друг его, «большой» мясник Пэкора, Pecora, il gran beccaio; человек огромного роста, дерзкий и наглый, великий краснобай, «более жестокий, чем справедливый». [317] Данте — вождь народа, а вожак черни — Пэкора. «Лютою

ненавистью» ненавидит Данте не истинное, а мнимое народовластие — власть черни, ту «демагогию», где, по учению Платона и св. Фомы Аквинского, качество приносится в жертву количеству, личность — в жертву безличности, свобода — в жертву равенству.[318] Между этими двумя огнями, — свободой и равенством, — вся тогдашняя Флоренция, вся Италия, а потом будет и весь мир. «Качество» — за Данте, «количество» за Пэкорой. Данте будет побежден Пэкорой: с этой победы и начнется то, что мы называем «социальной революцией».[319] В Церкви, первый увидел эту страшную болезнь мира св. Франциск Ассизский, в миру, — Данте.

Флоренция, твои законы так премудры,
Что сделанное в середине ноября
Не сходится с твоим октябрьским делом.
Уж сколько, сколько раз за нашу память
Меняла ты законы и монету,
И должности, и нравы, обновляясь!
Но, если б вспомнила ты все, что было,
То поняла бы, что подобна ты больной,
Которая, не находя покоя,
Ворочается с боку на бок, на постели,
Чтоб обмануть болезнь.[320]

«Сам исцелися, врач», —мог бы сказать и, вероятно, говорил себе Данте, в эти как будто счастливые дни. Телом был здоров, а духом болен, — больнее, чем когда-либо; хотел поднять других, а сам падал; хотел спасти других, а сам погибал.

К этим именно дням рокового для него и благодатного 1300 года относится его сошествие в Ад, не в книге, в видении, а в жизни, наяву, — то падение, о котором скажет Беатриче:

Напрасно, в вещих снах, и вдохновеньях,
Я говорила с ним, звала его,
Остерегала, — он меня не слушал…
И, наконец, так низко пал, что средства
Иного не было его спасти,
Как показать ему погибших племя — (Ад).[321]

Кажется, в эти дни, Данте меньше всего был похож на то жалкое «страшилище», пугало в вертограде бога Любви, каким казался в первые дни или месяцы по смерти Беатриче; он сделался, — или мечтал сделаться, — одним из самых изящных и

любезных флорентийских рыцарей, ибо «всему свое время», по Екклезиастовой мудрости: «время плакать, и время смеяться»; время быть пугалом, и время быть щеголем; время любить Беатриче, и время бегать за «девчонками».

«Удивительно то, что, хотя он постоянно был погружен в науки — или в глубокую, внутреннюю жизнь, — никто этого не сказал бы: так был он юношески весел, любезен и общителен», — вспоминает Бруни о более ранних годах, но, кажется, можно было бы то же сказать и об этих.[322] Жил он тогда с «таким великолепием и роскошью», что «казался владетельным князем в республике».[323] Если действительность и преувеличена в этом последнем свидетельстве, ему отчасти можно верить. Весною 1294 года Данте, в числе знатнейших молодых флорентийских рыцарей, назначен был в свиту блистательно чествуемого, восьмидневного гостя Флорентийской Коммуны, венгерского короля, Карла II Анжуйского.[324] Юный король, усердный поклонник Муз, знавший, вероятно, наизусть Дантову песнь:

> Вы, движущие мыслью третье небо, — [325]

и молодой поэт Алигьери так успели подружиться за эти восемь дней, что встреченная Данте в раю тень преждевременно умершего Карла скажет ему:

> …недаром ты меня любил:
> Будь я в живых, тебе я показал бы
> Плоды моей любви, — не только листья.[326]

Это значит, в переводе на тогдашний, грубоватый, но точный, придворный язык: «Я бы не только почестями тебя осыпал, но и озолотил». Этого он сделать не успел; и, кажется, королевская дружба дорого стоила бедному рыцарю, Данте. Если, и в кругу мещанском, трудно было ему сводить концы с концами, то теперь, когда вошел он в круг «золотой молодежи», это сделалось еще труднее. Чтобы не ударить лицом в грязь перед новыми друзьями и подругами, Виолеттами, Лизеттами и прочими «девчонками», нужна была хоть плохонькая роскошь, — богатая одежда с чужого плеча; но и она так дорого стоила, что он по уши залез в долги.

Вот когда мог он почувствовать на себе самом острые зубы «древней Волчицы» — ненасытимой Алчности богатых. Зависти бедных: две эти, одинаково лютые, страсти — острия зубов той же волчьей пасти. Вот когда начинается игра уже не пифагорейских, божественных, а человеческих или дьявольских чисел.

В пыльных пергаментах флорентийских архивов уцелели точные цифры никогда, вероятно, не оплаченных Дантовых долгов. Эти скучные мертвые цифры — как бы страшные следы от глубоко вдавленных в живое тело волчьих зубов.

В 1297 году, 11 апреля, Данте, вместе со сводным братом своим, — мачехиным сыном, Франческо Алигьери, и под его поручительством, занимает 277 флоринов золотом; 23 декабря того же года — еще 280 флоринов, под двойным поручительством, брата и тестя; 14 мая 1300 года — еще 125; 11 июня того же года, в самый канун избрания в Приоры, — еще 90, у некоего Лотто Каволини, знаменитого флорентийского ростовщика; а в следующем 1301 году, — уже маленькие займы, в 50 и даже в 13 флоринов: всего, за пять лет, от 1297 до 1301 года, — 1998 флоринов, около 100 000 лир золотом на нынешние деньги: заем, по тогдашнему времени и по средствам должника, — огромнейший.[327]

По уши залез в долги и запутался в них так, что уже никогда не вылезет. Мог ли он не понимать, что не будь он человеком, стоящим у власти, «одним из главных правителей города», то ни заимодавцы, ни поручители не доверили бы ему таких огромных денег? Мог ли не предвидеть, как легко будет сказать злым языкам, что такие займы не что иное, как, в утонченном и облагороженном виде, «взятки», «лихоимство» и «вымогательство»? Мог ли не сознавать, какое страшное оружие давал он этим в руки злейшим своим врагам?

15 мая 1300 года, вечером, на площади Санта Тринита, где происходило майское празднество с веселыми песнями и плясками, отряд молодых вооруженных всадников, Черных, нечаянно или нарочно, наехал сзади на такой же отряд Белых. Началась драка, и кто-то кому-то отрубил нос мечом. «Этот удар меча был началом разрушения нашего города», — вспоминает летописец. «Снова разделился весь город на Больших людей. Grandi, и Маленьких, Piccolini», на Жирный народ и Тощий.[328] А 24 июня, в Иванов день, на площади Баптистерия, знатные граждане из Черных напали на цеховых Консулов, Consule delle Arti, несших, в торжественном шествии, дары покровителю Флоренции, св. Иоанну Предтече. «Мы победили врагов, в бою под Кампольдини, а вы, в награду за то, лишили нас всех должностей и почестей!» — кричали нападавшие. Произошел уличный бой, и весь город был в смятении.[329]

В те же дни открыт был опаснейший заговор Черных, имевший целью мнимое «умиротворение» города — действительный разгром Белых, с помощью папы Бонифация VIII и, призванного им, чужеземного хищника. Карла Валуа, брата

французского короля, Филиппа Красивого. Страх и смятение в городе усилились этим так, что он «весь взялся за оружие».[330]

Синьория решила воспользоваться случаем восстановить мир, обезглавив оба стана, Белых и Черных, ссылкой их главных вождей. Этот мудрый совет дан был новым Приором, Данте Алигьери. Первый и лучший друг его, Гвидо Кавальканти, оказался в числе изгнанных Белых.[331] «Друга своего лучшего не пожалел он для общего блага», или, говоря казенным красноречием тех дней, «друга заклал на алтаре Отечества», — таков общий смысл того, что говорят или думают, или хотели бы думать об этом почти все жизнеописатели Данте, вслед за первым это сказавшим, или подумавшим, Бруни.[332] Но если Данте нечто подобное и чувствовал, то недолго. Месяца через два-три, к удивлению всех и к негодованию Черных, Белым было позволено вернуться из ссылки, между тем как Черные продолжали в ней томиться. Это сделано было, вероятно, не без настояния Данте; так, по крайней мере, скажут впоследствии Черные, не преминув обвинить его в пристрастии к другу, Гвидо Кавальканти.

Если Белых вернули, действительно, по настоянию Данте, то очень вероятно, что «общее благо» не заглушило в нем чувства более сильного и глубокого, — может быть, раскаяния, и он захотел исправить сделанное зло. Но было поздно: Гвидо, в месте ссылки, в Лунийской Маремме, заболел болотной лихорадкой и вернулся во Флоренцию только для того, чтобы через несколько дней умереть.

Что почувствовал Данте, узнав об этой смерти, когда все уже было кончено, потому что духу у него, вероятно, не хватило пойти проститься с умирающим или мертвым Гвидо? Сказал ли Данте себе сам, или услышал сказанное ему тем Вечным Голосом, который все люди услышат когда-нибудь: кровь его на тебе?

Очень вероятно, что в эти первые дни по смерти Гвидо у Данте бывали минуты, когда все как будто шло очень хорошо, — приоры слушали его внимательно, ростовщики давали деньги охотно, «девчонки» улыбались ласково, — и вдруг точно чья-то ледяная рука сжимала ему сердце, и он, среди белого дня, чувствовал себя, как человек, проснувшийся ночью от тяжелого сна; потихоньку ото всех, — от приоров, ростовщиков и «девчонок», — хватался рукой за скрытую под одеждой и никогда не снимаемую, веревку св. Франциска. Крепко надеялся он на нее; больше, чем верил, — знал, что она его спасет, — со дна адова вытащит, — и не ошибся: вытащит, но если б он знал, — через какие муки Ада!

XIII. МАЛЕНЬКИЙ АНТИХРИСТ

«Римский Первосвященник, Наместник Того, Кого поставил Бог судить живых и мертвых, и Кому дал всякую власть на земле и на небе, господствует надо всеми царями и царствами; он превыше всех людей на земле… Всякая душа человеческая да будет ему покорна», — возвещает миру, в 1300-м, великом, юбилейном году, папа Бонифаций VIII.[333] «Я сам император! Ego sum imperator», — отвечает он Альберту Габсбургскому, когда тот просит подтвердить его избрание в Кесари.[334] «Папа Бонифаций хотел подчинить себе всю Тоскану», — говорит летописец тех дней.[335] Хочет подчинить сначала Тоскану, затем всю Италию, всю Европу, — весь мир. Чтобы овладеть Тосканой, вмешается в братоубийственную войну Белых и Черных, в «разделенном городе», Флоренции, — в волчью склоку «тощего народа» с «жирным», бедных с богатыми, — в то, что мы называем «социальной революцией»; он призовет в Италию мнимого «миротворца», Карла Валуа, брата французского короля, Филиппа Красивого. «Мы низложим короля Франции», — скажет о нем Бонифаций, когда тот не пожелает признать его земного владычества.[336]

Кто же этот человек, желающий господствовать «надо всеми царями и царствами», super reges et regna, возвещающий миру, подобно воскресшему Господу: «Мне дана всякая власть на небе и на земле»? Помесь Льва, Пантеры и Волчицы, в трех искушениях Данте, — помесь жестокости, жадности и предательства, — продолжатель великих пап, Григория VII, Григория IX, Иннокентия III, в гнусно искаженном виде; предшественник Александра VI Борджиа, великий «антипапа» — «маленький антихрист». Это первый понял Данте и, чтобы начать с ним борьбу, «кинулся в политику, очертя голову».

В споре Белых с Черными разгорается с новой силой все тот же, бесконечный, столько веков Италию терзавший, спор Гвельфов с Гибеллинами. Против чужого императора — за своего, родного, папу-кесаря стоят Гвельфы, а Гибеллины — против своего за чужого, потому что знают, или предчувствуют, что чужой, добрый, лучше своих, злых и безбожных, какими не могут не быть, и будут те, кто, от имени Христова, «падши поклонится» князю мира сего.

Черные — такие же Гвельфы, как Белые, но между ними происходит все та же, хотя и в иной плоскости, черта разделения, как между Гвельфами и Гибеллинами. Среди Белых есть и восставшие против земного владычества пап, за вольную Коммуну

Флоренции. Черные, на деле, стоят только за себя, потому что они слишком действенные, или, как мы говорим, «реальные» политики, чтобы думать о далеких целях. Но если бы подумали, то сказали бы, что они против многих борющихся и терзающих Италию Коммун за единого Кесаря-Папу, возможного миротворца и объединителя разъединенной Италии.[337]

Вечный спор Церкви с Государством, Града Божия с Градом человеческим, отражается в споре Черных с Белыми, как в луже — грозовое небо, полное блеском молний. Поднят и здесь опять вечный вопрос об отношении одного слова Господня: «Мне принадлежит всякая власть на небе и на земле», — к другому: «Царство Мое не от мира сего». Но эту глубину спора видит или предчувствует, может быть, один только Данте.

Пять лет, от 1296 года до 1301-го, борется, безоружный и почти неизвестный, гражданин Флоренции с могущественнейшим государем Европы: Данте — с папой Бонифацием VIII.

Летом 1301 года, когда папский легат, кардинал Акваспарта, пытался, вмешательством в государственные дела Коммуны, осуществить «полноту власти» Римского Первосвященника, plenitude potestatis, — Флорентийская Синьория, вдохновляемая новым Приором, Данте, противится тайным козням кардинала, и папа, раздраженный этим противлением, уполномочивает легата отлучить от Церкви всех правителей города и сместить их, отобрав в церковную казну их имущество.

Данте избегнет отлучения только потому, что легат, обманутый слабой надеждой на уступки, замедлит отлучением до сентября, когда избраны будут новые приоры.

Раньше, в том же 1301 году, 15 марта, Данте, в Совете Мудрых Мужей, уже воспротивился выдаче денег папскому союзнику, королю Карлу Анжуйскому, для отвоевания Сицилии, [338] а 19 июня, в Совете Ста, дважды подал голос против продления службы сотни флорентийских ратников, находившихся в распоряжении папы: «Для службы Государю папе ничего не делать, nihil fiat».[339]

Так отвечает Данте на буллу папы Бонифация VIII о земном владычестве Римского Первосвященника: Unam Sanetam. Вот когда перестает он наконец только думать, смотреть — «созерцать» и начинает «действовать». — «Новая жизнь начинается» для него, уже в порядке не личном, а общественном, не в брачной, а в братской любви.

После года 1283-го, второй, для Данте, роковой и благодатный год, — 1300-й. В этом великом для всего христианского мира юбилейном году совершится сошествие Данте в Ад. Будучи в Риме, мог он видеть, как, в базилике Петра,

над оскверненной могилой «нищего рыбаря», там, «где каждый день продается Христос», жадные дети «древней Волчицы», римские священники, с раннего утра до поздней ночи, загребают деревянными лопатками груды золотых, серебряных и медных монет — плату за продаваемые паломникам отпущения грехов.[340] Что испытал тогда паломник Данте, — в сознании своем, правовернейший католик, бессознательно было мятежнее, может быть, и «революционнее», нежели то, что, через двести лет, испытает паломник Лютер. Вот о чем Данте скажет себе и миру:

> Знай, что сломанный Змием (Диаволом) ковчег (Римской Церкви) был, и нет его, —

по слову Откровения:

> зверь, коего ты видел, был и нет его, fuit et non est.[341]

Медленно, трусливо и жадно, как ворон, приближается к человеку еще не мертвому, но умирающему, — приближался осенью 1301 года, к беззащитной, внутренней войной раздираемой Флоренции Карл Валуа, «миротворец». То, что, за пять лет, предвидел Данте, теперь исполнялось. Чувствуя себя обреченными, Белые решили отправить посольство к папе, чтобы принести ему повинную и умолить не отдавать несчастного города чужеземному хищнику.

Если Данте, злейший враг папы, только что едва не отлученный от Церкви, согласился быть одним из трех послов, отправленных в город Ананью, где находился тогда Бонифаций, то этим он выказал великое мужество и жертвенный дух в служении родине.[342] «Если я пойду, кто останется? Если я останусь, кто пойдет?» — сказал он будто бы после минутного раздумья, когда ему предложено было участие в посольстве.[343] Слово это запомнили и поставили в счет его «безумной гордыне». Если он этого и не говорил, то, вероятно, мог так думать и чувствовать. Но гордыни здесь не было, а был ужас одиночества: в этом деле, как в стольких других, он чувствовал, что не только во Флоренции, но и во всей Италии, во всем мире, он один знает, что в мире будет.

Данте и Бонифаций встретились в Ананьи, как два смертельных врага в поединке, — таких же здесь, в Церкви, как там, в Государстве, — великий пророк Духа, Алигьери, и «большой мясник», Пэкора.

«Дети мои, зачем вы так упрямы? — говорил будто бы папа

трем флорентийским послам, с глазу на глаз, приняв их в тайном покое дворца. — Будьте мне покорны, смиритесь! Истинно вам говорю, ничего не хочу, кроме вашего мира. Пусть же двое из вас вернутся во Флоренцию, и да будет над ними благословение наше, если добьются они того, чтобы воля наша была исполнена!»[344]

«Мира хочу» — каким осквернённым, в устах великого Антипапы, маленького Антихриста, должно было казаться Данте это святейшее для него слово: «мир», pace!

До крови однажды разбил Бонифаций лицо германского посланника, ударив его ногой, когда тот целовал его туфлю.[345] Если бы он так же ударил и флорентийского посланника, Данте, то было бы за что, в прошлом и в настоящем, особенно же в будущем: ни один человек так не оскорблял другого, в вечности, как Данте оскорбит Бонифация. Странное видение огненных ям, в аду, куда низринуты будут, вниз головой, вверх пятами, все нечестивые папы, торговавшие Духом Святым, — может быть, уже носилось перед глазами Данте, когда он целовал ноги Бонифация.

Торчали ноги их из каждой ямы,
До самых икр, а остальная часть
Была внутри, и все с такою силой
Горящими подошвами сучили,
Что крепкие на них веревки порвались бы…
Над ямою склонившись, я стоял,
Когда один из грешников мне крикнул:
«Уж ты пришел, пришел ты, Бонифаций?
Пророчеством на годы я обманут:
Не ждал, что скоро так насытишься богатством,
Которое награбил ты у Церкви,
Чтоб растерзать ее потом!»[346]

Двое посланных отпущены были назад, во Флоренцию, а третий, Данте, остался у папы, в Ананьи или в Риме, заложником, и только чудом спасся, как пророк Даниил — из львиных челюстей.

1 ноября 1302 года, в день Всех Святых, входит во Флоренцию с небольшим отрядом всадников Карл Валуа, — маленького Антихриста «черный херувим» и, подняв, через несколько дней, жесточайшую междоусобную войну в городе, опустошает его огнем и мечом.[347]

Из Франции… придет он, безоружный,
С одним Иудиным копьем, которым

Флоренции несчастной вспорет брюхо.[348]

После Карла ворвался в город и мессер Корсо Донати, во главе изгнанников. Черных, водрузил, как победитель, знамя свое на воротах Сан-Пьеро, и тотчас же начались доносы, следствия, суды, казни, грабежи и пожары.[349]

«Что это горит?» — спрашивал Карл, видя зарево на ночном небе.

«Хижина», — отвечали ему, а горел один из подожженных для грабежа великолепных дворцов.[350]

Пять дней длился этот ужас, или, по нашему, «террор». Треть города была опустошена и разрушена.[351] Вот когда исполнилось Предсказание Данте:

Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче),

> И то, что я могу сказать о нем,
> Заставило бы плакать всех людей.

Вскоре вернулся во Флоренцию и другой миротворец папы, кардинал Акваспарта.[352] В новые приоры избраны были покорные слуги папы, из Черных, а бывшие приоры. Белые, в том числе и Данте, преданы суду.

27 января новым верховным правителем Коммуны, Подеста, мессером Канте де Габриелли, жалкою папской «тварью», creatura, скверным адвокатишкой, но отличным судейским крючком и сутягой, объявлен был судебный приговор: Данте, вместе с тремя другими бывшими приорами, обвинялся в лихоимстве, вымогательстве и других незаконных прибылях, а также в подстрекательстве граждан к «междуусобной брани и в противлении Святой Римской Церкви и Государю Карлу, миротворцу Тосканы». Все осужденные приговаривались к пене в 5000 малых флоринов, а в случае неуплаты в трехдневный срок — к опустошению и разрушению части имущества, с отобранием в казну остальной части; но и в случае уплаты — к двухгодичной ссылке, к вечному позору имен их, как «лихоимцев-обманщиков», и к отрешению ото всех должностей.[353]

В тот же день конный глашатай, с длинной серебряной трубой, объезжал квартал за кварталом, улицу за улицей, площадь за площадью, «возглашая приговор внятным и громким голосом».[354]

Где бы ни был Данте в тот день — в Ананьи, в Риме или на обратном пути во Флоренцию, — ему должно было казаться, что слышит и он, вместе с тридцатью тысячами флорентийских

граждан, этот голос глашатая: «Данте — лихоимец, вымогатель, взяточник, вор». Вот когда понял он, может быть, какое дал оружие врагам, запутавшись в неоплатных долгах.

В том, за что осужден был только на основании «слухов», как сказано в самом приговоре, — Данте был чист, как новорожденный младенец: это знали все.[355] «Изгнан был из Флоренции без всякой вины, только потому, что принадлежал к Белым», — свидетельствует лучший историк тех дней, Дж. Виллани.[356] А все же удар был нанесен Данте по самому больному месту в душе, — где оставался в ней страшный след от зубов «древней Волчицы», — проклятой Собственности — Алчности богатых. Зависти бедных. Трубным звуком и голосом глашатая повторялось как будто до края земли и до конца времен бранное двустишие, с одним только измененным словом:

…тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же вор презреннейший, как он.

В самый день объявления приговора старое гнездо Алигьери, на Сан-Мартиновой площади, дом Данте разграблен был буйною чернью, а жена его, с малолетними детьми, выгнана, как нищая, на улицу.[357]

В том же году, 10 марта, объявлен был второй приговор над Данте, с другими четырнадцатью гражданами из Белых: «Так как обвиненные, не явившись на вызов суда… тем самым признали вину свою… то, если кто-либо из них будет схвачен… огнем да сожжется до смерти».[358]

Данте знал, кто главный виновник этих двух приговоров — не Канте де Габриелли, верховный правитель Флоренции, не Корсо Донати, вождь Черных, а тот, кто стоял за ними, — папа Бонифаций VIII.

Этого хотят, этого ищут,

и кто это готовит, тот это сделает там,
где каждый день продается Христос.[359]

«Древняя Волчица» отомстила за возлюбленного сына своего, Бонифация. В вечном огне будет гореть папа, а Данте, — во временном. «До смерти огнем до сожжется», igne comburatur sic quod moriatur, — этот приговор над ним исполнится:

О, если б только с милыми разлука

Мне пламенем тоски неугасимой
Не пожирала тела на костях![360]

Данте, в изгнании, будет гореть до смерти на этом медленном огне тоски.

«Может быть, все, что люди называют Судьбой (случаем), управляется каким-то Тайным Порядком (Божественным Промыслом)», — говорит св. Августин обо всей жизни своей.[361] То же мог бы сказать и Данте. Если б, оставшись в родной земле, продолжал он жить, как жил, — что было бы с ним? Очень вероятно, что, запутавшись окончательно в противоречиях между любовью к Беатриче и блудом с «девчонками», между долгом отечеству и долгами ростовщикам, между общим благом и личным злом (таким, как страшная смерть, почти «убийство» Гвидо Кавальканти), он сделался бы жертвой одного, двух, или всех трех Зверей, — Пантеры, Льва, Волчицы, — Сладострастия, Гордыни, Жадности. И погибла бы не только «Божественная комедия» Данте, но и то, что бесконечно драгоценнее, — он сам.

Чтобы спастись, надо ему было пройти сквозь очистительный огонь той Реки, на предпоследнем уступе Чистилищной горы, о которой Ангел поет:

Блаженны чистые сердцем!
Здесь нет иных путей, как через пламя.

Если Данте думал, что прошел сквозь этот огонь, в тот последний день своей «презренной жизни», когда покаялся и увидел Беатриче умершую — бессмертную, в первом «чудесном видении», то он ошибался: лишь начал тогда входить в огонь, а вошел совсем только теперь, в изгнании. Тогда горела на огне только душа его, а теперь — душа и тело вместе, и будут гореть, пока он весь не очистится и не спасется.

Так чудо божественного Промысла совершается перед нами воочию, в жизни Данте.

Злейший враг его, папа Бонифаций VIII, произнеся свой приговор: «Огнем да сожжется», хочет быть его палачом, а делается Ангелом-хранителем.

Главная точка опоры для человека — родная земля. Вот почему одна из тягчайших мук изгнания — чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, висящий на веревке, полуудавленный, который хотел бы, но не мог удавиться совсем, и только бесконечно задыхался бы. Нечто подобное испытывал, должно быть, и Данте, в первые дни изгнания, в страшных снах,

или даже наяву, что еще страшнее: как будто висел в пустоте, между небом и землей, на той самой веревке св. Франциска, на которую так крепко надеялся, что она его спасет и со дна адова вытащит. «Вот как спасла!» — думал, может быть, с горькой усмешкой; не знал, что нельзя ему было иначе спастись: нужно было висеть именно так, между небом и землей, и на этой самой веревке, чтобы увидеть небо и землю, как следует, — самому спастись и спасти других той Священной Поэмой, к которой

Приложат руку Небо и Земля.[362]

XIV. ДАНТЕ-ИЗГНАННИК

«По миру пошли они, стеная, одни — сюда, а другие — туда», — вспоминает летописец, Дино Кампаньи, об участи флорентийских изгнанников. Белых.[363] Так же пошел по миру и Данте-изгнанник.

Все, что любил, покинешь ты навеки,
И это будет первою стрелой,
Которой лук изгнанья поразит…
Узнаешь ты, как солон хлеб чужой
И как сходить и подыматься тяжко
По лестницам чужим.[364]

Это узнает он не сразу: медленно вопьется в сердце ядовитая стрела изгнанья; медленно отравит в нем кровь. Только что немного оправившись от первого внезапного удара, он начал, вероятно, утешаться обманчивой надеждой всех изгнанников — скоро вернуться на родину.

«Данте, узнав о своей беде в Риме, где был посланником у папы, тотчас выехал оттуда (или бежал) и прибыл в Сиену; здесь только, ясно поняв всю беду и не видя иного средства выйти из нее, решил он соединиться с прочими изгнанниками», — вспоминает Л. Бруни.[365]

8 июня 1302 года собрались изгнанники в горном аббатстве Сан Годенцо, в долине Мужделло, где, после долгих совещаний, постановили образовать военный лагерь в Ареццо, чтобы начать с помощью могущественной лиги Тосканских Гибеллинов и под предводительством графа Алессандро да Ромена поход на Флоренцию. Данте, присутствовавший на собрании, назначен был одним из двенадцати Советников этого военного Союза или заговора.

Первый летний поход 1302 года не удался: флорентийцы, очень хорошо подготовленные к нападению Белых, отразили их с легкостью, как бы играя. Так же не удался и второй, весенний поход 1303 года, кончившийся разгромом Белых, в бою под Кастель Пуличиано (Castel Pulicciano). Так, от надежды к надежде, от отчаяния к отчаянию, дело шло до 30 июля 1304 года, когда Гибеллины, не только из Ареццо, но также из Пистойи и Болоньи, присоединившиеся к флорентийским изгнанникам, потерпели жесточайшее поражение под Ластрою.[366]

Хуже всего было то, что, по неизменному обычаю всех

изгнанников, эти, озлобленные несчастьем, люди перессорились и возненавидели друг друга, как сваленные в кучу на гнилую больничную солому раненые, которые каждым движением причиняют друг другу, сначала нечаянно, а потом и нарочно, нестерпимую боль.

Главной жертвой этой глупой и жалкой ненависти сделался Данте. Видя, что оружием ничего не возьмешь и надеясь больше на мирные переговоры, начатые кардиналом да Прато, он мудро посоветовал не начинать третьего похода, предсказывая, что он кончится бедою; а когда предсказание это исполнилось, то все восстали на него с таким ожесточением, как будто главным виновником беды был он, зловещий пророк. В «подлой трусости» обвиняли его, а может быть, и в предательстве.[367]

> И будет для тебя еще тяжелее
> Сообщество тех злых и низких душ,
> С которыми разделишь ты изгнанье…
> Неблагодарные, безумные, слепые,
> Они восстанут на тебя, но вскоре
> Придется им краснеть, а не тебе,
> Когда их зверство так себя покажет,
> Что будет для тебя великой честью,
> Что ты в борьбе один был против всех.[368]

Но если тогда еще Данте не знал, что узнает потом, что значит быть полководцем без войска; поймет, что не только «великая честь», но и великое несчастье оказаться между двумя огнями, двумя враждующими станами, одному против всех.

> Те и другие захотят тебя пожрать,
> Но будет далека трава от клюва —[369]

глупых гусей — Белых и Черных. Смысл этого загадочного пророчества, кажется, тот, что братья Данте по несчастью, флорентийские изгнанники, возненавидят его так, что захотят убить, и он должен будет спастись от них бегством, — как бы вторым изгнанием, горше первого.[370]

В 1304 году Данте бежал в Верону, где милостиво принял его герцог Бартоломео дэлла Скала, тот «великий Ломбардец», на чьем щите была изображена, «святою Птицею», римским Орлом, гибеллиновским знаменьем, венчанная лестница, scàia; от нее и родовое имя: Скалиджери (Scaligeri), «Лествиничники».[371]

Если верить свидетельству Бруни, Данте, находясь в Вероне,

«старался… добрыми делами… умилостивить флорентийских правителей, чтобы они позволили ему вернуться на родину; много писем писал он об этом не только отдельным гражданам, но и народу». Молить прощения у тех, кто предал вечному позору имя его, как «вора, лихоимца и вымогателя». Какие нужны были муки, чтобы так смирить гордого Данте, или, по страшному слову Бруни, чтобы «сделался он весь одним смирением». Лучше всего выражают эту тягчайшую муку изгнания, воспоминаемые Бруни, слова Данте, несомненно подлинные, которыми начинается одно из этих писем: «О, народ мой, что я тебе сделал? Populе mee, quid feci tibi?»[372]

Краток был отдых в Вероне, — может быть, потому, что добрый герцог Бартоломео скончался в марте 1304 года.[373] Данте, впрочем, подолгу нигде не заживается: точно Каиновым проклятием гонимый, не может остановиться, бежит все дальше и дальше, пока не упадет в могилу. «В поисках высшего блага душа человеческая подобна страннику, идущему по неизвестной дороге: всякий дом кажется ему гостиницей; но, увидев, что это не так, идет он все дальше и дальше, от дома к дому, пока не найдет себе последнего (в могиле) убежища», — скажет сам Данте-изгнанник.[374]

После Вероны начинаются его бесконечные скитания. Где он был и что с ним было, мы не знаем с точностью. Как утопающий в море пловец то исчезает в волнах, то вновь появляется, — так и он. Только что луч исторической памяти скользнет по лицу его, как уже потухает, и оно погружается опять во мрак.

Те и другие захотят тебя пожрать, —

даже это зловещее пророчество не исполнится: теми и другими он презрен и забыт одинаково.

Где был он и что с ним было, мы не знаем, но знаем, что ступени каждой новой чужой лестницы все круче для него; каждый новый кусок чужого хлеба все солонее, горше соленой горечью слез.

В темные воды Леты нырнул он после Вероны, а вынырнул года через два, при дворе великолепного маркиза Франческино Маласпина, в Луниджиане. Кажется, одна из двух, полным светом истории освещенных точек, в первой половине изгнаннической жизни Данте, — 9 часов утра, 6 октября 1306 года, когда полномочный посол, прокуратор и нунций маркиза Маласпина, Данте Алигьери, торжественно подписывает, в присутствии нотариуса, мирный договор с епископом Лунийским, — конец долгой и жестокой войны его с владетельным родом Маласпина.

Это происходит близ того самого скверного городишки Сарцаны, в Лунийской Маремме, где шесть лет тому назад смертельно заболел болотной лихорадкой сосланный туда по настоянию Данте «первый друг» его, Гвидо Кавальканти. «Кровь его на тебе», — это сказанное Вечным Голосом услышал ли Данте вновь?[375]

Вторая из этих двух исторически освещенных точек — пребывание Данте, в том же, 1306-м, или в следующем году, в Болонье, где снова садится он, в сорок два года, на школьную скамью, в тамошнем Университете, неутомимо-жадно учится и начинает писать огромную схоластическую книгу «Пир», которой никогда не суждено ему было кончить.[376]

Следующие три-четыре года, от 1307-го до 1311-го — самые для нас темные в изгнании Данте:[377] как бы с лица земли исчезает он, проваливается сквозь землю. Если бы за эти годы он умер, никто не узнал бы, где, когда и отчего.

Кратко, смутно и в неверном историческом порядке, вспоминает пути Дантова изгнания Боккачио: Верона, Казентино, Луниджиана, Урбино, Болонья, Падуя, опять Верона и, наконец, Париж. — «Видя, что все пути в отечество закрыты для него и что надежда на возвращение с каждым днем становится тщетнее, он покинул не только Тоскану, но и всю Италию, перевалил за Альпы и… кое-как добрался до Парижа, где весь предался наукам… стараясь нагнать упущенное за годы скитаний».[378] Был ли, действительно, Данте в Париже, слушал ли, в тамошнем Университете, в «Сенном переулке»,[379] сидя с прочими школярами на куче соломы, великого схоластика, Сигьера Брабантского, — мы не знаем. Но если это маловероятно, то еще невероятнее пребывание Данте в Англии, о котором упоминает Боккачио, в латинском послании к Петрарке:

> …Фебовой силой влекомый,
> Он до Парижа дошел; был и у Бриттов далеких.[380]

Первый жизнеописатель Данте, его современник, Джиованни Виллани, вспоминает о его скитаниях еще короче и сбивчивее:

«Изгнанный из Флоренции… отправился он в Болонский университет, а оттуда в Париж и во многие другие страны мира».[381]

Так скитается по миру призрак Данте, вечного изгнанника, словно тень Агасфера или Каина.

Лучше всего вспоминает об этих скитаниях он сам: «После того, как угодно было гражданам славнейшей и прекраснейшей дочери Рима, Флоренции, изгнать меня оттуда, где я родился и был вскормлен до середины дней моих, и куда… всею душою

хотел бы вернуться, чтобы найти покой усталому сердцу и кончить назначенный срок жизни, — после того, скитался я почти по всей Италии, бездомный и нищий, показывая против воли те раны судьбы, в которых люди часто обвиняют самих раненых. Был я воистину ладьей без кормила и паруса, носимой по всем морям и пристаням иссушающею бурею бедности. И многие из тех, кто, может быть, судя по молве, считали меня иным, — презирали не только меня самого, но и все, что я уже сделал и мог бы еще сделать».[382]

В эти дни Данте понял, вероятно, что казнь изгнания — казнь наготы: выброшены, в лютую стужу, голые люди на голую землю, или, вернее, голые души: тело тает на них, как тело призраков, и сами они блуждают среди живых, как призраки. Понял Данте, что быть изгнанником — значит быть такой живой тенью, более жалкой, чем тени мертвых: этих люди боятся, а тех презирают. Хуже Каиновой печать на челе их: «знамение положил Господь Бог на Каина, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт. 4, 15); такого знамения не было на челе Данте-изгнанника: первый встречный мог убить его, потому что он был человек «вне закона».

Понял, может быть, Данте, что изгнание — страшная, гнусная, проказе подобная, болезнь: сила за силой, разрушаясь, отпадает от души, как член за членом — от тела прокаженного; бедностью, несчастьем, унижением пахнет от изгнанников, как тленом проказы; и так же, как здоровые бегут от прокаженных — счастливые, имеющие родину, бегут от несчастных изгнанников.

Родина для человека, как тело для души. Сколько бы тяжело больной ни ненавидел и ни проклинал тела своего, как терзающего орудия пытки, избавиться от него, пока жив, он не может; тело липнет к душе, как отравленная одежда Нисса липнет к телу. «Сколько бы я ни ненавидел ее, она моя, и я — ее» — это должен был чувствовать Данте, проклиная и ненавидя Флоренцию.

> Произращен твой город тем, кто первый
> Восстал на Бога, —

диаволом. Город Флоренция — «диаволов злак», а цветок на нем — Флорентийская Лилия — чекан тех золотых флоринов, что «делают из пастырей Церкви волков», щенят «древней Волчицы», проклятой Собственности — Алчности.[383]

Главная мука в ненависти Данте к Флоренции — вопрос всей жизни его, как и жизни св. Франциска Ассизского, — о проклятой собственности и благословенной «общности имения»: то, что мы

называем «проблемой социального неравенства».

Ликуй, Флоренция, твоя летает слава,
По всем морям и землям, так далеко,
Что, наконец, дна адова достигла, — [384]

злорадствует Данте, терзая душу и тело родины — свое же собственное тело и душу.

Чуть не с каждым шагом по кругам Ада, по уступам Святой Горы Чистилища и по звездным сферам Небес, вспоминает он и проклинает Флоренцию. Ненависть его к ней так неутолима, что и в высшей из небесных сфер, пред Лицом Неизреченного, он все еще помнит ее, ненавистную — любимую, мачеху — мать.

От временного к вечному придя,
От города Флоренции — ко граду Божью,
Каким я изумленьем несказанным
Был поражен![385]

Но, чем больше ненавидит ее, тем больше любит. Главная мука изгнанья — вечная мука ада — эта извращенная любовь-ненависть изгнанников к родине, проклятых детей — к проклявшей их матери.

«Мир для нас отечество, как море для рыб… Но, хотя из-за любви к отечеству мы терпим несправедливое изгнание… все же нет для нас места на земле любезнее Флоренции».[386] — «О, бедная, бедная моя отчизна! Какая жалость терзает мне сердце каждый раз, как я читаю или пишу о делах правления!»[387]

Ступай теперь, Тосканец: об отчизне
Мне так стеснила сердце скорбь, что больше
Я говорить не буду, — лучше молча плакать, — [388]

говорит Данте-изгнаннику, в Чистилище, тень Гвидо дэль Дука.

О ты, земли Тосканской обитатель…
Мне звук твоих речей напоминает
О той моей отчизне благородной,
Которой, может быть, я в тягость был, — [389]

говорит ему флорентиец Фарината, в Аду. Тени, в загробном

мире, продолжают любить родную землю, как будто она для них все еще действительнее, чем рай и ад.

Данте, наяву, слепнет от ненависти, не видит отечества, — но видит его во сне. «Больше всех людей я жалею тех несчастных, кто, томясь в изгнании, видит отечество свое только во сне».[390] Ожесточен и горд наяву, а во сне плачет, как маленький прибитый мальчик: «О, народ мой, что я тебе сделал?» Тихие слезы льются по лицу; вся душа, исходя этими слезами, истивает, как вешний снег — от солнца.

Жизнь Данте в изгнании — смерть от этой страшной, извращенной любви-ненависти к отечеству.

> Я смерть мою прощаю той,
> Кто жалости ко мне не знала никогда, —

мог бы он сказать и Флоренции, как сказал Беатриче.

Знает, что никогда не будет прощен, а все-таки ждет, молит прощения, и будет молить до конца.

> Я знаю: смерть уже стоит в дверях;
> И если в чем-нибудь я был виновен,
> То уже давно искуплена вина…
> И мир давно бы дать могли мне люди,
> Когда бы знали то, что знает мудрый, —
> Что большая из всех побед — прощать.[391]

Но этого люди не знают и никогда не простят того, кто слишком на них не похож, как волки не прощают льву, что он — лев, а не волк. Данте — изгнанник. Данте — нищий.

> Стыд заглушив, он руку протянул…
> Но каждая в нем жилка трепетала,[392]

это скажет он о другом, но мог бы сказать и о себе, да и говорит, хотя иными словами, в 1304 году: «Бедность внезапная, причиненная изгнанием… загнала меня, бесконного, безоружного, как хищная Звериха, в логово свое, где я изо всех сил с нею борюсь, но все еще, лютая, держит она меня в когтях своих».[393]

Прежде, в отечестве, когда делал долги, только концами зубов покусывала, как бы играючи, а теперь всеми зубами впилась, вонзила их до крови.

Данте знает, конечно, что есть две Бедности: «Прекрасная Дама», gentile Donna, св. Франциска Ассизского, «супруга Христова», та, что «взошла с Ним на крест, когда Мария осталась у подножия Креста», — и другая, «хищная Звериха», «древняя Волчица»: грешная бедность — волчья жадность, волчья зависть. «Холодно-холодно! Голодно-голодно!» — воет она, и этой страшной гостье «никто не открывает дверей охотно, так же как смерти».[394] Знает Данте и то, что от внутренней силы каждого зависит сделать для себя бедность благословением или проклятием, славой или позором; победить ее или быть побежденным.

«Блаженны нищие, ибо их есть царство небесное» — это легко понять со стороны, для других; а для себя — трудно; чтобы это понять и сделать (а не сделав, не поймешь), надо быть больше, чем героем, — надо быть святым. Как приняли бы и вынесли бедность даже такие герои, как Александр Великий и Цезарь, еще большой вопрос. Данте был героем, может быть, в своем роде, не меньшим, чем Александр и Цезарь, но не был святым. Самое тяжкое для него в бедности то, что он побежден ею внутренне, унижен перед самим собой больше, чем перед людьми. Медленно растущим гнетом бедности раздавливается, расплющивается душа человека, как гидравлическим молотом. В мелких заботах бедности даже великое сердце умаляется, крошится, как ржавое железо или выветрившийся камень.

Чувство внутреннего бессилия, измены и лжи перед самим собою, — вот что для Данте самое тяжкое в бедности. Благословляет бедность в других, а когда дело доходит до него самого, проклинает ее и запирает от нее двери, как от смерти. В мыслях, «древняя Волчица» есть, для него, проклятая Собственность, Богатство; а в жизни, — Бедность. Одно говорит, а делает другое; думает по-одному, а живет по-другому. И если чувствует, — что очень вероятно, — это противоречие, то не может не испытывать тягчайшей муки грешной бедности — самопрезрения.

Судя по тогдашним нравам нищих поэтов, Данте, может быть не слишком усердствует, когда, стараясь отблагодарить своих покровителей за бывшие подачки и расщедрить на будущие, славит в «Чистилище» кошелек великолепного маркиза Маласпина, более щедрый для других, чем для него;[395] или когда, в «Раю», прапрадед Качьягвидо обнадеживает его насчет неслыханной щедрости герцога Веронского:

> Жди от него себе благодеяний,
> Затем, что судьбы многих, в скорбном мире,

Изменит он, обогащая нищих.[396]

Данте мог презирать такие клеветы врагов своих, как бранный сонет, в котором один из тогдашних плохих стихотворцев кидает его, за «низкую лесть», в его же собственный Ад, в зловонную «яму льстецов»;[397] но бывали, вероятно, минуты, когда он и самому себе казался немногим лучше «льстеца», «приживальщика», «прихлебателя».

Слишком хорошо знал он цену своим благодетелям, чтобы каждый выкинутый ими кусок не останавливался у него поперек горла, и чтобы не глотал он его с горчайшими слезами стыда.

Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала.

Низко кланяется, гнет спину, «выпрашивая хлеб свой по крохам»,[398] — и вдруг возмущается: «Много есть государей такой ослиной породы, что они приказывают противоположное тому, чего хотят, или хотят, чтобы их без приказаний слушались… Это не люди, а звери».[399] — «О, низкие и презренные, грабящие вдов и сирот, чтобы задавать пиры… носить великолепные одежды и строить дворцы… думаете ли вы, что это щедрость? Нет, это все равно что красть покров с алтаря и, сделав из него скатерть, приглашать к столу гостей… думая, что те ничего о вашем воровстве не знают».[400]

О, сколько есть таких, что мнят себя
Великими царями
Там, на земле, и будут
Валяться здесь, в аду, как свиньи в грязной луже,
Презренную оставив память в мире![401]

«Властвовать над людьми должен тот, кто их всех превосходит умом», — вспоминая эти слова Аристотеля, Данте думает, конечно, о себе.[402]

Кажется, именно в бедности, узнав, по собственному опыту, за что восстают бедные на богатых: «тощий» народ на «жирный», Данте почувствовал, один из первых, грозную возможность того, что мы называем «социальной революцией», «проблемой социального неравенства».

Против человеческой низости было у него страшное оружие — обличительное слово, которым выжигал он на лице ее, как

железом, докрасна раскаленным на огне ада, или как брызнутой в лицо серной кислотой, — неизгладимое клеймо. Но оружие это двуострое: оно обращается иногда и на него самого, «Данте, муж, во всем остальном, превосходный, только одним врожденным недостатком был в тягость всем, — сообщает поздний, XVI века, свидетель, передавая более раннее, может быть, от современников Данте идущее, предание или воспоминание. — Часто предавался он яростному гневу до безумия и, не думая о том, сколь великим опасностям подвергают себя оскорбители сильных мира сего, слишком свободным языком своим оскорблял их безмерно».[403]

Кажется, сам Данте чувствовал в себе этот «врожденный недостаток» и, в спокойные минуты, боролся с ним:

> Я вижу, надо быть мне осторожным,
> Чтоб, родины возлюбленной лишась,
> Не потерять и остальных убежищ.
> Я в людях то узнал, что может дать
> Моим стихам, для многих, вкус горчайший.[404]

Слишком хорошо знает он, что неосторожная правда, в устах нищего, — для него голодная смерть, или то, что произошло с ним, — если верить тому же позднему, по вероятному свидетельству, — в 1311 году, в Генуе, где слуги вельможи Бранка д'Ориа (Branca d'Oria), оскорбленного стихами Данте, подстерегши его на улице, избили кулаками или палками.[405] Все равно, было это или не было: это могло быть. И Данте знал, что могло, что множество глупцов и негодяев вздохнуло бы с облегчением, узнав, что человек, у которого всегда было наготове каленое железо и серная кислота для их бесстыдных лбов, умер или убит, как собака.

Люди довольно легко прощают своим ближним преступления, подлости, даже глупости (их прощают, пожалуй, всего труднее) — под одним условием: будь похож на всех. Но горе тому, кем условие это нарушено и кто ни на кого не похож. Люди заклюют его, как гуси попавшего на птичий двор умирающего лебедя или как петухи — раненого орла. Данте, среди людей, такой заклеванный лебедь или орел. Жалко и страшно видеть, как летят белые, окровавленные перья лебедя под гогочущими клювами гусей; или черные, орлиные, — под петушиными клювами. Данте, живому, люди не могли простить — и все еще не могут простить — бессмертному, того, что он так не похож на них; что он для них такое не страшное и даже не смешное, а только скучное чудовище.

Может быть, он и сам не знал иногда, чудо ли он или чудовище; но бывали и такие минуты, когда он вдруг видел во всех муках изгнания своего, нищеты и позора — чудо Божественного Промысла; и слышал тот же таинственно зовущий голос, который услышит, проходя через огненную реку Чистилища:

> Здесь нет иных путей, как через пламя…
> Между тобой и Беатриче — только эта
> Стена огня. Войди же в него, не бойся!
> Вот Уже глаза, ее глаза я вижу!

Может быть, Данте чувствовал, в такие минуты, свою бесконечно растущую в муках силу.

> Неколебимым чувствую себя
> Четырехгранником, под всеми
> Ударами судьбы.[406]

Что дает ему эту силу, он и сам еще не знает; но чувствует, что победит ею все.

> Восстань и помни, что душа твоя,
> Во всех бореньях, может победить.[407]

Когда вспоминает он о другом нищем изгнаннике, то думает и о себе:

> О, если б мир узнал, с каким великим сердцем
> Выпрашивал он хлеб свой по крохам,
> То, славя, больше бы еще его прославил![408]

Купит грядущую славу только настоящим позором — это он узнает из беседы в Раю с великим прапрадедом своим, Качьягвидо:

> «…Боюсь, что, если буду
> Я боязливым другом правды в песнях,
> То потеряю славу в тех веках,
> Которым наше время
> Казаться будет древним». — Воссиял
> Прапрадед мой, как солнце, и в ответ

Сказал мне так: «Чья совесть почернела,
Тот режущую силу слов твоих
Почувствует; но презирая ложь,
Скажи бесстрашно людям все, что знаешь…
…Твои слова
Сначала будут горьки, но потом
Для многих сделаются хлебом жизни,
И песнь твоя, как буря, поколеблет
Вершины высочайших гор,
Что будет славой для тебя немалой».[409]

Песнь о Трех Дамах, сложенная, вероятно, в первые годы изгнания, лучше всего выражает то, что Данте чувствовал в такие минуты. Жесткую, сухую, геральдическую живопись родословных щитов напоминает эта аллегория. Трудно живому чувству пробиться сквозь нее, но чем труднее, тем живее и трогательнее это чувство, когда оно наконец пробивается.

К богу Любви, живущему в сердце поэта, приходят Три Дамы (и здесь, как везде, всегда, число для Данте святейшее — Три): Умеренность, Щедрость, Праведность. Temperanza, Largezza, Drittura. Может быть, первая — Святая Бедность, Прекрасная Дама, св. Франциску известная; вторая — святая Собственность, ему неизвестная; а третья — неизвестнейшая и прекраснейшая, соединяющая красоту первой и второй в высшей гармонии, — будущая Праведность. «Ждем, по обетованию Его, нового неба и новой земли, где обитает Правда» (II Петр. 3, 13). Или, говоря на языке «Калабрийского аббата Иоахима, одаренного духом пророческим»:[410] святая Щедрость — в Отце, святая Бедность — в Сыне, а третья — Безымянная, людям еще неизвестная, святость — в Духе. Если так, то и это видение Данте относится все к тому же вечному для него вопросу о том, что Евангелие называет так глубоко «Умножением — Разделением хлебов», а мы так плоско — «социальной революцией», «проблемой социального неравенства».

Три Дамы к сердцу моему пришли…
Как к дому друга, зная,
Что в нем живет Любовь…
И на руку одна из них склонила, плача,
Лицо свое, как сломанная роза…
И жалкую увидев наготу
Сквозь дыры нищенских одежд, Любовь
Ее спросила: «Кто ты, и о чем
Так горько плачешь?»

«Мы, нищие, бездомные, босые,
Пришли к тебе, — ответила она. —
Я — самая несчастная их трех;
Я — Праведность, сестра твоя родная…»
Ответ Любви был вздохами замедлен,
Потом, очами, полными надежды,
Приветствуя изгнанниц безутешных,
Она схватила в руки два копья
И так сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь! Вот оружье наше;
От ветхости заржавело оно.
Умеренность, и Щедрость, и другая
От нашей крови, — нищенствуя, в мире
Скитаются. Но, если это — зло,
То пусть о нем рожденные во зле,
Под властью рока, люди плачут, —
Не мы, чей род — от вечного гранита.
Пусть презренны мы ныне и гонимы, —
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»
И, слушая тех царственных изгнанниц,
Как плакали они и утешались,
В божественной беседе, я впервые
Изгнание мое благословил.
Пусть жалкий суд людей иль сила рока
Цвет белый черным делает для мира, —
Пасть с добрыми в бою хвалы достойно.[411]

Два сокровища находит нищий Данте в изгнании; первое — итальянский «народный язык», vulgare eloquium. В Церкви и в государстве все говорили тогда на чужом и мертвом латинском языке, а родной и живой, итальянский, — презирали, как «низкий» и «варварский», Данте первый понял, что будущее — за народным языком и усыновил этого пасынка, обогатил нищего, венчал раба на царство. Если тело народной души — язык, то можно сказать, что Данте дал тело душе итальянского народа, как бы снова создал его, родил; и знал величие того, что делает: «больше всех царей и сильных мира сего будет тот, кто овладеет… царственным народным языком».[412]

Второе сокровище нищего Данте — «Божественная комедия». Начал он писать ее, вероятно, еще во Флоренции, между 1300-м и 1302 годом, но потом, в изгнании, вынужден был оставить начатый труд.[413] Через пять лет, в 1307 году, по свидетельству

Боккачио, флорентийские друзья Данте прислали ему рукопись первых семи песен «Ада», найденную ими случайно в сундуке с домашней рухлядью. «Я думал, что рукопись моя погибла вместе с остальным разграбленным моим имуществом, — сказал будто бы Данте. Но так как Богу было угодно, чтобы она уцелела и вернулась ко мне, я сделаю все, что могу, чтобы продолжить и кончить мой труд».[414]

С этого дня «Святая Поэма», sacra poema, сделалась верной спутницей его на всех путях изгнания.

В явно подложном «письме брата Илария» о встрече с Данте в горной обители Санта-Кроче дэль Корво есть одно подлинное свидетельство: рукопись «Комедии» всегда была при нем, в его дорожной суме.[415] Всякий лихой человек (а таких было тогда, на больших дорогах, множество) мог его убить и ограбить безнаказанно, по приговору Флорентийской Коммуны; а сделав это, мог, в досаде, что ничем не удалось поживиться от нищего, — развеять по ветру или втоптать в грязь найденные листки «Комедии». Думая об этом, Данте испытывал, вероятно, то же, что тогда, когда слуги оскорбленного вельможи «ослиной породы» били его, на улице, палками. Но, может быть, он чувствовал, что такой позор человеческий нужен ему, чтобы поэма его, «Комедия» (он сам дал ей это имя) могла сделаться «Божественной», как назовут ее люди.

Муки изгнания и нищеты были нужны ему, чтобы узнать не только грешную слабость свою, в настоящем, но и святую силу, в будущем; или хотя бы сделать первый шаг к этой новой святости, неведомой св. Франциску Ассизскому и никому из святых.

Когда говорил Данте бог Любви:

> Наш род — от вечного гранита,
> Noi, che semo dell'eterna rocca, —

и когда благословлял он изгнание свое, — он знал, что «ему позавидуют некогда лучшие люди в мире».

> О если б я был им!
> С такою силой духа,
> Как у него, — за горькое изгнанье,
> За все его бесчисленные муки,
> Я отдал бы счастливейший удел!

скажет великий о величайшем, Микель Анжело — о Данте.[416]

Вот почему тебя я надо всеми
Короною и митрою венчаю, —

скажет Виргинии, на вершине «святой горы Очищения»: Данте будет увенчан короною, выше всех царей, и митрою — выше всех пап — это он знал наверное. Вот каким сокровищем владел он, в нищете, и какою славою — в позоре.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное. (Мт. 5, 10).

Всех изгнанных за правду, бездомных и нищих скитальцев, всех презренных людьми и отверженных, всех настоящего Града не имеющих и грядущего Града ищущих вечный покровитель — Данте-Изгнанник.

XV. ДАНТЕ И КЕСАРЬ

В 1308 году избран был в императоры Священной Римской Империи, под именем Генриха VII, маленький германский владетельный граф, Генрих Люксембургский. В следующем году послы его, прибыв в Авиньон, ко двору папы Климента V, возвестили ему, что государь их желает принять корону Кесаря из рук Его Святейшества, в Риме. Папа согласился на это и объявил нового императора в торжественной энциклике Exultat in gloria[417] избранником Божиим, посланным для того, чтобы установить мир всего мира.[418]

«Генрих был человек великого сердца… мудрый, благочестивый… и праведный; был доблестный воин», — вспоминает летописец, Дж. Виллани,[419] — «Богу Всемогущему угодно было пришествие Генриха в Италию для того, чтобы совершилась в ней казнь всех тиранов… и чтобы самовластие их было навсегда уничтожено», — вспоминает и другой летописец, Дино Кампаньи.[420] Вот почему, по свидетельству Виллани, «не только западные, но и восточные христиане, и даже неверные следили за походом Генриха с таким вниманием, что можно сказать: не было в те дни события, равного этому».[421]

Мир, затаив дыхание, ждал от нового императора, «посланника Божия», торжества человеческой совести там, где она всегда бывает поругана больше всего — в делах государственных. «Скажет праведник: есть Бог, судящий на земле» (Пс. 57, 12), — на это надеялись от Генриха все лучшие люди; но, может быть, никто не надеялся так, как Данте.

> О, Господи, когда же, наконец,
> Увижу я Твое святое мщенье?[422]

На этот вопрос его как будто отвечал ему мститель Божий, император Генрих: «Сейчас увидишь».

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко… ибо видели очи мои спасение Твое (Лк. 2, 29–30), —

мог бы сказать Данте, вместе с другом своим, поэтом Чино да Пистойя.[423]

В эти дни Данте испытывал, может быть, чувство, подобное тому, какое испытает, выйдя из Ада, «чтоб вновь увидеть звезды».[424]

> Когда из мертвенного воздуха я вышел,

печалившего сердце мне и очи,
то усладил их, разлитой по небу
прозрачному до высшей сферы звезд,
нежнейший свет восточного сапфира.[425]

В 1311 году, в самом начале похода, пишет он такое же торжественное послание «ко всем государям земли», как двадцать лет назад, по смерти Беатриче. Но то было вестью великой скорби, а это — великой радости.

«Всем государям Италии… Данте Алагерий, флорентийский невинный изгнанник… Ныне солнце восходит над миром… Ныне все алчущие и жаждущие правды насытятся… Радуйся же, Италия несчастная… ибо жених твой грядет… Генрих, Божественный Август и Кесарь… Слезы твои осуши… близок твой избавитель».[426]

Может быть казалось Данте, что в эти дни готово исполниться услышанное им в видении пророчество бога Любви тем трем Прекрасным Дамам, таким же, как он, нищим и презренным людьми, вечным изгнанницам:

Любовь сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь: вот оружье наше…
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»

Слишком настрадавшиеся люди легко обманываются ложными надеждами: так обманулся и Данте надеждой на Генриха; принял мечту за действительность, облака — за горы, марево воды — за настоящую воду.

Генрих и Данте близки друг другу хотя и очень глубокою, но не последнею близостью. Та же у обоих «прямота», drittura, по слову Данте, — как бы одна, идущая от души человеческой к миру и к Богу, геометрически прямая линия правды, противоположная всем кривым линиям лжи. Оба — «люди доброй воли», — те, о ком Ангелы пели над колыбелью Спасителя:

Мир на земле, в людях доброй воли.
Pax in hominibus bonae voluntatis.

Оба — высокие жертвы человеческой низости. Главная же близость их, может быть, в том, что оба — люди не своего времени. Но здесь начинается и то, что их разделяет: Данте —

человек далекого будущего, а Генрих — близкого прошлого; тот родился на тридцать-сорок веков раньше, а этот — на три-четрые века позже, чем следует. Римская Священная Империя Генриха отделена от Монархии Данте тем же, чем прошлое отделено от будущего, и непохороненный покойник — от нерожденного младенца.

Генрих, «человек великого сердца», почти святой, отдает жизнь свою за обреченное дело, потому что, после Фридриха II Барбароссы, самая идея Священной Римской Империи почти погасла в умах. В 1264 году, за год до рождения Данте, когда «белокурый красавец» Манфред Гогенштауфен пал в бою под Беневентом, сражаясь с королем Карлом Анжуйским, — Священная Римская Империя кончилась.[427] Мир шел, может быть, роковым для него и пагубным, но исторически неизбежным, путем, от всемирного бытия к народному, или, как мы говорим, «национальному», — от насильственного единства к свободному множеству и разделению народов.

Если Генрих — еще не Дон Кихот, то уже один из последних рыцарей и первых романтиков. Вечный спутник их, демон отвлеченности, искажает все его дела, или поражает их бесплодием. С лучшими намерениями делает он зло: желая восстановить порядок в занятых им областях Италии, только увеличивает хаос; сеет мир и пожинает войну.

Осенью 1310 года, спустившись с Альп в Ломбардию, с маленьким пятитысячным войском, новый император, в победоносном шествии, идет из города в город, «всюду устанавливая мир, как Ангел Божий», — вспоминает Дино Кампаньи.[428] — В день Богоявления, 6 января 1311 года, Генрих венчается в Милане железной короной ломбардских королей.

Данте видел Генриха, вероятно, в январе 1311 года, в Милане, вскоре после венчания. Царственного не было ничего в наружности этого сорокалетнего человека, небольшого роста, с голым черепом, с тихим, простым и печальным лицом. Легкая косина одного глаза придавала ему иногда, как это часто бывает при косине, выражение беспокойное и тягостное, почти зловещее; точно искажавший все дела его, насмешливый «демон отвлеченности» исказил и лицо его: «прямое сердце — косое око».[429]

Данте, по обычаю всех допущенных пред лицом императора, стоя на коленях и низко опустив лицо к ступеням трона, обнял и поцеловал ноги «Святейшего Августа». Дважды целовал он ноги человеку: в первый раз тому, кого больше всех ненавидел, — папе Бонифацию VIII; во второй — тому, кого, после Беатриче, больше всех любил, — императору Генриху; двум носителям высших

властей, небесной и земной.

Кажется, в письме Данте к императору, писанном в том же году, месяца через два, есть намек на то, что он чувствовал при этом целовании: «Видел я и слышал тебя, Всемилостивейший… и обнимал ноги твои и уста мои исполнили свой долг. И возрадовался дух мой, и сказал я себе: „Вот Агнец Божий, взявший на себя грех мира“».[430]

Лестью и кощунством могли бы казаться эти слова в устах всякого человека, кроме Данте, потому что никто не способен был меньше, чем он, к лести и кощунству. Что же они значат? Кажется, он хочет и не может выразить в них то, что тогда почувствовал в Генрихе, увидев, как бы в мгновенном прозрении, всю его грядущую судьбу — не золотым венцом венчаться в победе, а терновым — в страдании; быть обреченной на заклание жертвой — одним из многих агнцев Божиих, идущих за Единственным. И это увидев, он полюбил его еще больше, потому что в его судьбе узнал свою.

Данте узнал Генриха, но тот не узнал его, самого близкого и нужного ему человека, единственного в мире, который понял его и полюбил.

Слишком чист был сердцем Генрих для такого нечистого дела, как политика. В самом начале похода делает он роковую ошибку. Множество изгнанников, большей частью Гибеллинов, приверженцев императорской власти, изгнанных ее врагами. Гвельфами, и собравшихся из всех городов Верхней Италии, ищет в нем опоры и защиты, но не находит: он объявляет торжественно, что не хочет знать ни Гибеллинов, ни Гвельфов, потому что пришел в Италию не для вражды, а для мира. Но этого не поняли ни те, ни другие. Вместо того чтоб их примирить, он только ожесточил их друг против друга и восстановил против себя; Гвельфы считают его Гибеллином, а Гибеллины — Гвельфом. Стоя между двух огней, он топчет их оба, но не гасит; старую болезнь итальянских междуусобий загоняет внутрь, но не лечит; делается пастухом волчьего стада, не предвидя, что волки съедят пастуха.

После первой ошибки делает вторую, большую: насильственно возвращает Гибеллинов-изгнанников в те города, откуда они были изгнаны. Но, только что вернувшись на родину и чувствуя себя победителями, мстят они врагам своим, Гвельфам, так же беспощадно изгоняя их, как сами были ими некогда изгнаны.[431] И тотчас же по всей Верхней Италии вспыхивают бунты против императора. Две сильнейших крепости, Кремона и Брешия, запирают перед ним ворота. В медленных осадах проходят месяцы, и Генрих, в этой истощающей и бесславной

Ломбардской войне, увязает, как в болоте.[432] А между тем злейший и опаснейший враг его, Флоренция, вооружается, приобретает союзников и подкупами, не жалея денег, разжигает все новые бунты.

В эти дни Данте прибыл в Тоскану, к источникам Арно, может быть, для того, чтобы ближе быть к Флоренции, куда надеялся, со дня на день, вернуться. Видя опасность, грозящую Генриху, он остерегает его письмом. Смысл этого темнейшего, писанного на плохом латинском языке и школьною ученостью загроможденного послания таков: «Что ты медлишь в Ломбардии? Или не знаешь, что корень зла не там, а здесь, в Тоскане? Имя его — Флоренция. Вот ехидна, пожирающая внутренности матери своей, Италии. Только раздавив ее, победишь, — спасешь себя и нас».[433]

Это послание написано 16 апреля 1311 года, а за две недели до него, 31 марта, — другое: «Данте Алагерий, флорентиец, изгнанный невинно, — флорентийцам негоднейшим, живущим на родине… Как же вы, преступая все законы Божеские и человеческие, не страшитесь вечной погибели?.. Или вы еще надеетесь на жалкие стены ваши и рвы?.. Но к чему они послужат вам… когда налетит на вас ужасный… все моря и земли облетающий, Орел?.. Город ваш будет опустошен мечом и огнем… ваши невинные дети искупят грех отцов своих… И если не обманывает меня подтверждаемое многими знаками предвидение, то, после того как большинство из вас падет от меча… немногие, оставшиеся в живых, изгнанники… увидят отечество свое, преданное в руки чужеземцев».[434]

«Рога нашего ни перед кем не опустим», — этими гордыми словами могла бы ответить Флоренция самому гордому из сынов своих, Данте, так же, как отвечала всем своим тогдашним врагам.[435] Главную силу в поединке с Генрихом дает ей то, что против старого, уже никому не нужного и никого не чарующего знамени всемирности подымает она нужное и всех чарующее знамя отечества. «Помните, братья, что Германец (Генрих) хочет нас погубить, — пишут флорентийцы в воззвании к своим ломбардским союзникам, восставшим на императора. — Помните, какое чуждое нам по языку и крови, ненавистное племя ведет он с собой на Италию, и каково нам будет жить под игом этих варваров! Укрепите же сердца ваши и руки на защиту самого дорогого, что есть у нас в мире, — свободы!»[436]

Вот в чем сила Флоренции — в восстании против чужеземного ига за свободу отечества. Люди слышат: «Римская Священная Империя», — и сердца их остаются холодными; слышат: «Отечество», — и сердца их горят. «Долой чужеземцев!

Fuori lo straniero!» — этот клич, которому суждено было сделаться голосом веков и народов — началом всемирной войны, — впервые прозвучал тогда, в Милане. Понял ли Данте страшный смысл его и если понял, то повторил ли бы его, даже ради спасения отечества?

Близкое прошлое — за Генрихом, далекое будущее — за Данте, а ближайшее настоящее — за Флоренцией. Те оба реют где-то в облаках, а эта твердо стоит на земле; у тех — мечта, а у этой — действительность. И сколько веков пройдет, прежде чем люди поймут, что Данте был все-таки прав, и что воля его ко всемирности выше, чем воля врагов его к отечеству! Сила настоящего, в борьбе с бывшим и будущим, так велика, что в те дни, когда шла борьба, сам Данте мог усомниться в своей правоте.

Вот что скажет, через двести лет, о тех самых «флорентийцах негоднейших», sceleratissimi, которых Данте так презирал, почти такой же среди них одинокий, так же ими непонятый и презренный, как он, великий флорентиец, Макиавелли: «Кажется, ни в чем не видно столь ясно величие нашего города, как в тех междуусобиях, divisione (cittá partita, по горькому слову Данте), которые могли бы разрушить всякий другой великий и могущественный город, но в которых величие нашего — только росло. Сила духа и доблесть, и любовь к отечеству были у граждан его таковы, что и малое число их, уцелевшее в тех междуусобиях, сделало больше для его величия, чем все его постигшие бедствия могли сделать для его погибели».[437]

Если в малой тяжбе Данте с Флоренцией прав не он, а Макиавелли, то, в великой тяжбе прошлого с будущим, кто из них прав, — этого, и через семь веков после Данте, никто еще не знает.

Вылезши наконец не без больших потерь из болота Ломбардской войны, Генрих все же идет не на Флоренцию, куда зовет его Данте, а в Рим, где, по вековому преданию, должно было венчаться императору Священной Римской Империи. 7 мая 1312 года вступает он в Рим, занятый войсками второго, после Флоренции, злейшего врага своего, Роберта Анжуйского, короля Неаполя.

Кровью залили уличные бои развалины Вечного Города, Базилика св. Петра, где надо было венчаться Генриху, занята была, так же как весь Ватикан, войсками Роберта. Папы не было в Риме. В жалком и постыдном Авиньонском плену у французов сам француз, «гасконец», il guasco, как назовет его презрительно Данте, все еще мечтает он о земном владычестве пап и, боясь за его последний клочок. Римскую область, — как бы не отнял ее

император, — подло и глупо изменяет им же только что заманенному в Италию Генриху; делает с ним то же, что разбойник — с заманенной жертвой: режет его в западне; войско Роберта в папских руках, — разбойничий нож.

Кардиналы отказываются, конечно не без ведома папы, венчать Генриха, под тем предлогом, что сделать этого нельзя нигде, кроме базилики Петра. Но римский народ, верный до конца императору (все простые люди из народа, такие же «прямые» сердцем, как он сам, будут верны ему до конца), почти насильно принуждает кардиналов к венчанию. Папский легат, тоже изменник, тайный друг и пособник Роберта, венчает Генриха в Латеранском Соборе, 29 июня, в день Петра и Павла.[438] Нехотя и не там, где надо, изменниками, слугами папы-изменника, венчан, как бы накриво, накосо, Генрих Косой: так посмеялся над ним и этот вечный спутник его, насмешливый демон.

Уличные бои возобновились после венчания с новою силою. Чтобы избавить от них несчастный город, Генрих вышел из него и только теперь наконец двинулся туда, где был «корень зла» и куда звал его Данте, — на Флоренцию. 19 сентября подошел он к самым воротам ее, так что осажденные ждали, с часу на час, что он войдет в город, и думали, что пришел их конец. Множество флорентийских изгнанников, тоже с часу на час ожидавших возвращения на родину, сбежалось к императору. Но среди них не было Данте.[439] «К родине своей питал он такую сыновнюю любовь, что, когда император, выступив против Флоренции, расположился лагерем у самых ворот ее, Данте не захотел быть там… хотя и сам убеждал Генриха начать эту войну», — вспоминает Леонардо Бруни.[440] Кару Божию звал Данте на преступную Флоренцию, а когда уже готова была обрушиться кара, не захотел ее видеть: духу у него не хватало радоваться бедствиям родины. Это значит: явно ненавидел и проклинал ее, а тайно любил; было в душе его «разделение» и в этом, как во многом другом.

Только случай спас Флоренцию: вдруг подоспевшая, из Романьи, Тосканы и Умбрии, помощь союзников принудила Генриха отступить и начать правильную, надолго затянувшуюся осаду города. Когда же наступила зима, то смертность от холода, голода и повальных болезней увеличилась в императорском войске так, что Генрих вынужден был, сняв осаду, 6 января уйти на зимние квартиры в соседнее с Флоренцией местечко, Поджибонси (Poggibonsi).[441]

Следующий, 1213 год, был для императора тягчайшим из трех тяжких годов Итальянского похода. Теперь уже все могли видеть в Генрихе то, что первый увидел в нем Данте, —

обреченную на заклание жертву.

Если мера человека узнается лучше всего в страданиях, то прав Данте, не называя Генриха иначе как «духом высокий Arrigo», l'alto Arrigo. Душу свою он отдаст за чужой несчастный народ, который поступит с ним так же, как злое и глупое дитя, «если бы, умирая от голода, оно оттолкнуло кормилицу».[442]

Всеми покинутый, в чужой полувражеской стране, где самый воздух напоен предательством, как воздух Мареммы — болотной лихорадкой, Генрих видит, как войско его с каждым днем уменьшается, тает, от постоянных, тоже предательских засад и нападений полувоенных, полуразбойничьих шаек, бывших для этого доблестного, но изнеможенного войска тем же, что ядовитые жала бесчисленных мух — для издыхающего льва. Гнусно изменяют Генриху все, но гнуснее всех — папа, — сначала тайно, а потом и явно, когда императора Священной Римской Империи, им же провозглашенного, в недавней энциклике, «посланником Божиим», — вдруг испугавшись в нем соперника земному владычеству пап и как бы сойдя с ума от этого страха, — он отлучает от Церкви. Видеть, как пастырь Христов сделался волком, всем верующим было страшно, но страшнее всех Генриху, потому что он больше всех верил ему и на него надеялся.[443]

Ко всем этим испытаниям внешним присоединилось и внутреннее — потеря нежно любимой жены и брата: оба умерли, все в том же несчастном походе, так что скорбь его растравлялась терзающим сомненьем: имел ли он право жертвовать чужому, неблагодарному народу не только собой, но и теми, кого больше всего на свете любил?[444] Мука этого сомненья, может быть, облегчалась для него только тем, что смерть и ему самому уже смотрела в глаза: медленный, но жестокий и неисцелимый недуг подтачивал силы его, как медленный яд. Бывали дни, когда изможденное, прозрачно-бледное, точно восковое лицо его напоминало лицо покойника.

Но чем тяжелее был крест, тем он мужественнее нес его; духом не падал, а возвышался и креп. «Мы родились от вечного гранита», — мог бы сказать и он, как Данте.

В эти именно тягчайшие дни главный внутренний враг Генриха, «демон отвлеченности», отступил от него, побежденный. Прежде ходил он. как бы на аршин от земли, точно реял по воздуху, а теперь твердо пошел по земле; деятелем стал созерцатель, — искусным полководцем и мудрым политиком. С папой порвав окончательно и презрев отлучение от Церкви, заключил он союз с королем Сицилии, Фридрихом Аррагонским и с Генуей; убедил и германских князей двинуть на помощь к нему огромное войско.

Новый поход, тщательно подготовленный за зиму, должен был охватить Италию с двух концов, с юга и севера, морскими и сухопутными силами. «Люди, опытные в военном деле, — вспоминает Дж. Виллани, — не сомневались… что государь такого великого духа и таких отважных замыслов мог легко победить короля Роберта и, победив его, овладеть всей Италией и многими другими странами».[445] Это значит: мог восстановить бывшую или основать будущую Всемирную Монархию, о которой мечтал и Данте.

Снова, как тогда, при первом явлении Генриха, «посланника Божия», мир, затаив дыхание, ждал великих событий, которым суждено было, казалось, изменить лицо мира. Но произошло то, чего никто не ждал: 4 августа 1313 года император выступил в поход из Пизы, а через двадцать дней, недалеко от Сиены в монастыре Буонконвенто, причастившись Св. Тайн у духовника своего, доминиканского инока, Бернардо Монтепульчиано, тяжело заболел и так внезапно умер, что прошел слух, что он отравлен был ядом в Причастии[446] и что это злодейство совершено если не по воле, то не без ведома, а может быть, и тайного согласия папы: видя, что отлучение от Церкви не помогло, решил он будто бы прибегнуть к этому, более действительному, средству — яду. Если так, то Римский Первосвященник мог бы сказать над гробом Римского Императора: «Я тебя родил — я тебя и убил!»

Верен ли этот слух или ложен, — страшно уже и то, что люди могли ему поверить с такою легкостью: видно по ней, какое зло тогда царило в миру и в Церкви.

В скорой смерти папы (года не прошло, как умер он, все в том же постыдном и жалком Авиньонском плену) увидели все Божью кару и могли поверить тому, что предрек о нем Данте: папа на папу, Климент Гасконец на Бонифация Ананьевца, второй маленький Антихрист на первого низвергнется в раскаленный колодезь Духопродавца Симона Волхва, — и тяжестью своею «глубже вдавит Ананьевца в ту огненную щель».[447]

А Генрих воссядет на великий престол, в высшем Огненном Небе, Эмпире, там, где цветет, пред лицом Несказанного Света, «Белая Роза» вечной весны.[448]

В жизни Данте смерть Беатриче и смерть Генриха — два равно, хотя и по-разному, сокрушающих удара. Мало говорит он о первой, а о второй не говорит ничего, может быть, потому что люди говорят и плачут в великом горе, а в величайшем — молчат без слез.

> Не плакал я — окаменело сердце.[449]

Слезы, до глаз не доходя, сохли на сердце, как на раскаленном камне.

Что почувствовал Данте, узнав о смерти Генриха? Может быть, то, что чувствует человек, упавший в пропасть, в ту минуту, когда тело его разбивается о камни; в теле у него все кости сломаны, а в душе у Данте все надежды разбиты, и главная из них — возвращение на родину.

Вспомнил ли он послание свое «к флорентийцам негоднейшим», в котором предрекал им ужасную казнь, и письмо к императору, в котором убеждал его раздавить «ядовитую гадину», Флоренцию? Если вспомнил, то, может быть, шевельнулось в сердце его, умом незаглушимое, сомнение: не предал ли он отечество для невозможной мечты о всемирности? И, может быть, приснился ему страшный сон наяву: будто проваливается он, падает в последний круг Ада, в «Иудину пропасть», Джиудекку, где в вечных льдах леденеют предатели.

XVI. В ВЕЧНЫХ ЛЬДАХ

«После кончины императора Генриха… Данте, потеряв всякую надежду вернуться в отечество, провел последние годы жизни в большой бедности, скитаясь в различных областях Ломбардии, Тосканы и Романьи и находясь под покровительством различных государей», — глухо и кратко вспоминает Леонардо Бруни.[450] Но в этой глухоте и краткости — какая длина черных-черных дней, месяцев, годов! Снова скитается, нищий, «выпрашивая хлеб свой по крохам»; снова «ест пепел, как хлеб, и питье свое растворяет слезами» (Не. 101, 10). Но, может быть, больше всех мук изгнания, — нищеты, унижения, презрения людей, одиночества, — мука бездействия.

«Кто не заботится об общем деле… подобен не дереву, посаженному при потоках вод, приносящему плод свой во время свое, а поглощающей все и ничего не возвращающей бездне. Часто думая об этом, для того чтобы не обвинили меня когда-нибудь в том, что я зарыл талант свой в землю, я хочу принести на пользу общему благу не только весенние почки, но и плоды, — показать людям никогда еще никем не испытанные истины, intemptatas ab aliis estendere veritates».[451] Этого Данте не сделал или сделал не так и не в той мере, как хотел и мог бы сделать, если бы не помешало ему что-то в людях или в нем самом. В этом «или», может быть, главная мука его — сомнение: не зарыл ли он талант свой в землю? не был ли той бесплодной смоковницей, которую проклял Господь, не найдя на ней ничего, кроме листьев: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек»? Что если все его «созерцание» — только листья, а «действие» — не найденный Господом плод?

Лучше, чем кто-либо, знал он, как сильно человеческое слово для будущего, сомнительного действия, и как оно бессильно для настоящего, близкого, несомненного. Несколько бесполезных писем к сильным мира сего — самым глухим, слепым и равнодушным людям в мире, глас вопиющего в пустыне, — не это ли все его «действие»? Если рыцарская надпись на щите его и боевой клич: «не для созерцания, а для действия», то не потерян ли им щит, и не проигран ли бой? Очень вероятно, что в этой муке бездействия он чувствовал себя иногда одним из тех «малодушных», ignavi, не сделавших выбора между злом и добром, Богом и дьяволом, «никогда не живших», которых он больше всего презирал.[452] Очень вероятно, что бывали у него такие минуты, когда он мог бы сказать:

я сравнялся с нисходящими в могилу… между мертвыми

брошенный, — как убитые, лежащие в гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь. Господи, и которые от руки Твоей отринуты (Пс. 87, 5–6), —

как мученики последнего адова круга, леденеющие в вечных льдах.

Кажется, в 1314 году, Данте ищет покровительства у бывшего главы пизанских Гибеллинов, Угучьоне дэлла Фаджиола (Uguccione della Faggiuola). Это был человек такого исполинского роста и такой непомерной силы, что оружейные мастера ковали ему оружие, которого поднять, и латы, которых надеть не мог бы никто, кроме него. Но этот с виду грубый, дикий, почти страшный исполин имел сердце доброе, детски-простое и одаренное тем, что Данте ценил в людях больше всего, — «прямотою», dirittura.[453] Хитрых и ловких пройдох, «прирожденных торгашей и менял», «флорентийцев негоднейших», этот великодушный рыцарь ненавидел так же, как Данте. Воин великой отваги и искусный полководец, продолжая дело императора Генриха, возобновил он войну с Флоренцией и, 29 августа 1315 года, в бою под Монтекатино разбил наголову тосканских Гвельфов, главных союзников и защитников Флоренции.[454] Так же, как два года назад, казалось и теперь, что дни ее сочтены; так же, как тогда, — император Генрих стоял в ее воротах теперь Угучьоне, может быть, мститель за Генриха; так же готов был и этот, как тот, по слову Данте, «раздавить ту ехидну, пожирающую внутренности матери своей, Италии, чье имя — Флоренция».

Видя грозную опасность и, может быть, надеясь поселить во вражьем стане раздор. Флорентийская Синьория решила помиловать наименее виновных изгнанников, позволив им вернуться на родину, под двумя условиями, — одним, легким, — пенею в сто золотых малых флориновых, а другим, тяжелым, — участием в покаянном шествии, общем для всех милуемых преступников, в том числе и обыкновенных воров, убийц и разбойников: все они должны были идти в церковь Иоанна Крестителя, босоногие, с зажженными свечами в руках и в тех позорных колпаках, в каких сжигали еретиков, колдунов и прочих богоотступников.[455] Многие подчинились этим условиям и вернулись на родину; но не подчинился Данте.

Кажется, вскоре после Монтекатинского боя, получив сначала письмо от племянника, может быть Николо Донати, а потом еще несколько писем от флорентийских друзей, с предложением выхлопотать и ему помилование, он ответил им одним общим отказом.[456]

… «Пишете вы мне, что если бы я, согласно объявленному ныне во Флоренции закону о возвращении изгнанников, уплатил

назначенную пеню, то мог бы, получив прощение, вернуться на родину… Смеха достойное предложение!.. Так ли должно вернуться в отечество свое, после почти пятнадцатилетнего изгнания, Данте Алагерию? Этого ли заслужила невинность его, явная всем, и труд бесконечный в поте лица? Нет, да не унизится так муж, знающий, что такое мудрость… да не примет он милости от обидчиков своих, как от благодетелей… Если только таким путем могу я вернуться во Флоренцию, то я никогда в нее не вернусь. И пусть! Не всюду ли я буду видеть солнце и звезды? Не под всеми ли небесами буду созерцать сладчайшие истины, не предавая себя позору пред лицом флорентийских граждан? Да и хлеба кусок я найду везде».[457]

Дрогнула бы, может быть, рука у Данте, когда писал он сам себе этот приговор вечного изгнания: «Я никогда не вернусь во Флоренцию, nunquam Florentiam introibo», — если бы он меньше надеялся на то, что после Монтекатинской победы вернется на родину не кающимся грешником, а торжествующим мстителем. Но и этой второй надежде, так же, как той, первой, — на Итальянский поход Генриха, — не суждено было исполниться. Точно какой-то насмешливый рок давал ему надежду, подносил чашу студеной воды к жаждущим устам, как в муке Тантала, и тотчас отнимал ее, так, чтобы мука жажды росла бесконечно.

В пропасти кидается Агасфер — ищет смерти, но не находит: сломанные в падении кости срастаются, и он продолжает свой бесконечный путь. В пропасти не кидается, а падает Данте, в постоянных и внезапных переходах от надежды к отчаянию, двух миров, того и этого, вечный странник; тот мир для него все действительней, этот — все призрачней; все легче падения, но мучительнее в костях, ломаемых и срастающихся, боль усталости.

Очень хорошим полководцем был Угучьоне, но плохим политиком: лучше умел брать, чем удерживать взятое. Пиза и Лукка, две главные твердыни военной силы его, в марте 1316 года, возмутились против него. Буйною чернью, в Пизе, в его отсутствие, разграблен и сожжен был дворец его, казнены все его приближенные, и ему самому объявлен заглазный приговор изгнания.[458] В несколько дней пало все его величье. Дымом рассеялась слава Монтекатинской победы, он оказался военачальником без войска и таким же изгнанником, как Данте. Снова Флоренция была спасена.

Месяцев пять назад, 6 ноября 1315 года, объявлен был Флорентийской Коммуной, как бы в ответ на гордое письмо Данте, третий над ним приговор. Первый осуждал его на вечное изгнание, второй — на сожжение, а третий — на обезглавление.[459] Так истребляла родина-мать сына своего, Данте, огнем и

железом. Смертный приговор произнесен был и над двумя старшими сыновьями его, Пьетро и Джьякопо; оба они объявлены «вне закона».[460]

В 1316 году Данте бежал, кажется, из Лукки, вместе с Угучьоне, а может быть, и с обоими бежавшими из Флоренции сыновьями в Верону, туда же, где лет пятнадцать назад, в самом начале изгнания, он уже искал и не нашел убежища.

Юный герцог Веронский, наместник Священной Римской Империи в Ломбардии, вождь тамошних гибеллинов, Кан Гранде дэлла Скала, принял Данте милостиво, как принимал всех изгнанников. Столь же искусный полководец, как Угучьоне, но лучший политик, чем он; рыцарски-великодушный и очаровательно-любезный, по внешности, но внутренне холодный и хуже чем жестокий, — бесчувственный к людям (все они были для него только пешками в военно-политической игре); первое явление той необходимой будто бы в великом государе «помеси льва с лисицей», — лютости с хитростью, чьим совершенным образцом будет для Макиавелли Цезарь Борджиа, — вот что такое Кан Гранде.

В людях Данте редко ошибался, но, кажется, в этом человеке ошибся: принял в новом покровителе своем за чистую монету свойство, в сильных мира сего опаснейшее для тех, кому они благодетельствуют, — тщеславие добра.

Великолепный герцог Вероны хотел удивить мир невиданною щедростью ко всем несчастным изгнанникам, — особенно же к людям высокого духа, таким, как Данте. Этого хотел он и это получил: множество легенд о нем, не менее восторженных, чем если бы дело шло об одном из великих мужей древности, ходило тогда по устам.

Ряд великолепных дворцовых покоев превращен был в богадельню для собиравшихся сюда со всех концов Италии неудачных политиков, полководцев, проповедников, художников, ученых и поэтов, но больше всего для шутов-прихлебателей. Каждый покой украшен был аллегорической живописью, соответствующей судьбе своего обитателя: триумфальное шествие для полководцев, земной рай для проповедников, бог Меркурий для художников, хор пляшущих Муз для поэтов, богиня Надежды для изгнанников, а на потолке самого большого покоя, где собирались все, в этой богадельне призираемые, — вертящееся колесо богини Фортуны.[461] Пользуясь услугой пышно одетой дворцовой челяди и каждый день пиршествуя то у себя, то, по особому выбору, у хозяина, что считалось великою честью, — жили в этих великолепных покоях несчастные, нищие, озлобленные люди, как Улиссовы спутники, превращенные в

свиней, в хлеву у Цирцеи, или пауки в банке. Ссорясь жестоко из-за милостей герцога, рвали они друг у друга куски изо рта. Были среди них и добрые и честные люди, но участь их была горше участи всех остальных, потому что они видели, что покровителю их умеют лучше всего угождать не они, а самые подлые, злые и распутные люди, — особенно шуты. Человек большого ума и такой же тонкий ценитель всего прекрасного, как Цезарь Борджиа, Кан Гранде забавлялся этими подлыми и злыми, но умными иногда и веселыми шутками, как слишком избалованное дитя забавляется грубо сделанными, нелепыми и чудовищными игрушками. А те, это зная и пользуясь этим, верховодили всем при дворе.

Некий Чекко Анжольери, один из презреннейших шутов-лизоблюдов, но не самый бездарный из придворных поэтов, в посвященном Данте сонете, сравнивая две горькие судьбы — его и свою, — находил в них много общего. И, может быть, наступил в жизни Данте тот страшный час, когда он вдруг понял, что этот шут по-своему прав: здесь, при дворе Кан Гранде, многие смешивали, не только по созвучью имен, Чекко Анджольери и Данте Алигьери.

Жди от него себе благодеяний, — [462]

этому пророчеству Качьягвидо, прапрадеда, о герцоге Веронском не суждено было исполниться над праправнуком Данте. Сколько раз, должно быть, хотелось ему выкинуть из Святой Поэмы этот грешный стих, как выкидывают сор из алтаря. И то, что он этого не сделал, боясь, может быть, что его самого выкинут, как сор, из последнего убежища, дает, кажется, точную меру униженья, которому он подвергал себя при дворе Кане Гранде, вольно или невольно: в этом «или» опять главная мука его — сомнение в себе.

«Великолепному и победоносному Государю, Кан Гранде дэлла Скала, Святейшего Кесаря Императора, в городе Вероне… главному наместнику, преданнейший слуга его, Данте Алагерий, флорентиец по крови, но не по нравам, долгого благоденствия и вечно растущей славы желает. — Вашему великолепию всюду неусыпно-летающей славой разносимая хвала столь различно на людей различных действует, что приносит надежду спасения одним, а других повергает в ужас погибели. Я же, сравнивая хвалу сию с делами людей нашего века, почитал ее чрезмерною. Но, дабы не длить о том неизвестности и увидеть своими глазами то, о чем слышал молву, поспешил в Верону, как древле Царица Южная — в Иерусалим, и богиня Паллада — на Геликон. Здесь,

увидев щедроты ваши… и на себе самом их испытав, понял я, что молва о них не только не чрезмерна, но и недостаточна. И если, уже по ней одной, душа моя влеклась к вам невольно, покорствуя, то, после того, что я увидел, сделался я вашим преданнейшим слугой и другом. В гордости быть обвиненным, называя себя вашим другом, я не боюсь… потому что не только равных могут соединять святые узы дружбы, но и неравных… ведь другом и самого Бога может быть человек. Всех сокровищ мира дороже для меня ваша дружба, и я хочу сделать все, чтоб ее сохранить… А так как, по учению нравственному, дружба лучше всего сохраняется равенством добрых дел, то мое горячее желание — отблагодарить вас, хоть чем-нибудь, за все сделанное мне добро. Часто и долго искал я в том скудном и малом, что есть у меня, чего-либо вам приятного и достойного вас, и ничего не нашел более соответственного вашему высокому духу, чем та высшая часть „Комедии“, которая озаглавлена „Рай“. Ныне, с этим письмом, я и приношу ее вам, как малый дар, и посвящаю…»

Следует длинное, сложное и трудное, схоластическою ученостью загроможденное истолкование нескольких аллегорических смыслов «Комедии». Если Кан Гранде прочел это истолкование, или, что вероятнее, только заглянул в него одним глазом, то может быть, убедился в том, что уже давно подозревал, — что Данте — человек умный, но скучный, один из тех ученых старых колпаков, с которыми нечего делать. Но с большим вниманием прочел он, должно быть, конец письма: «общий смысл второй части вступления (в „Рай“) таков; говорить же об этом подробнее не буду сейчас, потому что крайняя нужда в самом необходимом угнетает меня до того, что я иногда принужден покидать это и другие, для государства полезные, дела. Но надеюсь на великолепную щедрость вашу, Государь, дабы иметь возможность продолжать Комедию».[463]

Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала…

Кажется, видишь, читая письмо, эту трепетно протянутую руку.

Чувствовать, что висишь на волоске над пропастью, и знать, что порвется ли волосок или выдержит, зависит от того, с какой ноги встанет поутру благодетель, с левой или с правой, и соглашаться на это, — какая низость и какая усталость! Хочется иногда, чтобы порвался наконец волосок и дал упасть в пропасть, — только бы полежать, отдохнуть, хотя бы и со сломанными костями, там, на дне пропасти.

Много сохранилось легенд о пребывании Данте при дворе дэлла Скала. Что происходило с ним, — забыто в них или грубо искажено, но, может быть, уцелело смутное воспоминание о том, что происходило в нем самом, — о постигшем его, в гнусной богадельне Великолепного Герцога, бесконечном стыде и поругании. Вот одна из этих легенд.

«Когда приглашен был Данте однажды, вместе со многими другими знатными гостями, к столу мессера Кане… тот потихоньку велел придворному мальчику-слуге, спрятавшись под стол, собрать все обглоданные кости с тарелок в одну кучу, у ног Данте. А когда, сделав это, мальчик ушел, мессер Кане велел убрать столы и, взглянув с притворным удивлением на кучу костей, воскликнул: — Вот какой наш Данте, мясов пожиратель!

— Стольких костей вы не увидели бы тут, синьор, будь я Псом Большим! — ответил Данте, не задумавшись.

Cane grande — значит „Пес Большой“.

И восхищенный будто бы таким быстрым и острым ответом, мессер Кане, великодушный покровитель Муз, милостиво обнял и поцеловал поэта».[464]

Что, в самом деле, мог бы он сделать, кроме одного из двух: или, против него, обнять, или выгнать за то, что он кусает дающую руку? Если же предпочел обнять, то, может быть, потому, что не был еще достаточно похож на Борджиа, чтобы, презирая суд потомства, не страшиться Дантова, жгущего лбы, каленого железа. Но, должно быть, обнял так, что лучше бы выгнал.

Все это, конечно, мало вероятно, как внешнее событие, и похоже на легенду; но и одна возможность таких легенд имеет цену исторического свидетельства, по которому видно, что чего-то не знает и в чем-то ошибается Боккачио, уверяя, будто бы «у мессера Кане Данте был в таком почете, как никто другой».[465]

Но, кажется, больше, чем легенда, — полуистория — то, что сообщает Петрарка, видевший, в детстве, своими глазами Данте и кое-что, вероятно, слышавший о нем от отца своего, Дантова современника.

«Находясь при дворе Кане Гранде, Данте был сперва в большом почете, но затем, постепенно теряя милость его, начал, день ото дня, все меньше быть ему угодным. Были же при том дворе, как водится, всевозможные шуты и скоморохи, и один из них, бесстыднейший, заслужил непристойными словами и выходками великое уважение и милость у всех. Видя однажды, что Данте очень от этого страдает, Кане подозвал к себе того шута и, осыпав его похвалами, сказал поэту:

— Я не могу надивиться тому, что этот человек, хотя и дурак, умел нам всем понравиться… а ты, мудрец, этого сделать не мог!

— Если бы ты знал, что сходство нравов и сродство душ есть основание дружбы, ты этому не удивлялся бы! — ответил Данте». [466]

Это значит: «Ты — такой же шут, как он!» Данте едва ли мог бы так ответить, если не желал испытать на себе, крепки ли замки и глубоки ли подвалы веронских темниц. Но после одной из непристойных шуток своего благодетеля, ставивших его на равную ногу с шутами, мог дать ему почувствовать «режущую силу слов своих»,[467] в достаточной мере, чтобы тот не заточил его в темницу и даже не выгнал, а сделал то, что в таких случаях делают сильные мира сего, — тихо отнял от него дающую руку, тихо оставил его — уронил, как роняют ненужную вещь. И наступила, вероятно, такая минута, когда почувствовал Данте, что лучше ему умереть как собаке на большой дороге, от холода и голода, чем быть сытым и греться в великолепной богадельне Кане Гранде.

Как провел Данте последнюю ночь, в палате поэтов с хором пляшущих Муз или в палате изгнанников с аллегорической богиней надежды? Может быть, укладывал в тюки кое-какую нищенскую рухлядь с драгоценными книгами и рукописями, чтобы рано поутру навьючить их, под насмешливыми взглядами придворной челяди, на хромую клячу или ободранного мула, которого, узнав о постигшей его немилости, едва соблаговолит выдать ему из дворовой конюшни вельможного вида холоп.

Очень устав от укладки и вспомнив, как прежде легко делал эту работу, может быть, почувствовал себя вдруг таким стариком, как еще никогда.[468] В редкие счастливые минуты, особенно в те, когда, весь погруженный в сладостный труд над Священной Поэмой, он все в мире забывал, — чувствовал он себя так, будто ему все еще восемнадцать лет, а в такие минуты, как эта, — будто ему восемьдесят или даже восемьсот лет: такая в костях, слишком часто ломаемых и сраставшихся, боль бесконечной усталости.

Чтобы отдохнуть, начал штопать на последней приличной одежде дыру. Утром еще, заметив ее на правом локте, там, где легче всего протирается ткань от движения руки по столу, во время писания, — огорчился, как от настоящей беды, потому что бедному человеку дыры на платье почти то же, что раны на теле.

Кое-как заштопав дыру, начал связывать в пачки уцелевшими еще от прежних скитаний бечевками исписанные правильным почерком, «с высокими и тонкими буквами», пожелтевшие листки «Комедии».[469] Кончит ли ее, или вместе с ним пропадет и она, так же бессмысленно-случайно и бесславно, как он? Думая об этом, то возмущался, то жалел себя тою ядовитою жалостью, которая всего убийственней для мужества, необходимого, чтобы

страдать с достоинством.

Мы рождены от вечного гранита,—

вспомнив это слово бога Любви, сказанное трем Прекрасным Дамам, таким же невинным, как он, Данте, изгнанницам, — горько усмехнулся: вместо «вечного гранита» тело раздавленной улитки; вместо львиного сердца заячье, — не эта ли участь ему суждена?

Вдруг из пачки старых, пожелтевших листков выпал новый, белый, — черновик последней страницы недавнего письма его к Веронскому герцогу.

… «Часто и долго искал я в том скудном и малом, что есть у меня, чего-либо приятного вам и достойного вас, и ничего не нашел более соответственного вашему высокому духу, чем та высшая часть „Комедии“, которая озаглавлена „Рай“. Ныне и приношу ее вам, как малый дар, и посвящаю…»

Это прочел он и закрыл лицо руками, почувствовав в нем такую боль, как будто тем каленым железом, которым клеймил он других, кто-то заклеймил его самого. «Псам не давайте святыни и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Хуже, чем псу, отдал святыню; бросил свой жемчуг хуже, чем свиньям, — тонкому, по внешности, ценителю всего прекрасного и высокого, по внутреннему — палачу их и осквернителю.

Весь горел в огне стыда, как мученики ада — в вечном огне. Но вечность эта была только мигом во времени; миг пролетел, и вновь повторился тот страшно знакомый сон наяву: будто бы проваливается, падает он в последний круг Ада — «Иудину пропасть», Джьюдекку, где, в вечных льдах, леденеют предатели: с ними будет и он, потому что предал не другого человека, а себя самого и то, что ему было дороже, чем он сам.

«Из преисподней вопию к Тебе, Господи!» — хотел сказать и не мог, — онемел, оледенел, — умер и ожил; и вечно будет жить — умирать в вечных льдах.

Тихо отнял руки от лица, и тусклый свет догорающей свечи упал на это лицо, как будто мертвое, и все-таки живое. Если бы кто-нибудь увидел его, то ужаснулся бы, может быть, как если бы заглянул из этого мира в тот.

XVII. ЛИЦО ДАНТЕ

Кажется, в эти последние годы жизни, изваяно было лицо Данте страданием, как резцом искусного ваятеля.

«Роста он был среднего и, в зрелые годы, ходил немного сгорбившись, важной и тихой поступью, — вспоминает Боккачио. — Лицо имел продолговатое, нос орлиный… большие глаза».

«Очи ястребиные», или орлиные, такие же, как, по слову Данте, были у Цезаря,[470] — то подернутые мутной пленкой, как у спящего орла, то сверкающие, прямо на полдневное солнце в зените смотрящие, как у того же орла, в полете, или у Беатриче, в раю:

> …смотрит на солнце так прямо и пристально, как никогда и орел на него не смотрел.[471]

«Челюсти большие, — продолжает вспоминать Боккачио, — нижняя губа выдавалась вперед; цвет лица смуглый; волосы, на голове и на бороде, черные, густые и курчавые».[472]

Слишком привычное для нас, но недостоверное и в поздних, от XV и XVI веков, изображениях, едва ли уже не классически-условное, лицо Данте, гладко-бритое, голое, запечатлелось в нашей памяти так, что, вопреки свидетельству Боккачио, а может быть, и самого Данте,[473] мы не можем представить себе это лицо с бородой. Вот, кажется, еще один из бесчисленных признаков, хотя и маленький, но несомненный, того, как исторически-подлинное, живое лицо Данте нам неизвестно. Джиоттова стенопись над алтарем в часовне Барджелло, с лицом Данте, забеленным известью, — лучший символ того, как это лицо забыто людьми и презрено. Если же внешне лицо его презрено так, то внутреннее, — тем более.

Странный для нас, как бы женский, головной убор XIII века, — темный, монашеский куколь или острый колпак с двумя полотняными, белыми лопастями наушников и загнутой назад верхушкой, — усиливает в этом тонком, безусом и безбородом лице почти жуткое впечатление чего-то женского, как бы старушечьего или стародевического, напоминающего лицо древней Сибиллы, Вергилиевой спутницы в аду, или могучей вызывательницы мертвых, Аэндорской волшебницы.

«Грустно было всегда лицо его и задумчиво», — в этих словах Боккачио,[474] кажется, верно угадано первое, от Дантова лица,

впечатление: задумчивость.

> Я шел, лицо так низко опустив,
> Под бременем тяжелых дум согбенный,
> Что сделался похож на половину
> Мостовой арки.[475]

Так идет он по обоим мирам, тому и этому.

> О, злая смерть и беспощадная,
> древняя матерь страданья,
> неотменимый приговор и тяжкий,
> из-за тебя так прискорбно сердце мое,
> что я иду, всегда погруженный в задумчивость…[476]

«Стоя однажды в Сиене, у прилавка аптекаря и открыв предложенную ему новую книгу, погрузился он в чтение так, что, от полуденных колоколов до вечерних, простоял, не двинувшись и не заметив происходившего в городе шумного празднества, с музыкой, плясками и рыцарскими турнирами».[477]

Первое впечатленье от лица его — задумчивость, а о втором, более глубоком, можно судить по сообщаемой Боккачио, кажется, очень ранней, еще при жизни Данте возникшей легенде, в которой, может быть, уцелела память о впечатлении, какое производило это лицо на простых людей.

Шел он однажды по улицам Вероны, должно быть, в той «пристойнейшей и зрелым годам его соответственной одежде, которую всегда носил»,[478] — может быть, величественно-простой, флорентийской тоге — лукко, с прямыми длинными складками, напоминавшими римскую тогу, из ткани такого же «красно-черного» цвета, как воздух Ада;[479] шел, как всегда, сгорбившись, «под бременем тяжелых дум согбенный», и, может быть, надвинув на лицо куколь так низко, что видны были под ним только выдававшаяся вперед, нижняя челюсть, горбатый нос — орлиный клюв, да два глаза — два раскаленных угля. «И, когда проходил мимо ворот одного дома, у которого сидели многие женщины, — одна из них сказала другим тихим голосом, но все же так, что Данте… мог слышать:

— Вот человек, который сходит в ад и возвращается оттуда, когда хочет, и приносит людям вести о тех, кто в аду!

— Правду ты говоришь, — ответила другая простодушно, — вон как борода у него закурчавилась, и кожа на лице потемнела от адского жара и копоти!

Данте услышал эти сказанные за его спиною слова… и они ему понравились, потому что шли от чистой веры тех женщин… И почти довольный тем, что они так о нем думали, он чуть-чуть усмехнулся и пошел дальше».[480]

Но, может быть, не всегда нравилось ему казаться людям выходцем с того света и внушать им такое же любопытство, смешанное с ужасом, какое должны были чувствовать они к побывавшему на том свете и узнавшему загробные тайны, воскресшему Лазарю.

«Данте хорошо знал себе цену и был о себе очень высокого мнения». — «Был очень горд и презрителен к людям», — свидетельствует Боккачио.[481] «Вследствие своих глубоких знаний, был несколько высокомерен, нелюдим и презрителен», — подтверждает и современник Данте, Джиованни Виллани.[482]

Может быть, лучше всего изображено лицо Данте им самим, когда о встреченной им, на втором уступе Чистилищной горы, тени великого Мантуанского трубадура, Сордэлло, он говорит то же, что мог бы сказать о себе:

О, гордая Ломбардская душа,
Как был твой взгляд презрительно-спокоен,
Как медленно движение очей.,
Когда мы подходили, ты же молча,
Следя за нами, обращал свой взор,
Как царственно-покоящийся лев![483]

Данте знает, что гордость — смертный грех; что «гордые христиане — самые жалкие, слабые, слепые, червям подобные люди»;[484] что главная причина мирового зла — «проклятая гордыня того, кто Ангелов в свое паденье увлек», и кого он видел в безднах ада, — «раздавленного всею тяжестью миров»;[485] знает он, что быть гордым — значит быть раздавленным этою неземною тяжестью; знает, потому что своими глазами видел на первом уступе Святой Горы Очищения, какою страшною казнью искупают души грех гордости:

В них пристальней вглядевшись, я увидел,
Что все они подобны были
Тем изваяньям согнутых людей.
Что иногда для потолка иль крыши
Подпорой служат и колена с грудью
Соединяют так, что тяжело
На них смотреть. Хотя одни
Сгибались больше, а другие — меньше,

Но терпеливейший из них, казалось, плакал
И говорил: «Я больше не могу!»[486]

Знает он, что эта казнь ждет и его:

Я чувствую, — уже мне бремя давит плечи.[487]

Уже здесь, на земле это чувствует: вот почему ходит, «сгорбившись», согнувшись, и так же, как те, раздавленные каменными глыбами, в Чистилище, плачет и говорит: «Я больше не могу!» Все это он знает, — и все-таки горд; не может, или не хочет, смириться.

О, гордая душа, благословенна
Носившая тебя во чреве! —

скажет ему Вергилий.[488]

Кажется, не в уме, а в сердце и воле Данте есть неразрешимое для него противоречие — начало всех мук его, — между высшим человеческим достоинством, которое делает людей «сынами Божьими», и «проклятою гордынею» того, кто, будучи одним из «сынов Божьих», захотел быть единственным. Данте раздавлен, как двойною каменною глыбою, — двойною тяжестью божественной силы своей и человеческой немощи.

Только чудом любви к двум Смиреннейшим, или к Одной в двух, — Беатриче — Марии, спасшись из ада гордыни, восходит он медленно-трудно, по страшно крутой, почти отвесной, лестнице Чистилища, к «небу смирения».

Есть в воле и в сердце Данте и другое, столь же неразрешимое для него, противоречие — между тем, что людям кажется в нем «жестокостью», и тем, что так хорошо угадал в нем Карлейль («Поклонение героям»): «Если была когда-нибудь в сердце человеческом нежность, подобная нежности матери, то она была, конечно, в сердце Данте».

«Стыдно мне об этом говорить, из уважения к памяти Данте, но слишком хорошо известно всем в Романьи, что… осуждение Гибеллинов, даже в устах детей и женщин, приводило его в такую безумную ярость, что он кидал в них камнями, если не хотели они замолчать. И с этою ненавистью в душе жил он и умер».[489] Чтобы этому поверить, мало слышать это от очевидцев, как, вероятно, слышал Боккачио, — надо бы своими глазами увидеть, как Данте, побывавший в Раю, трижды обнятый там апостолом

Петром и благословенный апостолом Иоанном, — подбирая камни с дороги, кидает их в детей и женщин. Но если даже это только гвельфская злая легенда и клевета, то все же знаменательно, что люди могли ей поверить и ничего не нашли в жизни и творчестве Данте, чтобы ее опровергнуть. А если «по дыму узнается огонь», то, может быть, и в этой лжи есть искра какой-то неизвестной людям, непонятной им, правды.[490]

«Должно отвечать на такие зверские глупости не словами, а ударами ножа», — говорит Данте об одной из бесчисленных, сравнительно невинных, человеческих глупостей. Между этим «ударом ножа» и тем подобранным с дороги, но, может быть, не брошенным в ребенка или женщину камнем есть внутренняя связь. Маленький камешек этот сродни той огромной скале, которою Данте будет раздавлен в Чистилище.

Orlando Furioso — Alighieri Furioso. «Бешеный Орланд — Алигьери Бешеный». Страшен Данте, в иные минуты, как человек в падучей или бесноватый; и жалок, как маленькое дитя в «родимчике». Но прежде чем судить его за это страшное и жалкое, надо понять и разделить муку этого «свирепейшим негодованием растерзанного сердца», — его бесконечное против мирового зла возмущение; а кто посмел бы сказать, что он понял их и разделил? Прежде чем судить Данте за явную жестокость, надо почувствовать тайную нежность его, — бьющий подо льдом, на дне замерзшей реки, теплый родник.

«Был он, в речах, медлен и скуп», — вспоминает Бруни, и Боккачио: «Данте редко сам заговаривал, если ему не предлагали вопроса». — «Больше любил он молчать, чем говорить», — подтверждает и Марио Филельфо. Может быть, никто не обладал такою властью над человеческим словом, как Данте; но иногда он, в самом для себя святом и глубоком, так же «косноязычен», как Моисей. Знает силу слова, но и бессилье его тоже знает: если от смертного сна не разбудило людей Слово, ставшее Плотью, то уже не разбудят их никакие слова. Данте, безмолвный в мире безумном, — как человек с вырванным языком, в доме, где пожар.

Только с демонами и Ангелами он все еще говорит, когда уже молчит с людьми:

> Вы, движущие мыслью третье Небо,
> услышьте то, что сердце мое говорит,
> и чего никому я сказать не могу…
> таким оно кажется странным мне самому.

«Странное сердце» — странное лицо. «Что-то демоническое в нем», — мог бы сказать Гете.

Вечное лицо Данте лучше всего поняли двое: один из самых близких к нему людей, Джиотто, и один из самых далеких, — Рафаэль. Сочетание мужественного с женственным в этом лице понял Джиотто, а Рафаэль — сочетание старческого с детским: древнее-древнее, ветхое днями, дитя, как тот этрусский бог вечности — седовласый, новорожденный младенец. Вечное блаженство Данте понял Джиотто, а вечную муку его — Рафаэль: тот остролистный лавр, которым он венчает Данте, кажется иногда колючим, как терн, и огненным, так что все лицо под ним обожжено и окровавлено.

Отяготела на мне ярость Твоя…

Я несчастен и истаиваю с юности; несу ужасы твои и изнемогаю… Для чего, Господи, отвергаешь душу мою, скрываешь лицо твое от меня? (Пс. 87, 8—16), —

этот вечный вопрос без ответа послышался бы, может быть, тому, кто увидел бы и понял, как следует, вечное лицо Данте.

…И мы пришли в то место, где другие,
Чьи лица вверх обращены, лежат,
Окованные крепким льдом,
И самый плач их плакать им мешает,
Затем что, прегражденный на глазах,
Уходит внутрь, усиливая муки;
И наполняют впадины очей, —
Подобные стеклянному забралу,
Все новые, непролитые слезы…
И вдруг один из ледяной коры,
Нам закричал: «Безжалостные души,
Низвергнутые в этот нижний круг,
Снимите с глаз моих покров жестокий,
Чтоб хоть немного выплакать я мог
Теснящую мне сердце муку прежде,
Чем новые в очах замерзнут слезы!»

Так же, как эти мученики ада в вечных льдах, смотрит и Данте на мир из ледяной, наплаканной глыбы слез.

Встретился, может быть, и с ним, как с древним пророком Израиля, огненный Серафим, в пустыне мира, и сделал с ним то же, что с тем: мечом рассек ему грудь

И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

С углем раскаленным в груди и с замерзшими, на глазах, не тающими слезами, каково ему жить, то горя в вечном огне, то леденея в вечных льдах!

XVIII. СВЕТ АЛЕБАСТРОВЫХ ОКОН

После поругания своего при дворе Большого Пса, Кане Гранде Низкого, Данте снова исчезает с лица земли, так же бесследно, точно проваливается сквозь землю, как после кончины императора Генриха VII, Арриго Высокого. И если бы в эти дни Данте умер, то бесславно-глухую смерть его люди забыли бы, и никакого следа не оставила бы она в их памяти. В этой черной тьме забвения только два тусклых света: один — от народной легенды, сохранившейся в очень древнем, от первой половины XIV века, хотя и явно подложном, письме брата Илария.[491] Некоторые историки относят это письмо к довольно сомнительному путешествию Данте во Францию, в ранние годы изгнания, но кажется, его можно отнести, с большею вероятностью, к последним годам.

Брат Иларий, инок Бенедиктинской обители Санта-Кроче дэль Корво, в Апуанских Альпах, на побережье Лигурии, увидев однажды подошедшего к монастырским воротам и остановившегося у них незнакомого путника, спросил:

«Что тебе нужно?» И когда тот ничего не ответил, как будто не слышал вопроса, погруженный в задумчивость,

— спросил еще раз: «Что тебе нужно? Чего ты хочешь?»

— «Мира!» — ответил путник, и, только вглядевшись в смертельно усталое лицо его, брат Иларий понял, какой глубокий смысл имеет, в устах невинного изгнанника, Данте, творца «Божественной комедии», это для него святейшее слово: «Мир».

Другая светлая точка исторической памяти в черной тьме забвения — то, что, вероятно, сам Данте говорит устами св. Петра Дамианского, в одной из предсмертных песен «Рая», о своем предпоследнем убежище в святой обители ди-Фонте-Авеллана, в мрачном и диком ущелье Умбрии, на такой высоте Апеннин, что оттуда видны оба моря — Адриатическое, на востоке, и Тирренское, на западе:[492]

В Италии, между двумя морями
Близ родины возлюбленной твоей,
Возносятся Катрийские утесы
Так высоко, что гром гремит под ними.
Там есть обитель иноков святых,
Одной молитве преданных; там жил
И я, в служенье Богу; только соком
Олив питаяся, легко
Переносил я летний зной и стужу

Суровых зим…
Блаженствуя в чистейшем созерцаньи.[493]

В ясные осенние или зимние дни, глядя с головокружительной вышки Катрийских утесов, где снег сверкал ослепительно, на тускло-багровое солнце, восходившее над не похожей ни на что земное, воздушно-зеленой, как второе небо, полосой Адриатики, Данте еще не знал, но, может быть, уже предчувствовал, что солнце это будет для него светилом не времени, а вечности.

Глядя с той же вышки на протянувшуюся внизу, у самых ног его, как ожерелье исполинских жемчужин, голубовато-серую цепь Тосканских гор и стараясь угадать невидимую между ними точку Флоренции, он тоже еще не знал, но, может быть, уже предчувствовал, что этот взгляд его на возлюбленную — ненавистную, чужую — родную землю будет последним и что никогда не исполнится то, на что он надеялся:

Коль суждено моей священной песне,
К которой приложили руку
Земля и небо, — сколько лет худею,
Трудясь над ней! — коль суждено
Ей победить жестокость тех, кем изгнан
Я из родной овчарни, где, ягненком,
Я спал когда-то… то вернусь в отчизну,
Уже с иным руном и с голосом иным,
Чтоб там же, где крещен я, быть венчанным.[494]

Если верить очень древнему воспоминанию или преданию авелланских иноков, несколько песен «Рая» написаны Данте в этой обители. Но не ужился он и здесь. Судя по обличению св. Петра Дамианского или самого Данте:

Когда-то плод обильный приносила
Катрийская обитель небесам,
А ныне сделалась такой бесплодной,
Что скоро все о том, к стыду ее, узнают, — [495]

эта заоблачная обитель, где жили некогда люди, подобные Ангелам, сделалась убежищем сытых и праздных монахов, низких или ничтожных людей, — почти таким же свиным хлевом Цирцеи, как Веронская богадельня Муз.

Сам ли Данте бежал оттуда, грубо ли выгнали его или ласково выжили монахи, — приговоренный к смерти, изгнанник, никому не желанный гость, — но снова пришлось ему, как после Вероны, укладывать и навьючивать ту же нищенскую рухлядь на того же ободранного мула или хромого осла, чтобы с горных вершин, где он беседовал с Ангелами, сойти в земные долины, где будет молчать с людьми. Снова скитаясь по миру, то восходя на вершины надежд, все более призрачных, то падая в пропасти все более неземных отчаяний, продолжал он себе ломать и сращивать кости, как Вечный Жид.

В жизни каждого гордого нищего наступает минута, когда ему кажется, что лучше умереть, чем протянуть за милостыней руку. Наступила, вероятно, такая минута и в жизни Данте. Достовернейший, потому что любовнейший из всех его жизнеописателей, Боккачио, произносит об этих последних, самых черных днях его изгнания страшное слово: «отчаяние», disperazione.[496]

Мужественнейших людей соблазняет иногда, на последнем пределе отчаяния, мысль об остро отточенной бритве или скользко намыленной петле — конце всех мук. Слишком хорошо знал Данте, что начатое во времени продолжится в вечности, чтобы на этой мысли, если она мелькала у него, останавливаться больше, чем на миг; но, может быть, и мига было довольно, чтобы осквернилась им душа, как тело оскверняется проползшей по нем ядовитою гадиной.

Где-нибудь в дрянной гостинице или в ледяной монастырской келье для нищих гостей, развязав с трудом окоченелыми от холода пальцами шнурки кошелька, высыпал деньги на стол, пересчитал, увидел, что хватит на столько-то дней, и подумал: «А после что?» Милостыни просить уже не у владетельных князей, а у прохожих на улице? Надо для этого сделаться великим святым, новым Франциском Ассизским. Не проще ли спрятаться где-нибудь в кустах, лечь на дне оврага, и покорно ждать смерти, как ждет ее свалившийся под непосильною ношею, злым и глупым погонщиком захлестанный мул? Прежде он боялся бессмысленно-случайной и бесславной смерти, под ножом разбойника или одного из бесчисленных гвельфских врагов своих, который пожелал бы исполнить смертный приговор Флорентийской Коммуны над «врагом отечества»; прежде боялся этого, а теперь, может быть, хотел, как избавления от долгих мук.

Сколько часов, дней или месяцев был Данте на краю гибели, этого люди никогда не узнают; но должны бы знать, что в эти страшные дни он мог, в самом деле, умереть, как собака на

большой дороге, к вечному стыду не только Италии, но и всего человечества.

Данте был спасен от гибели только тем, что слепые люди называют «случаем», а видящие — Промыслом.

«Был, в эти дни, государем Равенны, славного и древнего города Романьи, благородный рыцарь, по имени Гвидо Новелло да Полента, воспитанный в свободных науках и почитавший всех доблестных мужей, особенно же тех, кто превосходствовал в знаниях, — вспоминает Боккачио. — Когда дошел до него слух о том, в каких отчаянных обстоятельствах находился бывший тогда в Романьи Данте, о чьих высоких достоинствах он давно уже знал по молве, то решил он принять его и почтить. И, не ожидая, чтобы тот его об этом попросил, потому что в великодушном сердце своем он чувствовал, как достойные люди стыдятся просить — сам пошел к нему навстречу и просил у него, как особой милости, того, о чем Данте, как знал Гвидо, должен был его просить, а именно, чтобы он согласился у него жить. И так как эти два желания, просящего и просимого, совпали, и великодушие благородного рыцаря пришлось по сердцу Данте, а крайнею нуждою он был, в эти дни, как бы схвачен за горло, то, по первому же зову Гвидо, поспешил он в Равенну, где тот принял его с почетом, удовольствовал всем, что нужно для безбедной жизни, и умершую было надежду в нем воскресил».[497]

Верно и глубоко понял Боккачио истинную цену того, что сделал Гвидо Новелло для Данте. Понял, вероятно, и сам Данте, только что увидел его лицом к лицу, что это не благодетель, а друг, и что не государь оказывает честь нищему изгнаннику, а он — государю. Как всегда бывает в братской помощи, милостивы были друг к другу оба равно, — тот, кто помогал, и тот, кто принимал помощь.

Вечная слава Гвидо Новелло не то, что он, спасая Данте, спас для мира «Божественную комедию», а то, что человек спас человека, брата — брат, когда на крик погибающего: «Есть ли в мире живая душа?», он один ответил: «Есть!»

Данте — человек, попавшийся на большой дороге разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живого; лучшие же современники Данте подобны левиту и священнику, которые прошли мимо того человека, а милостивый Самарянин — Гвидо Новелло. После Беатриче сделал для Данте величайшее добро он: та спасла душу его, а этот спас тело; но иногда и тело стоит души: надо его спасти, чтоб не погибла душа.

Многое должны были простить друг другу Гвидо и Данте. Два государя, возвысившие род Полента, Бернардино и Ламберто,

яростные Гвельфы, усердно помогали мечом и советом «флорентийцам негоднейшим», в их войне-восстании против Арриго Высокого, «Посланника Божия», чья кровь была на них и на всем роде Полента.[498] Это должен был Данте простить Гвидо, а тот ему — жестокие оскорбления рода его, в «Комедии», где заклеймены Полента, как злейшие «тираны», поджигатели вечных войн и «приблудные дети», выродки,[499] а родственники Гвидовой супруги, — как «фальшивомонетчики».[500]

Может быть, таинственно сблизила оскорбленного с оскорбителем и помогла им друг друга простить грешная для мира, но для них святая память Франчески да Римини, чья кровь текла в жилах Гвидо: отец Франчески был братом его отца.

Земля, где Данте нашел последнее убежище, Равенна, была родной землей Франчески.

> Я родилась на берегу, у моря,
> Куда с притоками своими По
> Вливается, чтоб вечный мир найти.[501]

Вечною бурей гонимая, в подземном аду, жаждет Франческа вечного мира так же неутолимо, как Данте, — в аду земном.

> О, милая, родная нам, душа…
> Владыку мира, будь Он нашим другом,
> Молили б мы дать мир тебе за то,
> Что пожалел ты нас в великой скорби![502]

Эта мольба отверженных Богом, такая робкая, что не смеет сделаться молитвой, будет исполнена: как бы сама Франческа, подземная сестра Беатриче Небесной, даст «родной душе» Данте, в своей родной земле вечный мир.

Гвидо Новелло был поэтом, учеником Данте, в «сладком новом слоге» любви, dolce stil nuovo. Может быть, и это их сблизило.

> Кто умирает, любя, тот вечно живет, —

это, сказанное Гвидо, могла бы сказать и Франческа.[503]

Отдых сладчайший должен был почувствовать Данте, только что вошел наконец не в чужой, а в свой собственный дом, может быть, у церкви св. Франциска Ассизского, древней византийской базилики Сан Пьетро Маджиоре, где и похоронить себя завещает.

[504] Верно угадал Гвидо, что жить ему будет отраднее не у него во дворце, а в своем собственном доме.[505] Видно, по этой догадке, как сердечно-тонок и умен был Гвидо в своей любви к Данте.

О, какой сладчайший отдых для усталого странника войти в свой дом и знать, что можно в нем жить и умереть; какое блаженство не чувствовать горькой соли чужого хлеба и крутизны лестниц чужих! Какая была отрада для Данте, разложив на столе пожелтевшие листки неоконченной «Комедии», знать, что не надо будет их снова связывать в пачки и укладывать в дорожную суму; не надо будет снова увязывать нищенскую рухлядь в тюки все более жесткими и все больнее, с каждой укладкой, режущими пальцы, веревками; не надо будет просыпаться в ночной темноте, в привычный час бессонницы, чтобы пересчитывать в уме последние гроши и, обливаясь холодным потом от ужаса, думать: «Хватит на столько-то дней, а после что?» Какой сладчайший отдых лечь в постель и знать, что злая Забота не разбудит до света петушьим криком на ухо, не стащит одеяла, не подымет сонного и не погонит снова, как Вечного Жида с горки на горку, из ямки в ямку, ломать и сращивать кости!

«Только одного желал он — тени, тишины и покоя», — верно понял Петрарка.[506] Этого искал Данте везде, всю жизнь, но только здесь, в Равенне, в конце жизни, нашел. Лучшего места нельзя себе и представить для последнего убежища Данте, чем ветхая днями Равенна — могила веков, колыбель вечности.

Ангел… стоящий на море и на земле, поднял руку свою и клялся Живущим во веки веков… что времени больше не будет. (Откр. 10, 5–6.)

Клятва эта здесь, в Равенне, как будто уже исполнилась: так же, как отступило от нее море, оставляя за собою дали необозримых болот, — отступило и время, оставляя за собою память необозримых веков.[507]

Понял ли бы Данте, почему св. Петр Дамианский называет Равенну «Римом вторым», secunde Roma, и почему второй Рим может быть древнее и святее первого, по счету неземных веков-вечностей? Понял ли бы глубокий смысл простодушной легенды варваров о том, что Равенна основана за тысячу лет до Авраама и почти за две тысячи лет до Рима?[508] Если и не понял бы умом, то сердцем, вероятно, почувствовал, почему именно отсюда, из Равенны, начал свой орлиный полет величайший для него из сынов человеческих Цезарь:

…выйдя из Равенны
и перейдя за Рубикон, в таком полете

вознесся он, что этого сказать,
ни описать нельзя.[509]

Сердцем, вероятно, почувствовал Данте, что веявшие здесь над ним, вечные тени прошлого, от Цезаря до Юстиниана, суть вещие знамения будущего; что Равенна — посредница между Востоком и Западом, пророчица грядущего соединения их в той новой всемирности, чьим пророком был и сам Данте. Сердцем он, вероятно, почувствовал, почему именно здесь родилось и умерло и, может быть, ждет своего воскресения то, что он любил на земле и во что верил больше всего, — Рим — бывшая Сила, будущая Любовь: Roma — Amor.

Около Равенны, верст на тридцать, тянулся по берегу моря вековой сосновый бор, Пикета, чьи исполинские деревья были праправнуками тех, из которых Август строил корабли для Равеннской гавани, Классиса.[510] «В этом лесу… Данте часто бродил, одинокий и задумчивый, слушая, как ветер шумит в соснах», — вспоминает Бенвенуто да Имола, в истолкованиях «Комедии».[511]

Шуму сосен, такому ровному, даже во время сильного ветра, что не испуганные им птицы продолжали петь, отвечал далекий и такой же ровный шум адриатических волн, как отвечает голосам человеческим во времени Глас Божий в вечности. Пели птицы, жужжали пчелы, журчали воды, благоухали верески так сладко в этом лесу, что он сделался для Данте прообразом того «Божественного Леса», foresta divina, который неувядаемо цветет на вершине «Святой Горы Очищения»:

И слышал я в листве деревьев райских…
Как бы далекий гул колоколов,
Такой же точно, как в бору сосновом,
На берегу Киасси, в час ночной,
Когда сирокко знойный дует с моря.[512]

Если первое чувство только что умерших — новорожденных в вечную жизнь, — удивление, то, может быть, Данте испытывал нечто подобное, узнавая Равенну. Было для него удивительно то, как здесь, на каждом шагу, попирала нога его утученную прахом великих царей и кровью святых мучеников напоенную землю. Был для него удивителен шорох сухих тростников и тихий звон мошкары болотной там, где гремели некогда медные колеса римских квадриг, в исчезнувшем, как утренний туман над болотом, великолепном пригороде, Цезарее, соединявшем

Равенну с Классийскою гаванью.[513] Было для него удивительно то, как в искрящихся на стенах и сводах равеннских базилик, византийских мозаиках — живописи из драгоценных камней по золотому полю, — события веков становятся видениями вечности.

От временного к вечному придя,
Каким я поражен был изумленьем![514]

И в той надгробной часовне, где, под золотыми звездами в глубоко синей ночной синеве четырех небесных сводов, покоятся в двух исполинских гробах римская императрица Галла Плацидия и супруг ее, последний римский император Запада, Валентиниан III, — с каким удивлением бесконечным увидел Данте, в полукруглой мозаике, над входом в часовню, Доброго Пастыря с юношески безусым и безбородым лицом, напоминавшим Орфея. Крест, вместо кифары, держит Он в левой руке, а правую — лижет одна из овец, пасущихся на цветущем лугу, под вечерним небом, таким же ясным, как божественное лицо Пастуха. Данте, может быть, и сам не знал, страшен ли для него или желанен этот невиданный, неузнанный, не Восточный и не Западный, а соединяющий Запад с Востоком, грядущий, Вселенский Христос.

Но всего удивительнее был свет базилик, проникающий сквозь прозрачно-тонкие, в окнах, дощечки алебастра, золотисто-желтый и теплый, как мед на солнце, ни на что земное не похожий, не дробимый в лучи и теней не кидающий свет как бы нездешнего Солнца — Агнца.

Не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном…

Ибо светильник их — Агнец. (Отк. 22, 5; 21, 23).

Маленький, сгорбленный, седой старичок (Данте узнала ли бы в нем не только Джемма, но и сама Беатриче?), стоя на коленях между исполинскими столпами такого же, как тот невиданный свет, золотисто-желтого мрамора, под главным сводом над жертвенником, в базилике св. Виталия, поднял глаза к изображенному в круглой мозаике на самом верху свода, таинственному, от создания мира закланному Агнцу, и светлые тихие слезы лились по лицу старичка.[515] Может быть, только теперь понял Данте, какое чудо Божественного Промысла совершилось над ним; понял, что значит:

Пить мучеников сладкую полынь.[516]

Горькие травы нужны пчелам, чтобы извлечь из них

сладчайший мед; так и ему нужны были все муки его, чтобы извлечь из них сладость Божественной Песни. И греясь в теплоте нездешнего Солнца — Агнца, как греется на утреннем солнце окоченевшая от ночного заморозка пчела, оттаивало леденевшее столько лет, в вечных льдах, сердце Данте. И только теперь, в этом невиданном свете, увидел он Рай.

…Таков был этот Свет,
Что, если б от него отвел я очи,
То слепотою был бы поражен.
Но выносить его я мог тем легче,
Чем дольше на него смотрел. О, Благодать
Неисчерпаемая, ты дала
Мне силу так вперить мой взор в тот Свет,
Что до конца исполнилось виденье![517]

Если видеть Неизреченного лицом к лицу есть величайшее блаженство, какое может испытать человек на земле, но не может вынести, не умерев, то Данте его испытал в видении Рая и, может быть, умер от него.

Узнанного на небе он уже никогда не забудет на земле.
На пройденные сферы оглянувшись,
Увидел я под ними шар земной —
Песчинку жалкую, и усмехнулся
Ее ничтожеству…
И между тем, как я, влекомый вечным
Созвездьем Близнецов вращался, — весь,
От гор и до морей, являлся мне
Комочек грязи той, что делает такими
Нас лютыми в борьбе из-за нее.
И обратил я вновь глаза к глазам прекрасным,[518]

— к возносившим его «выше сфер высочайших», глазам Беатриче.[519]

Данте начал писать «Рай» еще до Равенны, но кончил его только здесь, в три-четыре последних года жизни. Все эти годы длилось видение Рая, самое ясное и, может быть, самое близкое к тому, что действительно есть рай. Но, дописав последний стих последней песни:

Любовь, что движет солнце и другие звезды, —

проснулся от этого видения, сошел с неба на землю и продолжал на ней жить, — с каким чувством, — об этом он сам

говорит:

…Не знаю, долго ли еще
Я проживу, но чем скорей сюда вернусь,
Тем лучше.
«Сюда» — из этого мира в тот, из временной чужбины вечную родину.
О, Беатриче, ты — моя надежда;
Ты для моего спасенья в ад сошла…
Ты сделала меня, раба, свободным…
Освободи же до конца,
Чтоб дух, от плоти разрешенный,
К тебе вознесся!

Эта молитва скоро исполнилась: Данте освобожден был тем, что казалось людям смертью его, но было для него самого вечною жизнью — Раем.

XIX. РАЙ

Данте не был одинок в Равенне, или казалось, что не был:

двое старших сыновей, Пьетро и Джьякопо, приехали к отцу из Вероны; приехала и дочь, Антония, из Флоренции.[520] Судя по тому, что, девушкой, она покинула мать, чтобы приехать к отцу, а после его смерти постриглась в одной из равеннских обителей, под именем, для них обоих святым, Беатриче, — она любила отца, и была им любима больше всех детей.[521] Были у него и ученики, в Равеннской высшей школе, подобии Университета, Studio Pubblico, где согласился он быть учителем итальянского «народного» языка, vulgare, и поэзии, может быть, для того, чтобы самому зарабатывать хлеб; хотя и не горек был ему хлеб великодушного хозяина, а свой все-таки слаще, и, может быть, догадавшись о том, Гвидо предложил ему этот заработок.[522]

Были у него и друзья: два нотариуса, сер Пьетро Джиардино и сер Менгино Меццани (Menghino Mezzani), городской врач, Фидуччи дэ Милотти (Fiduccio de Milotti) и, вероятно, многие другие. Кое-кто из них пописывал стишки и почитывал «Комедию».[523] Все они были, кажется, хорошие люди, благоговейные почитатели Данте, преданные ему душой и телом. Но в самом глубоком и дорогом для него он был им не понятен и не нужен. А если бы они его поняли, то, может быть, огорчились бы, или испугались, как дети пугаются незнакомого человека со страшным лицом.

Как непонятен и неизвестен был Данте самым близким людям, даже родным, видно по двум составленным его сыновьями, — Пьетро, ученым законоведом, и Джьякопо, ученым каноником, — огромным схоластическим истолкованиям «Комедии», где не сумели они сказать ничего, кроме общих мест и ученых пустяков.[524] Видно это также из того, что, когда, по смерти Данте, тринадцать последних песен «Рая» считались потерянными, Пьетро и Джьякопо вздумали присочинить их от себя, что справедливо называет Боккачио «самомнением глупейшим».[525] Мало скромности и в том плохеньком сонете, посвященном Гвидо Новелло, где Джьякопо Алигьери, посылая ему первый полный список «Комедии», называет ее «своей сестрой», mia sorella, потому что один отец у них обоих — Данте.[526]

> Кто я такой, не стоит говорить:
> Еще мое не громко имя в мире.[527]

Громче ли имя его и лучше ли знают люди, кто он такой, в самом конце его пути, нежели в середине, — можно судить по многим исторически-подлинным свидетельствам. В те самые дни, когда он пишет последние песни «Рая», некий Джиованни дэль Виржилио (имя это он присвоил, думая, вероятно, сделать честь не только себе, но и Вергилию), учитель латинского языка и поэзии в Болонском университете, учит Данте в стихотворном послании, о чем ему должно писать, советуя перейти с «низкого» итальянского языка на «высокий» латинский. И гордый Данте, в угоду этому маленькому грамматику, смиренно рядится в двух ответных латинских эклогах в Аркадского пастушка, Титира.[528] «Данте писал латинские эклоги и еще кое-что», — вспоминает один итальянский гуманист XVI века; это «кое-что», забытое, — «Божественная комедия».[529]

Всем понятный и не скудными, как Данте, лаврами венчанный Петрарка, не завидуя «шумным рукоплесканиям мясников, красильщиков и харчевников, приветствующих Алигьери, предпочтет быть вдали от него, в сообществе Гомера и Вергилия».[530]

В те же дни последних песен «Рая» некий Чекко д'Асколи (Cecco d'Ascoli), ученый астролог, человек неглупый, хотя и бездарный поэт, тоже гость Гвидо Новелло, уличает Данте в «маловерии», которое «довело его до ада», откуда он «уже не вернется», и доказывает, что Данте «сочинял пустяки».[531]

В те же дни, при Авиньонском дворе папы Иоанна XXII, судьи Святейшей Инквизиции начинают дело о покушении Миланских герцогов, Маттео и Галеаццо Висконти, извести папу колдовством, при помощи маленького, не больше ладони, серебряного человечка, голого, с вырезанной на лбу надписью: «Папа Иоанн», с колдовским, на груди, знаком и словом «Амаймон». После первой неудачной попытки герцога Маттео убедить одного миланского священника, слывшего чернокнижником, произвести над человечком нужное для смерти папы колдовство, сын Маттео, Галеаццо, снова призвал того же священника и доказывал ему, что смерть этого папы, сделавшего столько зла Гибеллинам и, через них, Италии, будет для нее великим благом. А в заключение прибавил, как сильнейший довод: «Знай, что для того же самого дела, как тебя, я вызвал и магистра Данте Алигьери, гражданина Флоренции».[532]

В те же дни некий Гвидо Вернани, доминиканец, в книге о Дантовой «Монархии» доказывает, что «этот болтливый софист… смешивающий философию с вымыслом… и соблазняющий сладким пением Сирены… не только малосведущих, но и ученых людей, — есть не что иное, как сосуд дьявола».[533]

«Многие… подозревали Данте в ереси и думали, что он патарин» (манихеянин), — вспоминает Джьякопо дэлла Лана, первый истолкователь «Комедии»;[534] то же подтвердит и неизвестный писатель XIV–XV веков: «В те дни, когда писал Данте книгу свою („Комедию“), многие, не поняв ее, как следует, думали, что он поврежден в вере».[535]

В 1327 году, шесть лет по смерти Данте, францисканский монах, Фра Аккорзо, поставленный папой Иоанном XXII инквизитором «еретической злобы» в Тоскане, произведет следствие над «Комедией», чтобы знать, нет ли в ней «ереси». А в следующем году сожжет за ересь того самого Чекко д'Асколи, который уличал Данте в «маловерии».[536]

В 1329 году кардинал Бертрандо дэль Поджетто (Poggeto), производивший следствие о «колдовстве» Данте, сожжет на костре его «Монархию» и если не сделает того же с вырытыми из земли костями его, то не по своей вине.[537]

Знал ли Данте, что новая туча нависла над ним? Если и знал, то, вероятно, был спокоен и думал с тихой усмешкой: «Не успеют!» Глупостью и злобой человеческой уже не возмущался; ничего от людей не ждал и ни на что от них не надеялся. Мир шел помимо него и против него; это видел он и принимал тем легче, что тот мир становился для него все действительнее, а этот все призрачней. «В небе смирения, там, где Мария»,[538] побывал недаром: новое, неведомое чувство — жалость к врагам, прощение обид, — сходило в душу его, как райское веянье. Не было в земном аду столь вечных льдов, чтобы не растаяли они на сердце его, в теплоте «нездешнего Солнца — Агнца». Тихим светом горела в душе его мысль о Ней, Единственной, как в вечернем небе горит звезда Любви.

Был час, когда пловец душой стремится
К родной земле, где, в горький день разлуки,
Сказал он всем, кого любил: «Прости!»
Был час, когда паломника любви
Волнует грустью колокол далекий,
Как будто плачущий над смертью дня.[539]

Этот час наступил и для Данте, но сердце его над смертью временного дня уже не плакало, а рождению дня незакатного радовалось. В тихих шагах близящейся смерти слышались ему знакомые шаги Возлюбленной. «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка… с миром, ибо видели очи мои спасение Твое» (Лк. 2, 29–30), — это мог бы и он сказать. Так же несомненно, как то, что жил, страдал и любил, он знал, что спасен. И ходил, как ходит

овца на пастбище, под взором Доброго Пастыря.

Господь — Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим… Если пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. (Пс., 22, 1–4.)

Летом 1321 года произошло событие ничтожное, но едва не сдалавшееся роковым для Гвидо Новелло: глупая ссора и драка пьяных корабельщиков на двух судах, равеннском и венецианском. В драке убит был капитан венецианского корабля и его помощник, вместе с несколькими матросами, а корабль захвачен равеннцами в плен. Этого было достаточно, чтобы нарушить мир между маленькой Равеннской Коммуной и великой царицей Адриатики, а война между ними означала бы гибель Поленты. Большей опасности он еще никогда не подвергался: каждого из соединившихся против него союзников Венеции было довольно, чтобы его уничтожить. Земли его отовсюду были окружены врагами: с устья По и с моря грозил ему венецианский флот, а с суши — войска двух могущественных кондотьеров, Орделаффи да Форли и Малатеста да Римини. Не было для него другого спасения, кроме искусных переговоров о скорейшем восстановлении мира.[540]

Может быть, верно угадывая в Данте не только великого поэта-созерцателя, но и государственного деятеля, Гвидо просил его отправиться, для ведения переговоров, в Венецию, и Данте согласился на это, должно быть, не с легким сердцем, потому что все еще и после четырехлетнего отдыха ныли у него кости, как у невыспавшегося человека — от вчерашней усталости.[541] Но другу в беде не помочь он не мог: миром хотел отплатить ему за найденный на земле его мир.

В середине или конце августа Данте, во главе посольства, отправился в Венецию, где натолкнулся, кажется, на большие трудности, чем думал Гвидо.[542] Как Данте преодолел их или только пытался преодолеть — неизвестно, потому что из Венецианских архивов, где сохранились все грамоты об остальных посольствах Равеннской Коммуны, исчезли только те, где говорится о посольстве Данте, как будто нарочно выкрал их оттуда приставленный ко всей жизни его, демон Забвения.[543] Но, судя по тому, что мир был все же заключен, его основания заложены были не кем иным, как Данте; а если так, то последнее дело его на земле — это, для него святейшее и величайшее из дел человеческих, — Мир.

Данте и спутники его возвращались в Равенну обычным для тогдашних посольств, трехдневным путем, соединявшим обе

столицы Адриатики, — не морем, где плавание было слишком продолжительно и опасно, а сушей или, вернее, полуморем, полусушей. В лодке переплыли через венецианские лагуны, вдоль песчаных отмелей Маламокко и Палестрины, до Киоджии (Chioggia), а оттуда, по суше, на конях или мулах, доехали до местечка Лорео, где заночевали. На следующий день переправились через устье По со многими рукавами на больших плоских огражденных перилами дощаниках, где помещалось не только множество пеших и конных, но и целые тяжелые, запряженные волами, телеги. Так доехали до бенедиктинской обители, Помпозы, чьи великолепные, многоцветными изразцами украшенные, колокольни возвышались над цветущими садами и рощами, служившими для иноков неверной защитой от убийственных лихорадок соседних болот.[544] Путь третьего дня шел по узкому перешейку, или «языку земли», отделяющему Адриатическое море от Комакийских (Comacchio) лагун и болот.

Только что первые августовские дожди увлажняют и размягчают каменно-жесткий, летним зноем высушенный, растрескавшийся, черный ил этих бесконечных болот, как подымаются над ними испарения, такие густые, что в воздухе сине от них, как от дыма. Тихим звоном звенят на ухо путника тучи разносящих заразу болотной лихорадки, почти невидимых, прозрачно-зеленых мошек — зензан: «первый дождь — к смерти вождь», по зловещей поговорке тамошних жителей.[545]

Последняя часть пути до Равенны шла, на несколько верст, сосновым бором, Пинетой. Снова увидел Данте «Божественный Лес», divina foresta, подобие земного Рая на святой Горе Очищения. Но слишком сладко пели в нем птицы, жужжали пчелы, журчали воды, благоухали цветы; слишком торжественно отвечал протяжному гулу сосен далекий шум адриатических волн, как всем голосам человеческим во времени отвечает Глас Божий из вечности: Данте чувствовал, что смертельная отрава «злого воздуха», malaria, уже течет в его крови.[546]

И только что с яркого, знойного солнца вошел он в сырую, холодную тень равеннского дома своего (где так же, как почти во всех тамошних домах, подвалы залиты были водой наводнений), вспомнил он, может быть, слова Вергилия, перед сошествием в те глубочайшие пропасти ада, где начинаются несказанные муки и ужасы:

> «Будь мужествен: теперь мы в бездны ада
> Должны по страшной лестнице сойти».
> Как человек, в болотной лихорадке,
> Трясется весь, в предчувствии озноба,

И ногти у него уже синеют,
Едва вдали сырую тень завидит, —
Так, те слова услышав, я затрясся.[547]

Много темных загадок в жизни Данте, но, может быть, темнейшая, — в смерти. В стену той комнаты, где умер, замуровал он тринадцать последних песен «Рая»: для чего он это сделал — вот загадка.

Нет никакого основания сомневаться — и лучшие знатоки равеннской жизни Данте не сомневаются — в свидетельстве Боккачио о загадочной пропаже и еще более загадочной находке этих песен.[548] Будучи в Равенне, в 1346 году, двадцать лет по смерти Данте, Боккачио мог видеть и слышать многих ближайших свидетелей последних дней Данте, в том числе и мессера Пьетро Джиардино, «давнего ученика и преданнейшего друга Данте»; «человека основательного, который заслуживает доверия», — вспоминает Боккачио.[549] Он-то и рассказал ему об этой загадочной пропаже и находке.

Высшее, что создал Данте, — всей «Божественной комедии» вершина и глава, — эти тринадцать последних песен «Рая». Что же довело его до такого действительного или кажущегося безумия, что возлюбленное, в тридцатилетних муках рожденное дитя свое он обезглавил — убил?

Или, может быть, вовсе не убивал, а спасал? В те дни, когда добрые католики считали его «злым еретиком», «сосудом дьявола», и когда уже запахло от него дымом костра, — может быть, хотел он спасти то, что было ему дороже, чем он сам, — эти песни «Рая», — спрятав их в надежный тайник? Но если так, то почему же никому об этом не сказал и, по свидетельству Боккачио, «забыв о них, умер».[550]

Нет, кажется, действительная причина того, что сделал Данте с этими песнями, — не желание их спасти, а что-то другое. Что же именно?

В 1273 году, лет за пятьдесят до смерти Данте, внутренне очень ему близкий, хотя и противоположный человек, св. Фома Аквинский, месяца за три до кончины служа обедню, имел «восхищение», raptus, и когда пришел в себя, сказал другу своему и духовнику, Реджинальду: «Наступил конец моим писаниям, verdi finis scripturae meae». Когда же тот умолял его кончить, по крайней мере, «Сумму теологии», — воскликнул: «Нет, не могу, все, что я написал, мне кажется соломой!» — «И велел сжечь „Сумму“», — прибавляет легенда; но уже и того довольно, что этим страшным словом о «соломе» как бы сам ее сжег.[551]

Может быть, нечто подобное произошло и с умирающим Данте. Маленьким людям то, что они сделали, кажется золотом, а великим — «соломой». Слово, сказанное, сделавшись внешним, так несоизмеримо с несказанным, внутренним, что правдивый человек не может этим не мучиться; вот почему один из правдивейших людей, Данте, — один из величайших мучеников слова.

> Отныне будет речь моя, как смутный лепет
> Грудь матери сосущего младенца, —[552]

предупреждает он перед тем, как начать говорить о последнем, высшем видении Трех.

> Вы, движущие мыслью Третье Небо,
> услышьте то, что сердце мое говорит,
> и чего никому я сказать не могу…
> таким оно кажется странным
> мне самому…
> Странное сердце мое вам одним я открою.

Ангелам, движущим молча Третье Небо любви, умирающий Данте, может быть, открывает, так же молча, «странное сердце» свое, в ту минуту, когда замуровывает в стену последние песни «Рая».

> Восхищен был Сосуд избранья, Павел,
> На небеса, чтоб в людях укрепить
> Начало всех путей спасенья — веру…
> Но кто же я, чтобы взойти на небо.
> И кем я избран? Сам я не считаю,
> Вот почему страшусь,
> Чтобы мое желанье вознестись
> К таким высотам не было безумным.[553]

Этот страх, испытанный в самом начале пути, овладевает им, может быть, и теперь, в самом конце.

Чтобы разгадать, хотя бы отчасти, загадку обезглавленной «Комедии», надо помнить, что именно в этих последних песнях «Рая» открываются, с большей ясностью, чем во всей остальной поэме, «тайна беззакония», совершающаяся в Римской Церкви, и готовящаяся к совершению в Церкви Вселенской тайна Трех.

Может быть, Данте устрашился того, что открыл людям эти две тайны слишком рано; поднял самим Богом опущенную завесу, которую не должно было человеку подымать; переступил самовольно за черту, отделяющую Второй Завет от Третьего. Этого всего он, может быть, не сознавал, только смутно чувствовал; но чем смутнее, тем страшнее. Этим-то страхом обуянный, он и обезглавил «Комедию».

«Сына твоего, единственного твоего, возьми и принеси во всесожжение», — велит Господь Аврааму, — и поднял отец руку на сына; так же и Данте поднял руку на «Комедию». И только чудом Божьим отведены были обе руки.

В стенах тогдашних домов устраивались иногда «печурки», или «оконца», fínestrette, для рукописей и книг.[554] Было такое оконце и в спальне Данте.[555] Может быть, давно уже выбрав его, чтобы спрятать песни «Рая» в этот надежный тайник, он приготовил для этого все нужное: глиняный горшочек с известью, малярную кисть, камышовую циновку, stuoia, молоток с гвоздями и тщательно связанные в пачку листки тех тринадцати песен.[556] Но долго не решался приступить к делу, все откладывал, мучаясь сомнением, надо ли это сделать, или не надо. Может быть, только вернувшись из Венеции, уже больной, и чувствуя, что дни его сочтены, — решился.

В самый глухой час ночи, когда в доме все уже спали (никому еще не сказал, как тяжело болен), встал с постели, дрожа не только от озноба так, что зуб на зуб не попадал, — отпер сундук, вынул из него все нужное, подошел к оконцу, положил в него пачку листков, закрыл его циновкой, прибил ее к стене гвоздями, забелил известью так ровно, что ничего не было видно, и лег в постель умирать.

«Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Может быть, Данте, в ту ночь, потерял душу, и сберег.

«Данте умирает» — эти два слова прозвучали над Равенной, как похоронный колокол, в 1321 году, в ночь с 13 сентября на 14-е — день Воздвижения Креста Господня и поминовения крестных язв св. Франциска Ассизского.[557] В эту ночь не спал государь Равенны, Гвидо Новелло; не спали сыновья Данте и дочь его, ученики и друзья, может быть, не только те, кого он знал, но и многие другие, неизвестные.

Самые близкие к нему собрались в комнате, где он умирал. Уже причастившись, велел он надеть на себя темно-коричневую, грубого войлока, монашескую рясу нищих братьев св. Франциска: в ней хотел умереть;[558] в ней же и похоронить себя завещал, в часовне Пресвятой Девы Марии, у входа в равеннскую базилику, св. Франциска, как бы «на пороге», in introiti! не только этой

церкви, малой, ветхой, но и великой, новой, Вселенской.[559]

Многие только теперь узнали, что Данте был иноком Францискова Третьего Братства: тот же глубочайший и святейший смысл, как во всей жизни его, имеет и здесь, в смерти, что слово: Третий — Три.

В длинной темной монашеской рясе, сложив руки крестом на груди, закрыв глаза, он лежал на постели, с таким неподвижно-каменным лицом, что смотревшие на него не знали иногда, жив он или умер; ошибиться в этом было тем легче, что часто и у здорового бывало у него такое же точно лицо. Может быть, он и сам не знал — жив он или умер: так непохоже было то, что он чувствовал, ни на что живое. Тело его то пылало в жару, как в вечном огне, то леденело в ознобе, как в вечных льдах. Но больше, чем тело, страдала душа: все еще не знал он, надо ли было сделать то, что он сделал, или не надо; спас ли он душу свою, погубив ради Того, Кто велел погубить, или, спасая ради себя, погубил.

Белое-белое, в черно-красной мгле, пятно стояло перед ним, и он знал, что будет вечно стоять — никогда не уйдет; и все не мог понять, что это; может быть, забеленное оконце в стене? Нет, что-то другое, неизвестное. Вдруг понял: это белое, ледяное и огненное вместе, леденящее и жгущее, — есть вечная мука ада — вечная смерть. Но только что он это понял, как услышал тихие знакомые шаги, и на ухо шепнул ему знакомый тихий голос:

Не узнаешь? Смотри, смотри же, — это я,
Я, Беатриче.
И он увидел наяву то, что некогда видел во сне, в видении.
Она явилась мне… в покрове белом
(вот что было то страшное, белое), —
На ризе алой, как живое пламя.
И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать
Душа моя, в блаженстве, перед нею, —
Я, прежде, чем ее глаза мои
Увидели, уже по тайной силе,
Что исходила от нее, — узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к ней, древняя, как мир…
И тою же опять нездешней силой
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз.

Тихо уста припали к устам, и этот первый поцелуй любви был тем, что казалось людям смертью Данте, а для него самого было вечной жизнью — Раем.

* * *

Месяцев через восемь по смерти Данте произошло первое, но, может быть, не последнее чудо св. Данте.

После бесконечных поисков пропавших песен «Рая», когда уже перестали их искать, считая, что они безнадежно потеряны или даже вовсе не написаны (видно по этому, как Данте скрывал то, что делал, даже от самых близких людей), и когда сыновья его, Джьякопо и Пьетро, начали, с «глупейшим самомнением», присочинять от себя эти песни, — Данте явился Джьякопо, во сне, «облеченный в одежды белейшего цвета и с лицом, осиянным нездешним светом».

— Ты жив? — спросил его Джьякопо.

— Жив, но истинной жизнью, не вашей, — ответил Данте.

— Кончил ли Рай? — еще спросил тот.

— Кончил, — ответил Данте и, взяв его за руку, повел в ту комнату, где спал живой и умер, — прикоснулся рукой к стене и сказал:

— Здесь то, чего вы искали.

Спящий проснулся. Час был предутренний, но еще темно на дворе. Встав поспешно и выйдя из дому, Джьякопо побежал к мессеру Пьетро Джиардино и рассказал ему чудесное видение. И тотчас поспешили оба в дом, где жил Данте, нашли указанное место на стене, нащупали прибитую к ней циновку и, потихоньку отодрав ее, увидели никому не известное или всеми забытое «оконце», где лежала пачка листков, уже начавших тлеть и почерневших от сырости так, что если бы они еще немного дольше здесь пролежали, то истлели бы совсем. И только что искавшие в них заглянули, как увидели, с несказанной радостью, что это потерянные песни «Рая».

«Кончил ли ты Рай?» — спрашивает, в видении, Джьякопо. «Кончил», — отвечает Данте. А если б Джьякопо спросил: «Кончил ли ты, сделал ли все, для чего был послан в мир?» — Данте мог бы ответить: «Сделал».

Но он и в деле своем — не только в жизни и смерти — так презрен людьми и забыт, так неизвестен, что и теперь, через семь веков, люди все еще не знают, что он сделал. Мир, может быть, не был бы там, где он сейчас, — на краю гибели, если бы люди знали, что сделал Данте.

ЧТО СДЕЛАЛ ДАНТЕ

I. INCIPIT COMMEDIA

Данте Алагерия, флорентийца по крови, но не по нравам, начинается «Комедия», incipit Commedia — так озаглавил сам Данте книгу свою и главное дело всей своей жизни.[560] Он назвал ее просто «Комедией»; «Божественная» прибавят потом его ученые истолкователи и поклонники.

Вот как он сам объясняет это заглавие книги: трагедия отличается от комедии тем, что, начинаясь радостно или спокойно, кончается горестно; а комедия, наоборот, начинаясь беспокойно или горестно, кончается радостно. «В книге моей начало горестное — Ад, а конец счастливый — Рай: вот почему я и назвал ее „Комедией“» и еще потому, что «высокий и торжественный» язык трагедии доступен лишь немногим, а в его, Дантовой книге язык «простонародный, смиренный», vulgaris, humilis, так прост, что и простейшим людям понятен.[561] Вот когда гордый Данте смиряется: к людям идет, нелюдимый, избранный; один идет ко всем, потому что знает, что сказанное — сделанное им нужно для всех и для всех возможно.

Данте мог заимствовать заглавие «Комедия» от бывшей тогда в большом ходу мистерии народного театра, «Духовной комедии», Commedia Spirituale, изображавшей иносказательно, аллегорически, вечные судьбы человеческой души в обоих мирах, здешнем и загробном.[562]

«Новая Жизнь начинается», — «начинается Комедия», incipit Vita Nova, — incipit Commedia: в явном соответствии этих двух заглавий выражена тайная связь двух великих книг — двух половин жизни Данте, — любви его к Беатриче земной и любви к Небесной; начатое там, в «Новой жизни», кончено здесь, в «Комедии».

В 1292 году, почти тотчас по смерти Любимой, начато или, по крайней мере, зачато, задумано, а в 1321 году, почти в канун его собственной смерти, кончено.

«Было мне видение, в котором я увидел то, что мне внушает не говорить больше об этой Благословенной, пока я не буду в силах говорить о ней достойно. К этому я и стремлюсь, насколько могу… так что, если будет угодно Тому, в Ком все живет, даровать мне еще несколько лет жизни, я надеюсь сказать о ней то, что никогда, ни о какой женщине не было сказано».[563] И не только сказать, но и сделать для нее надеется он то, что никогда, ни для какой женщины не было сделано. Этой надеждой кончается «Новая жизнь», а исполнением надежды кончится «Комедия» — Дантова вечная Новая Жизнь.

В двух последних словах первого стиха «Комедии»: «Наша (человеческая) Жизнь», Nostra Vita, — дано второе возможное заглавие книги, потому что вся она не что иное, как самим Данте рассказанная повесть о жизни его; такой же, как Августинова «Исповедь», дневник внутреннего падения, гибели, — Ада, и внутреннего восстания, спасения, — Рая. А если так, то третье возможное заглавие верно угадано современниками Данте, когда в 1373 году, полвека по смерти его, Флорентийская Коммуна, трижды осудившая живого Данте на смерть и начавшая славить мертвого, поручила Боккачио «нравственное и риторическое, понятное и людям неученым, истолкование книги, именуемой в просторечии: Данте, el Dante».[564] Смысл этого имени тот, что главное содержание Дантовой книги — он сам. «Книга эта есть нечто единственное и ни на что не похожее, потому что совершенно личное», — верно понял Шеллинг.[565] Потому-то книга эта и самая общая, всечеловеческая изо всех человеческих книг, что она — самая личная. Может быть, ни у какого другого писателя не совпадает так, как у Данте, отдельное «я» человека с общим «Я» человечества, вечная судьба одного — с вечными судьбами всех. Кажется, никто из людей, оставаясь в миру, не уходя из мира, как после первых веков христианства уходят все великие святые, — не жил, не любил и не страдал один за всех больше, чем Данте. Вот почему действительную меру «Комедии» дает он сам в том имени, которым называет ее дважды в ней самой: «поэма священная» — «святая поэма».[566] Может быть, в самом деле, ближе всех человеческих книг к единственной Книге Божественной — Священному Писанию, эта «Святая Поэма» грешного Данте.

«Дух дышит, где хочет». Кажется иногда, что, если бы над челом Данте не вспыхнул огненный язык Духа, он не мог бы сказать того, что сказал в «Комедии».

Сколько миров — один или два, — это надо решить, чтобы увидеть, что сделал Данте в своей книге. Если кроме этого мира есть и другой, то, за две тысячи лет христианства, никто, кроме великих святых, не сделал больше, чем Данте, потому что никто с большею силою не утверждал того взаимодействия этих двух миров, которое есть единственно возможный для человечества путь к Царству Божию. А если мир один, то Данте ничего не сделал, — по крайней мере для той цели, которую он сам себе поставил: «Вывести людей из несчастного состояния» — Ада и «привести к состоянию блаженному» — раю;[567] только обманул себя и долго обманывал других, но теперь уже никого не обманет, потому что уже по-настоящему не верит, что есть мир иной; а если кто-нибудь еще и верит, то, судя по нынешнему состоянию

мира, — так бездейственно, что вера эта никому не мешает, оставаясь во временном аду, ждать вечного.

Сколько миров — один или два, — это надо решить и для того, чтобы понять Данте как художника. Если мир один, то все художественные образы его непроницаемо тусклы и плоски; а если кроме этого мира есть иной, то они глубоки и прозрачны. В первом случае искусство останавливается на поверхности явлений; во втором — идет в глубину, к тому, что за явлениями: все образы для него — только вещие знаки, знамения иного мира, символы. Вот почему Данте, величайший утвердитель двух миров, — и символист величайший,

> Все преходящее
> Есть только знак, —

«подобие» — «символ»: в этом согласен с Данте противоположный двойник его, Анти-Данте, Гёте.[568] В двух мирах оба живут, с тою лишь разницей, что Гёте хочет двух, или не может выйти из них, а Данте хочет одного, соединяющего два — в Третьем, и действительно входит в Третий мир. Сын Дантовой «Комедии», восстающий на мать и ее убивающий, — «Фауст». Душу свою продает дьяволу Фауст, а может быть, и сам Гёте; душу свою искупает Богу Данте. Но что можно душу искупить или продать, спасти или погубить, — знают оба.

Очень редкие люди, обладающие верною памятью снов, помнят, что верхние, к яви ближайшие слои их относятся только к здешнему миру и потому «вещественны», «реалистичны» (res — вещь), и непроницаемо тусклы так же, как образы искусства, видящего только здешний мир; а нижние, от яви самые далекие слои относятся к миру нездешнему, и потому прозрачны — «символичны», и чем ниже, тем прозрачнее: это «вещие сны», те, что наяву исполняются и так же действительны, как явь, или еще действительней.

Данте — великий сновидец: полвека длится его сновидение — Ад, Чистилище, Рай, — и даже тогда, когда он просыпается, бодрствует, явь не прерывает сна, потому что проходит сквозь него, как твердое тело — сквозь облако. Ниже, чем Данте, никто не сходил к тем глубинам сна, где, может быть, зияют прорывы из этого мира в тот, и никто не был памятливей к этим прорывам, чем он. Можно сказать, что все творчество его есть не что иное, как вещая символика снов. Вот почему и о бытии мира нездешнего свидетель несомненнейший — он.

Самый глубокий и прозрачный, символичный, оба мира наиболее соединяющий из всех языков человеческих — язык

Иисусовых притч.

…И вошел в лодку и сидел на озере; а весь народ был на земле у озера. И учил их притчами много. (Мрк. 4, 1–2.)

«Притча», по-гречески, ainigma, «загадка» или parabole, «сравнение», «подобие», от parabalilen, «перекидывать»: притча-парабола — как бы перекинутая сходня с лодки на берег — из того мира в этот, из вечности во время. «Притча», по-еврейски, агода, «повествование», «рассказ» о том, что было однажды и бывает всегда; а «притча», maschal, — «иносказание», «подобие», в смысле гётевском: «Все преходящее есть только подобие», «сравнение», «символ», — как бы из того мира в этот поданный знак, перекинутый мост.[569]

«Все, что у вас, есть и у нас; это я уж тебе по дружбе одну нашу тайну открываю, хоть и запрещено», — скажет черт Ивану Карамазову.[570] «Все, что у вас», — в здешнем мире «есть и у нас», — в мире нездешнем. Притча — подобие, соответствие, согласие, созвучие, символ — симфония того, что у нас, с тем, что «у них». Тот мир отвечает этому, как звенящей на лютне струне отвечает немая струна. Все, что «у них», обратно-подобно всему, что у нас (первое на земле слово Иисуса, из того мира к этому: «обратитесь», strafète — «перевернитесь», «опрокиньтесь»); тот мир опрокинут в этом, как небо — в зеркале вод; и стоящие на берегу люди, и лодка в озере, и сидящий в лодке, сказывающий притчу, Иисус, — как бы два ряда противоположно-согласных отражений, совпадений, символов: один ряд — в слове, другой — в действии.

Узами подобий, символов, как звеньями золотой, с неба на землю опущенной, цепи, возносится душа человеческая от земли к небу, в неощутимых для нее полетах, как бы в исполинских астрономических «параболах» (то же слово для притчи, parabole, как для движения небесных тел).

Мир сей как бы пленяется, соблазняется в притчах его же собственным мирским соблазном; уловляется в его же собственные мирские сети.[571]

Отплыви на глубину, и закиньте сети. (Лк. 5, 4.)

Сети — притчи, символы; мир — глубина.[572]

Лучше этого никто не понял и не сделал, чем Данте; в большую глубину мира, для большого лова человеческих душ, никто не закидывал сетей своих — символов-притч. Это делали и святые в церкви; но Данте, может быть, первый после Иисуса и ближайших к Нему учеников, сделал это в миру.

О, вы, имеющие здравый ум,
Поймите тайное мое ученье,
Сокрытое в стихах необычайных![573]

Явное учение Данте — от Школы и Церкви — от Фомы Аквинского и Аристотеля; «тайное» — от него самого и от Духа. «Дух душит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ио. 3, 8). Дантова «Святая Поэма» есть впервые услышанный людьми не в Церкви, а в миру, голос Духа.

«Смысл этой книги не единствен, а множествен, — объясняет сам Данте. — Первый смысл ее буквальный — состояние душ после смерти; второй, иносказательный (аллегорический)… награда или возмездие человека, смотря по тому, чего заслужила его свободная воля».[574] Данте, смешивая здесь так же, как все его современники, символ с аллегорией, не видит, как существенно между ними различие. Иносказание, аллегория, делается, символ рождается; та произвольна, как все дела человека наяву; этот неволен, как то, что человек видит во сне; та соединяет явления мира, этот соединяет миры.

Степени символической прозрачности в «Комедии» неравномерны, как бы самое тело ее, вещество, из которого она образована, то густеет, то редеет, как облако.

Ангел благоразумия, Prudenza, с тремя очами; Люцифер с тремя пастями; хвост адского судьи Миноса, свиваемый в столько колец, на сколько кругов ада осужден быть опущен грешник; сложный узор на теле Гориона-чудовища, означающий сложные хитрости лжи: все это, конечно, аллегория, а не символы.[575] Но если Данте смешивает их в сознании своем, то в художественной воле различает. Явное учение его — в аллегориях, тайное — в символах.

Здесь заостри, читатель, взор твой к правде,
Затем, что здесь покров на ней так тонок,
Что сквозь него легко очам проникнуть.[576]

Этого «покрова» тонкая, легко для глаза проницаемая, прозрачная ткань соткана из всех явлений здешнего мира, понятых, как вещие знаки, знамения, символы мира нездешнего.

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой ковер, она свила, —
Ковер, накинутый над бездной.

Дантова «Святая Поэма» и есть эта, свивающая накинутый над бездной «золотой ковер» — «покров дня» — Святая Ночь, потому что в здешнем порядке день покрывается ночью, а в нездешнем — ночь — днем:

> Светом полуденным ночь покрывается, —
> по древневавилонской и Дантовой мудрости.[577]

Люди, растения, животные, звезды — все явления мира — для Данте, как для древних Египтян, — иероглифы, священные письмена, начертанные Божьим перстом; вещие знаки, знамения, символы. Все всему отвечает; все сквозь все просвечивает. Тело мира, тусклое для нас, как булыжник, для Данте прозрачно, как драгоценный камень.

> Вещее знаменье неба на земле повторяется;
> Вещее знаменье земли повторяется на небе, —

эту древневавилонскую клинопись лучше Данте не понял бы никто.[578]

> …Есть порядок вечный
> Один повсюду; делает он мир
> Подобным Богу. Высшие Созданья
> Могущества Божественного след
> Здесь, в небе, созерцая, постигают
> Во всем одну божественную цель.[579]

Бог прошел по миру и оставил следы свои в мире — символы. Дантова «Комедия» есть путь человечества по следам.

Что св. Бонавентура говорит о св. Франциске Ассизском, можно бы сказать и о Данте: «Следовал он за Возлюбленным, по запечатленным в твари следам Его, делая из всего лестницу, которой восходил к Нему».[580]

Смысл «Комедии» — «возводящий, анагогический, sensus anagogicus», по слову Данте: это и значит, что вся она — возводящая от земли к небу лестница, чья каждая ступень — символ.

…И увидел (Иаков) во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божий восходят и нисходят

по ней. (Быт. 28, 12.)

Виденное Иаковом во сне некогда увидят люди наяву.

Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. (Ио. 1, 51.)

Это люди видели, а потом перестали видеть и забыли. Данте первый это вспомнил сам и напомнил другим; снова увидел наяву вещий сон Иакова.

> Когда душа моя вернулась к яви,
> То понял я моих видений правду.[581]

К яви — к действию — надо вернуться и нам, чтобы понять правду Дантова сна-созерцания, потому что «цель всего творения („Комедии“) — не созерцание, а действие».

Сколько миров, один или два? Ответом на этот вопрос решается все, что будет с нами не только в вечности, но и здесь, сейчас, на земле. Это надо знать так, как знает Данте, чтобы понять не отвлеченно-созерцательный, а жизненно-действенный, и всю действительность жизни меняющий смысл Комедии.

После Ньютона и Коперника рушилось бы, вместе с Птолемеевой системой, все строение Дантова мира — Ад, Чистилище, Рай, — если бы этот мир не был символичен — прозрачен и неразрушим, как алмаз.

Кто это понял, тот знает, что человеческая трагедия сделается «Божественной комедией», — Дантова мистерия осуществится в истории так, что вещий сон Данте наяву исполнится: чем спасся один человек, спасется и все человечество. К этому спасению найденный в Святой Поэме путь — «всех чудес начало — Три в Одном».

II. ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ

«Вывести человека из состояния несчастного, в этой жизни (земной), in hac vita, и привести его к состоянию блаженному есть цель „Комедии“».[582] Мог ли бы Данте разумно поставить себе такую неимоверную, превосходящую силы не только одного человека, но и всего человечества, цель, если бы не был уверен, что воля его, стремясь к этой цели, совпадает с какою-то действующею в мире Высшею Волей?

«Бог… поставил человеку две цели: счастье в жизни земной… знаменуемое Раем Земным, и вечное блаженство… знаменуемое Раем Небесным».[583] Чувствует ли Данте всю режущую остроту, новизну, необычайность и грозную ответственность того, что он здесь утверждает как «новую, никогда еще людьми не испытанную истину»? Помнит ли, что этого не утверждал — не испытал никто из святых, за последние десять-одиннадцать веков христианства, кроме, может быть, двух противоположно-ближайших к нему, таких же одиноких и непонятых, как он, — св. Бернарда Клервосского и св. Франциска Ассизского? «Будет Рай земной»

— этими тремя словами Данте уничтожает десять-одиннадцать веков христианской святости, или сам уничтожен ими. В религиозном опыте святых утверждается блаженство небесное, купленное жертвой всех радостей земных; но если не тщетно прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», то Царство Божие будет не только на небе, но и на земле — это люди помнили два-три века христианства, а потом забыли. Данте первый вспомнил сам и другим напомнил.

В религиозном опыте святых утверждается противоборство двух миров, а в опыте Данте — их взаимодействие. Дух и плоть — два непримиримых начала для святых, а Данте их примиряет или, по крайней мере, хочет примирить, знает, что это надо и можно сделать.

Если быть святым — значит быть духовным — бесплотным, то воскресение плоти не нужно; нужно только «бессмертие души». Плотское воскресение мертвых — только вспоминаемый догмат, а не переживаемый опыт святых. Люди помнят, что Христос воскрес, как слепые помнят солнце.

В догмате святых — Три: Отец, Сын и Дух; а в опыте — Два: Отец и Сын, земля и небо, здешний мир и нездешний. Данте делает, или, по крайней мере, знает, что надо сделать свой опыт догматом — соединить Отца и Сына в Духе, два мира в одном, третьем, землю и небо — в Царстве Божием на земле, как на небе.

«Мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (II Петр. 3, 13) — что это значит, люди забыли; Данте первый вспомнил.

Знает ли он, или не знает, что в этом догмате-опыте святые не с ним, а может быть, и против него — только этим он и живет, это любит и этим спасается.

Чтобы «вывести человека из состояния несчастного и привести его к состоянию блаженному, в этой жизни», земной, — надо избавить людей от того, что делает их несчастнейшими из всех тварей, потому что единственными из всех сознающими свое непоправимое несчастье — смерть. Но избавить от нее людей нельзя никакою силою естественной, потому что смерть — самый общий и крепкий, неодолимейший из всех законов естества; можно победить смерть, или хотя бы только начать с нею борьбу, лишь с помощью какой-то сверхъестественной, из того мира в этот действующей силы, — тем, что в древних мистериях называется «магией», «теургией». Эти два слова давно уже потеряли для нас всякий разумный смысл. «Магия» кажется нам только жалким и диким, при нынешнем духовном уровне человечества, невозможным суеверием первобытных людей, но многим ли из нас не кажется и плотское воскресение Христа, как начало возможной физической победы человека над смертью, почти таким же диким и жалким суеверием? Вот почему тем, для кого Воскресение значит что-то действительное, хотя как будто и противное всем законам естественным, не должно забывать, что христианство — единственная действительная Религия — родная дочь той неузнанной Матери, чье имя было в детском лепете человечества «Магия»; и что если даже мать умерла, то живой дочери от нее отрекаться не следует. Верующим во Христа не должно забывать, что первыми людьми, узнавшими, что Христос родился, и ему поклонившимися, были Маги, Волхвы. Знали они, конечно, поклоняясь Ему, кем Он будет и что сделает; знали, что Он, Христос, родился, чтобы кончить то, что начали они, или хотели начать, — смертью смерть победить — воскреснуть и воскресить мертвых. Если Христос вечно рождается, умирает и воскресает, в сердце человеческом, то и дело Магии — вечное. Вся она — путь в ночи, по одной ведущей Звезде, к двум целям, — к тому, чтобы Христос родился, и к тому, чтобы Он воскрес.

«Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осуществить полноту созерцания, сначала для него самого, а потом для действия», по чудному слову Данте в «Монархии», одной из самых пророческих и непонятных книг.[584] «Цель всей этой книги… не созерцание, а найденное новое действие», opus inventum, по слову Данте, в «Комедии».[585]

Эта цель человека и всего человечества есть выход из «состояния несчастного» — земного Ада, в «состояние блаженное» — Рай Земной, из вечной смерти в вечную жизнь — воскресение мертвых.

Слово «поэзия» — от греческого слова poiein — «делать».[586] Данте, поэт, больше всех других великих поэтов — «делатель»: вся его поэзия — величайшее из всех человеческих дел — «теургия», «магия», воскрешающая мертвых силою любви:

Любовь, что движет солнце и другие звезды.

Здесь, уже в механике — начало «магии»; «всех чудес начало», — в необходимости.

Данте вызывает тень загробного мира, как Аэндорская волшебница — тень Самуила. «И сказал Самуил Саулу: „Зачем ты тревожишь меня?“ И ответил Саул; „Тяжко мне очень. Я вызвал тебя, чтобы ты научил, что мне делать“» (I Цар. 28, 15).

Мертвых вызывает Данте для того, чтобы знать, что делать ему, человеку, и всему человечеству.

Всех живых и мертвых соединяет как бы круговая порука в общем деле — борьбе с последним врагом — Смертью: «последний же враг истребится — смерть» (I Кор. 15, 26).

Эту первую и последнюю Дантову мысль о воскрешении мертвых, как возможном действии всего человеческого рода,

— мысль, которая кажется нам такой нелепой, невозможной, не научной, не современной, высказывает один из самых научных, современных философов, Бергсон: «Все живые существа друг за друга держатся и увлекаются одним и тем же неимоверным порывом. Точку опоры находит животное в растении, человек — в животном; и все человечество в пространстве и во времени есть как бы великое воинство, движущееся рядом с каждым из нас, и впереди и позади каждого, в одном стремительном натиске, способном опрокинуть многие преграды, — может быть, даже смерть».[587] «Может быть», — говорит Бергсон, а Данте говорит: «наверное», — вот и вся разница.

Эта уходящая в глубину будущего — в конец истории Дантова-Бергсонова воля к «воскрешающей магии» уходит и в глубину прошлого — в начало истории. Только что человек появился на земле — он уже «маг», «воскреситель мертвых».

В самых древних ледниковых пещерах, на глинистой почве рядом со следами от когтей пещерного медведя, переплетаются странные, сложные, должно быть «колдовские», «магические» линии. Жутко, в темноте, белеют, на красной охре стен, точно в крови, отпечатки живых человеческих рук, — должно быть, тоже «магия». Ею насыщено здесь все — камни, глина, сталактиты с их вечною слезною капелью и самый воздух.[588] В древнейших

Ориньякских пещерах так же, как в позднейших Магдалиенских, найдено множество слегка загнутых палок из оленьего рога, с просверленными дырами в ручках, украшенных звериной или простой узорчатой резьбой. Долго не могли понять, что это, и называли их «жезлами начальников»; наконец поняли, что это магические жезлы тех, может быть, допотопных царей-жрецов, которых Платон, в мифе об Атлантиде, называет «людьми-богами», and res theoi.[589] Это значит, что уже в пещерах каменного века родилась «магия» — действие, может быть, соединяющее или, по крайней мере, желающее соединить этот мир с тем. Только что человек появился на земле, он уже знает, что есть иной, может быть, лучший мир. Это видно из того, как он хоронит мертвых: под руку кладет им кремневое оружие, куски дичины и множество съедобных раковин: значит, будут жить — воскреснут. Связывает их иногда веревками, что видно из положения костей в человеческих остовах; или раздробляет и раскидывает кости, чтобы не соединились и не ожили, значит, боится мертвых, — знает, что они могут быть сильнее живых. Но это редко: большею частью усопшие мирно покоятся, лежа на боку, с пригнутыми к груди коленями, как младенцы в утробе матери, чтобы легче было снова родиться — воскреснуть в вечную жизнь. Красный цвет — цвет крови и жизни: вот почему мертвых окунают в жидкую красную краску — как бы зарю Воскресения.

Только в позднейших, мегалитных могилах просверливаются в надгробных плитах отверстия — «оконца», чтобы души могли вылетать, гулять на свободе, покинув тело; в палеолитной же древности душа и тело нерасторжимы: вместе в этом мире, вместе и в том. Как это ни странно, пещерные люди кое-что уже знают о «воскресении плоти», чего еще не знают, или уже забыли Сократ и Платон с их «бессмертьем души»;[590] почти забудет после двух-трех первых веков и вся тысячелетняя, до времен Данте, христианская святость.

В Брассенпуйской пещере, в Ориньякских слоях, найдена женская головка из слоновой кости, с пышным, в виде правильных шашечек, плетеньем волос, спереди ровно, как ножницами срезанных, а с боков ниспадающих двумя широкими и длинными лопастями, — настоящим женским головным убором первых египетских династий. Рот и глаза не обозначены резцом; но это, кажется, было сделано красками, что так легко на слоновой кости и, судя по мастерской законченности всей остальной работы, очень вероятно. Пробовали обозначить в точном снимке губы резьбой, глаза краской, и все лицо вдруг оживало чудною жизнью, простое, тихое, немного грустное, с нежною, еще детскою округлостью щек, как у

четырнадцатилетней девочки. Точно такие же лица — у маленьких египетских Изид и родственных им этрусских богинь Земли-Матери. Что это? «Неужели пещерные люди уже готовили пришествие богинь-матерей и предваряли Изидины (Деметрины) таинства?» — удивляется один ученый.[591] Да, смотришь и глазам не веришь: это она сама, Деметра-Изида — первая тень грядущей Несказанной Прелести.

Jam redit et Virgo.
Снова и Дева грядет, —

по мессианскому пророчеству Виргилия, Дантова спутника в Ад и в Чистилище, — Рай Земной:[592] раз была уже в мире дева земная, Беатриче — Дева Небесная, Мария, — и снова будет.

Первые «маги», «воскресители мертвых» в истории, — древние египтяне. Если сделали они так много для жизни земной, для искусства и наук, — всего, что мы называем «цивилизацией», то, может быть, потому, что глубоко задумались, как ни один из народов, о жизни загробной. Самая древняя книга в мире — египетская книга Мертвых, — еще одно возможное заглавие Дантовой Святой Поэмы.

Если в древнейших пирамидах, на стенах внутренних ходов и усыпальниц, почти нет иероглифных надписей, то, кажется, потому, что сама пирамида — есть исполинский иероглиф: Pir — mharu, что значит: «Исхождение в свет», «Воскресение»: вот еще одно, самое древнее и новое, будущее, возможное заглавие Дантовой книги.

Что такое пирамида? Четыре совершенных треугольника, возносящихся от земли и соединяющихся в одной точке неба. «Я начал быть, как Бог Единый; но Три Бога было во Мне», — возвещает бог Нун, в древней египетской книге, почти с такою же точностью, как символ Никейского собора и каждая терцина, тройное созвучье, «Божественной комедии». Бог Един в Себе и троичен в мире; Бог и мир — Единица и Троица: $1+3=4$. Все пирамидное зодчество — соединение четырех треугольников в одной точке неба — знаменует эту божественную динамику чисел: «всех чудес начало — Три в Одном», по Дантову религиозному опыту.

Каждое утро, на песчаной равнине Гизеха, на розово-пепельной дали выжженных, с голыми ребрами, Ливийских и Моккатамских гор, в лучах восходящего солнца рдея, как бы изнутри освещенные, кристаллы пирамид возвещают людям, от начала мира до наших дней и, может быть, до конца времен, единственный путь к Воскресению — тайну Трех, Пресвятую

Троицу.[593] То же возвещает людям и «Божественная комедия» Данте — величайшее благовестие Трех.

Древним египтянам духовно-родственно племя Тусков (Tusci), населявшее Тоскану — Этрурию, Дантову родину. Так же, как древние египтяне, доносит и это таинственное племя волхвов и прорицателей до полного света исторического дня II–III века христианской эры, утренние сумерки Предыстории. Та же у обоих племен погруженность временной жизни в вечную; та же их переплетенность, сближенность: «Все, что у вас, есть и у нас». Так же хорошо, как египтяне, соединяют и этруски математическую точность знания с пророческим ясновидением веры. Та же у обоих племен воля к «воскрешающей магии».

«Я начал быть, как Бог Единый, но Три Бога были во Мне», — это знают и этруски не хуже древних египтян. Кажется, от глубочайшей Крито-Эгейской древности сохранили они и донесли до сравнительно поздних веков Римской Республики миф о трех богах, Кабирах, может быть, заимствовав его из Самофракийских таинств, куда он занесен был, вероятно, из еще более глубокой, вавилоно-шумерийской древности: божественная тройня Близнецов — три мужские головы, изваянные на городских воротах, — встречает первая путника здесь, в Тоскане-Этрурии, так же, как изваяние двух богов Кабиров, в Самофракийской гавани, встречает пловцов.[594] Трое на земле — Трое на небе, как это видно в резьбе одного этрусского драгоценного камня (геммы), где три человеческих образа являются в созвездиях Зодиака.[595] Кто же эти Трое на небе, если не тени того, что некогда будет Пресвятою Троицей? В Ней-то и совершается изображенное в резьбе двух этрусских бронзовых зеркал заклание Сына-Жертвы: два старших Кабира, с бородами и крыльями, с головной повязкой самофракийских жрецов (phoinikis, «пурпур», — тот самый, в который облечется и голова убитого; красный цвет — заря Воскресения), охватив младшего Кабира, юношу безбородого и бескрылого, должно быть смертного, готовятся заклать его, как жертву. Так на одном из двух зеркал, а на другом: Гермес волшебным жезлом — силою «магии» — воскрешает убитого.[596]

Как удивился бы, ужаснулся или обрадовался Данте, если бы знал, что далекие праотцы его, тосканцы-этруски, были уже такими, как он, благовестниками Трех!

Только на поверхности, в сознании своем, в дневной душе, Данте — латинянин, римлянин, а в глубине бессознательной, в душе своей ночной, — этруск. Прошлый и настоящий, временный Данте — латинянин, а будущий, вечный, — этруск.

Может быть, в 1307 году, будучи в Луниджиане послом

тамошнего государя, маркиза Мороэлла Маласпина, Данте посетил пещеру великого этрусского волхва и прорицателя, Аронта, в Лунийских, нынешних Ануанских Альпах, на побережье Лигурии. Белые, как будто снеговые, от множества жил белого мрамора, горы эти, с такими невиданно-острыми изломами, каких нет ни у какой иной горной цепи, кажутся видением нездешних, на земле невозможных и только где-то, на другой планете, существующих гор. Древняя родина этрусской-дантовой «магии» здесь, на этих неземных, как бы лунных, горах.

Там, где внизу, в долинах гор Лунийских,
Каррарец лес корчует, — наверху,
Аронт, гадатель древний, жил в пещере
Из белых мраморов, откуда мог
Он далеко ночное море видеть
И тихое над ним теченье звезд.[597]

Странствуя в этих местах, Данте, может быть, вспоминал о незапамятно-древнем, бесследно как призрак исчезнувшем с лица земли, великом этрусском городе, Луни. С тайным сочувствием вспоминает и Виргилий, путеводитель Данте в Аду, тоже этрусский колдун и гадатель, о великой прабабке своей, волшебнице Манто, дочери волхва Терезия, основателя этрусского города, Мантуи, где суждено было ему, Вергилию, родиться,[598] чтобы возвестить в мессианской IV эклоге так же, как возвестили «маги», «волхвы с Востока», — рождение Христа.

Снова и дева грядет; век золотой наступает;
Новый Отпрыск богов с высокого неба нисходит.
Jam redit et Virgo, redeunt saturnia regna
Jam nova Progenies coelo demittur alto.[599]

Вся эта магия, — Этрурия, Предыстория, — конечно, не наяву, а в вещих снах, не в уме, а в крови у Данте, но тем она живее, действительней и тем будет неотразимее, когда воплотится в искусстве.

Данте, новый этруск, — такой же звездочет, астролог, гадатель по звездам, в Святой Поэме своей, каким был и древний этруск, колдун Аронт, в своей пещере из белого мрамора. Тихое течение звезд над миром — морем ночным, наблюдают оба, гадают по звездам о будущем; оба знают, что звездное небо — не только над человеком, но и в нем самом, в душе его и в теле.

Сохранилось вавилонское глиняное изваяние печени, kabbitu,

разделенное на пятьдесят клеток — небесных сфер, для гаданий, восходящих к глубочайшей вавилоно-шумерийской древности.[600] Точно такое же бронзовое изваяние найдено и в этрусском городе, нынешней Пиаченце.[601] Печень, а не сердце, по вавилонскому учению, есть средоточие жизни в теле человека и животного: вот почему обе астрологические печени, этрусская и вавилонская, изображают планисферу звездного неба, внутреннего, живого — животного, дымящегося кровью, как ночное небо дымится звездными дымами. В теле кровяные шарики — то же, что бесчисленные солнца в небе.[602] В небе и в теле совершается

> круговращение великих колес (небесных сфер),
> движущих каждое семя к цели его,
> по воле сопутственных звезд,[603]

скажет «звездочет» Данте, как могли бы сказать Аронт и Виргилий.

«Данте был звездочетом-астрологом», — сообщает Боккачио в истолкованиях «Комедии».[604]

Так как в те времена астрология, как и все вообще «отреченные» Церковью, «тайные знания», смешивалась с магией, то Данте — «астролог», значит «маг». Тот же Боккачио называет и Вергилия «знаменитейшим звездочетом-астрологом», сообщая народные легенды о «волшебствах» Вергилия.[605]

Как ни грубо и ни глупо ошибался миланский герцог, Галеаццо Висконти, желая пригласить к себе Данте, чтобы извести «колдовством» врага своего, папу Иоанна XXIII — что-то верно угадал он в Данте. И те веронские женщины, что в суеверном страхе шепчутся за спиною у проходящего Данте о данной ему сверхъестественной власти сходить заживо в ад, что-то верно угадывают в нем. Кем дана ему эта власть, — Богом или дьяволом, — не знают они; помнят только о его сошествии в ад, а о восшествии в рай забыли; так же, как Галеаццо Висконти, помнят только убивающую живых, «черную магию», а «белую», воскрешающую мертвых, — забыли.

Слыть в народе «колдуном» было, в те времена, не безопасно. Если дымом костра пахнет от Данте, живого и мертвого, так что кости его едва не будут вырыты из земли и сожжены, то, может быть, не только потому, что он слывет «колдуном», но и потому, что «колдовское», «магическое» в нем действительно есть.

Два великих тосканца, этруска — Данте и Леонардо да Винчи, — подняли на плечах своих, как два Атланта, всю тяжесть будущего мира; Данте поднял ее ко Христу, а Леонардо, предтеча

Гёте-Фауста, неизвестно к кому — ко Христу или к Антихристу.

Бритое, голое, тонкое, с выдающейся вперед нижней челюстью, под странным, точно женским, головным убором тех дней, красным колпаком с двумя по бокам полотняными белыми лопастями, будто старушечье, лицо Данте напоминает этрусскую волшебницу Манто; а лицо Леонардо, в старости, с волнистой, длинной, седой бородой, с щетинисто-нависшими, седыми бровями над темными впадинами страшных или жалких, нечеловеческою мыслью отягченных глаз и с такою же, как у Данте, горькой складкой крепко сомкнутых, как будто навеки замолчавших, губ, — напоминает не этрусского, а более древнего, пещерного волхва, — того, кто зажег в Ледниковой ночи первый огонь, как титан Прометей.

«В теле или вне тела» был Данте «восхищен на небо» — этого он сам не знает, так же, как ап. Павел (II Кор. 12, 2–3), а Леонардо, изобретая человеческие крылья, чтобы лететь, как Симон Волхв летал, и полетит Антихрист, знает, что человек будет «восхищен на небо, в теле».

В стенописях этрусских могил как будто уже предвосхищены картины Дантова «Ада»,[606] где Минос, Герион и Грапии — этрусские чудовищные демоны. И неземные страшилища винчьевских карикатур так родственны видениям этих двух адов, этрусского и Дантова, как будто и те и другие вышли из одного и того же безумного и вещего бреда. И в таинственной улыбке Леонардовой Девы Скал, пещерной Богоматери (чья, может быть, родная сестра — маленькая Брассенпуйская пещерная Изида) — та же неземная прелесть, как в улыбке маленьких бронзовых этрусских богинь Земли-Матери, найденных на склонах той самой горы Фьезоле, где родилась Беатриче, и где от ног ее запечатлелись, столько раз мысленно целованные Данте, легкие следы.[607] Той же улыбки неземную прелесть увидит он в Раю, на губах Беатриче:

> …древней сетью
> Влекла меня к себе ее улыбки
> Святая прелесть.[608]

Так, кто были на земле Возлюбленной Данте, будет на небе Матерью:

> …Я обратился к той,
> Которая вела меня… и так
> Как матерь к сыну, бледному от страха,
> Спешит, она ко мне на помощь поспешила.[609]

Что на земле начала Беатриче, кончит на небе Дева Мария.

О, Дева Мать, дочь Сына своего.
Всей твари высшая в своем смиренье —[610]

эта молитва св. Бернарда Клервосского есть молитва и грешного Данте.

Только исполнив ветхий и новый, вечный завет Вергилия, а может быть, и всего дохристианского человечества:

Матери древней ищите,
Antiquarii exquirite Matrem, —

Данте найдет Третий Завет Духа-Матери — единственный путь к Воскресению.

III. ДАНТЕ-МАГ

«Я ничего не сделал и не сделаю» — вот вечный страх и мука таких людей, как Данте, или, вернее, такого человека, потому что не было другого подобного ему за два тысячелетия христианства, и едва ли скоро будет в «поэзии-делании». Данте не мог не сознавать или, по крайней мере, не чувствовать иногда, что в главной воле его — к соединению двух миров, того и этого, в одном третьем, все действующие в мире силы — Церковь, государство, искусство, наука, философия, — все, что мы называем культурой, — идут если не против него, то не с ним; потому что весь мир движется не к соединению двух миров, а к их разделению, под знаком не Трех — Отца, Сына и Духа, а Двух: Отца против Сына или Сына против Отца; Бога против человека или человека против Бога; плоти против духа или духа против плоти; земли против неба или неба против земли — и так без конца, в ряде вечных противоборств — противоречий неразрешимых. Данте, один из сильнейших людей, не мог не сознавать, или, по крайней мере, не чувствовать иногда, как страшно бессилен и он, потому что страшно одинок. Главная воля его к Трем вместо Двух, не находя точки опоры ни в чем внешнем и действительном, изнемогала в пустоте, в бездействии или в самоубийственных бореньях внутренних.

Слишком понятно, что в такие минуты или часы, дни, месяцы, годы сомнений, неимоверная, им поставленная себе в «Комедии» цель — «вывести человека из состояния несчастного», — Ада земного, и «привести его к состоянию блаженному», «земному Раю» — казалась ему самому почти «безумною»:

> Кто я такой… и кем на подвиг избран?
> Ни сам себя я не считаю,
> И не сочтет меня никто достойным:
> Вот почему страшусь,
> Чтобы мое желанье вознестись
> К таким высотам не было безумным.[611]

Кажется, этого возможного «безумья» он страшится не только в самом начале пути к «Раю земному» — Царству Божию на земле, как на небе, но и в самом конце: иначе не замуровал бы в стену, накануне смерти, тринадцать последних, высших песен Рая. Самое для него страшное, может быть, то, что в этом «безумном желании» он иногда сознает или, по крайней мере, чувствует себя

не «грешным», а иначе святым, по-новому, — не так, как были святы до него, за десять-одиннадцать веков христианства, после двух-трех первых, все святые; чувствует себя, в какой-то одной, не достигнутой им и, может быть, для него недостижимой точке, противосвятым, antisanctus.

Очень вероятно, что бывали такие минуты, когда он готов был поверить тому, что следовало из ошибочных, в уровень тогдашнего знания; но для него соблазнительно точных, астрологических и богословских выкладок, а именно тому, что первое всемирно-историческое движение к Царству Божию — «поворот всех кораблей носами туда, куда сейчас кормы их повернуты», — совершится не ранее, как через семь тысячелетий — т. е. через столько веков, сколько отделяет конец каменного века от Р. Х.[612] Судя по этому, Данте — меньше всего отвлеченный мыслитель и мечтатель из тех, кого мы называем «идеалистами»: он «видит все», tutto vedea, по глубокому слову Саккетти; он знает, с кем борется; чувствует действительную меру того, что хочет сделать: раздавливающий вес подымаемых им тяжестей.

Так бесконечно трудна цель его — борьба за христианство будущее — потому, что и бывшее уже изнемогает в мире, именно в эти дни: между смертью св. Франциска Ассизского и рождением Данте уже начинается то, что мы называем «Возрождением» и что, может быть, вернее было бы назвать «вырождением» христианского человечества; тогда уже совершается «великий отказ», il gran rifiuto,[613] отступление от Христа, единственного двух миров Соединителя:

Ибо Он есть мир наш, соделавший из двух одно, poiêsas ta amphotera hen. (Еф. 2, 14).

Хуже всего, что в главной воле своей к соединению Двух в Одном, Третьем, Данте должен был бороться не только со всем миром, но и с самим собою, потому что находил иногда и в себе не соединение, а «разделение» двух миров: «было в душе моей разделение», la divisione ch'è ne la mia anima;[614] потому что и он уже родился, жил и умер, под знаком двух «Близнецов» — Веры и Знания.

Ах, две души живут в моей груди! —

мог уже и он сказать.

Главная цель его — «вывести человека из состояния несчастного и привести его к состоянию блаженному, еще в этой жизни земной», — была так бесконечно трудна еще и потому, что самое трудное в религиозном действии — дать людям

почувствовать, что ответом на вопрос, ждет ли их что-то за гробом, или не ждет ничего, — решается все, не только во внутренней духовной жизни их: ложь или истина, зло или добро; но и в жизни внешней, физической: болезнь или здоровье, голод или сытость, война или мир. Людям кажется, что от судеб их в вечности ничто не зависит во времени, как от цвета облаков. Но пахарь, готовящий жатву, знает, что светлым или темным цветом облаков предвещается дождь или засуха, — хлеб или голод, жизнь или смерть, не только для него одного, но и для множества людей.

Эту зависимость временного от вечного, всего, что здесь, на земле, сейчас, от того, что некогда будет в вечности, лучше Данте никто не чувствовал, и никто не сделал больше, чем он, чтобы дать это почувствовать людям.

«Нет у человека преимущества перед скотом, потому что… все идет в одно место: вышло из праха и в прах отойдет» (Еккл. 3, 19–20). Если и Тот, кого весь мир не стоит, в прах отошел, то цену жизни понял лучше всего мудрейший из сынов человеческих, Екклезиаст: «мертвые блаженнее живых, а еще блаженнее тот, кто никогда не жил и не видел злых дел, какие делаются под солнцем» (Еккл. 4, 3).

> Понял цену жизни и Мефистофель:
> Какая людям польза бесконечно
> Творить и разрушать? Что значит «было»?
> Все бывшее не-сущему равно;
> Но кружится все так, как будто есть.
> Вот почему жить в вечной пустоте
> Я предпочел.[615]

Завтра начнется вторая всемирная война, в которой накопленные человечеством, за десять тысячелетий так называемой «культуры», «цивилизации», сокровища погибнут бессмысленно, — и отвечать будет некому, жалеть — не о чем, потому что все они — только бывший и будущий прах.

Но если Христос воскрес, то иное солнце, иное сердце, иная жизнь, иная смерть. Вместо вечной войны — вечный мир, в котором люди сделают наконец первый шаг к Царству Божию на земле, как на небе.

Если все человечество, как думает Бергсон и думал Данте, есть «движущееся рядом с каждым из нас, и впереди, и позади каждого, великое воинство в стремительном натиске, способном сокрушить все, что стоит на его пути, и опрокинуть многие преграды — может быть, даже смерть», — то пасть духом —

значит, для этого воинства, быть пораженным, а не пасть — значит победить. С Дантовых дней началось и до наших дней продолжается падение в человечестве духа. Лучше Данте этого никто не видел и больше, чем он, никто не сделал для того, чтобы павший в человечестве дух восстановить.

Лучше Данте никто не знает, что живым нельзя спастись одним — можно только вместе с умершими — воскресшими, потому что одна круговая порука соединяет мертвых и живых в борьбе с «последним врагом» — Смертью. Если для нас и все живые мертвы, то для Данте и все мертвые живы. Жалкий пистойский воришка, ограбивший церковь, Ванни Фучни,[616] и флорентийский фальшивомонетчик, маэстро Адамо,[617] так же для него бессмертны, потому что лично-единственны и неповторимы в вечности, как Беатриче и св. Бернард Клервосский. В людях презреннейших, осуждая их на муки ада, утверждает он человеческое достоинство больше, чем мы — в Сократе и Цезаре, думая, что в смерти нет у них преимущества перед животными, — «все идут в одно место».

После двух-трех первых веков христианства весь религиозный опыт святости есть движение от земли к небу, от этого мира к тому. Данте предчувствует новую святость в обратном движении — от неба к земле. Только земную любовь к небу знают святые, а религиозный опыт всего дохристианского человечества — небесная любовь к земле — в христианстве забыт. Данте первый вспомнил эту любовь.

Две души у человека — два сознания: бодрствующее, дневное, поверхностное и ночное, спящее, глубокое. Первое движется, по закону тождества, в логике, в чувственном опыте, и, доведенное до крайности, дает всему строению жизни тот мертвый, «механический» облик, который нам так хорошо знаком; второе — движется в прозрениях, ясновидениях сверхчувственного опыта, и дает всей жизни облик живой, органический, или, как сказали бы древние, — «магический». Чтобы объяснить, или хотя бы только напомнить, что это значит, можно бы указать на такое слабое и грубое подобие, как животное чутье, «инстинкт». Ласточки знают, куда нужно лететь, чтобы попасть в прошлогоднее гнездо, за две тысячи верст; знают муравьи, где надо строить муравейник на берегу реки, чтобы не залило его водой половодья. Знание это, не менее достоверное, чем то, которое мы приобретаем путем силлогизмов и чувственных опытов, кажется нам «чудесным», «магическим». Плохо было бы муравьям, если бы, потеряв животный инстинкт, они построили кочку на берегу реки слишком низко; плохо было бы ласточке, если бы, в полете над морем, она забыла, куда надо

лететь, чтобы достигнуть берега: так же плохо и нынешнему человечеству, забывшему, где надо ему строить свой вечный дом, и куда лететь, чтобы достигнуть вечного берега.

Жив человек лишь «чувством прикосновения своего таинственным мирам иным» (Достоевский); если же чувство это глохнет в нем, — он умирает той «второю смертью», от которой нет воскресения.

«Магия» сверхчувственного опыта, в наши дни, всюду убита «механикой», «ночная душа» — «дневной»; только в искусстве она все еще жива; творчество художника все еще движется не по лестнице умственных доводов и чувственных опытов, а внезапными, как бы «чудесными», взлетами, так что в этой «чудесности» гения и заключается его особенность, несоизмеримость с нашей обыденной «механикой». — «Есть ли магия?» — на этот вопрос все еще искусство отвечает: «есть». Все еще души человеческие укрощаются искусством, как дикие звери — Орфеевой музыкой. Даже пауки слушают музыку; даже Ленин что-то любил, или хотел бы любить, в Пушкине.

Данте — новый маг, Орфей: так же укрощает и он души человеческие — хищных зверей — музыкой; так же сходит в ад за Евридикой — душой человека и человечества.

Веточка мимозы найдена на сердце усопшего, в гранитном саркофаге Аменофиса II: нежные листики-перышки «не-тронь-меня» должны были ответить трепетом на трепет воскресающего сердца. Вот что такое вечная, действительная Магия-Религия: одоление закона естества — смерти — иным законом высшим, сверхъестественным, — любовью, воскрешающей мертвых.

Но чтобы это понять, надо больше чем верить, — надо испытать на себе то, о чем говорит единственный на земле Человек, победивший смерть:

Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, — оживет; и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? (Ио. 11, 25–26).

Только ответом на этот вопрос решается все здесь, на земле, сейчас, так же, как решится некогда в вечности.

Древнеегипетское слово seenech имеет два смысла: «ваятель», «художник» и «оживитель», «воскреситель мертвых». Данте в этом смысле величайший художник за две тысячи лет христианства. Творчество Гёте и Шекспира — только искусство; творчество Данте больше чем искусство, и даже больше чем жизнь, это источник жизни — религия. Дантово искусство величайшее, потому что религиознейшее из всех искусств.

Что сделал Данте в Святой Поэме? Подошел так, как никто из художников слова — к вечному делу религии — воскресению

мертвых.

IV. ЧЕТЫРЕ МАГИИ

Данте в Святой Поэме соединяет и устремляет к одной цели — воскресению мертвых — четыре искусства, четыре магии. Первая, более вещественная, осязаемая, — ваяние, — в «Аду»; вторая, более духовная, зримая, — живопись, — в «Чистилище»; третья, самая духовная, слышимая, — музыка, — в «Раю»; и наконец, четвертая, включающая в себя все три остальные, — магия зодчества, — во всей «Комедии».

В древнем египетском зодчестве — такое величие и такая простота, как только в созданиях природы. Почти невероятно, что замысел, подобный пирамиде Хеопса, мог быть исполнен.[618]

— «Это сон исполинского величия, осуществленный только раз на земле, неповторяемый».[619] В усыпальнице Хеопса, несмотря на тысячелетия и на землетрясения, колебавшие громаду пирамиды, ни один камень ни на волосок не сдвинулся. Тысячепудовые глыбы гранита сплочены так, что нельзя между ними просунуть иголку, и отполированные до зеркальной гладкости грани их подобны граням совершенного кристалла. Это самое вечное из всего, что создано людьми на земле. Можно бы сказать почти то же и о Дантовом зодчестве в «Комедии».

«Мудрому свойственно упорядочивать все. Sapientis est ordinare» — это в высшей степени римское слово св. Фомы Аквината объясняет многое в Данте.[620] Та же воля к порядку у Юлия Цезаря — в строении государства, у Фомы Аквинского — в строении Церкви, и у Данте в зодчестве загробного мира.

Десять — число для Данте совершенное — умноженный символ Трех в Одном: трижды Три и Один — Десять. Вот почему строение трех загробных миров — Ада, Чистилища, Рая — десятерично: десять воронкообразно-нисходящих кругов Ада; десять восходящих уступов Чистилища; десять вращающихся звездных сфер — «колес» Рая. Вот почему и всех песен «Комедии» десятеро-десять — сто; в первой части — тридцать три и одна, а в двух остальных — тридцать три ровно. И каждая песнь состоит из трехстиший, в которых повторяется одно созвучие трижды.

Людям, не посвященным в «магию» чисел, кажется математика чем-то для всех очарований убийственным, антимагическим. Но св. Августин знает, что «красота пленяет числом», pulchra numero placent (De ordine), «пленяет» — «чародействует»; тайная магия Числа в красоте становится явною. Так же, как маг Орфей — Пифагор, геометр, считает и поет, считает и молится, потому что в числах — не только земная, но и небесная музыка — «музыка сфер». «Страшный бог Любви» для

Данте — величайший Маг и Геометр вместе: «Я — как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности, а ты — не так».

Камни складываются в зодчестве по тем же числовым законам, как звуки — в музыке. Зодчество — воплощенная музыка, а музыка — одухотворенное зодчество.

Вместе с математикой Данте вводит в «Комедию» весь круг тогдашних знаний: механику, физику, астрономию, этику, политику, историю, и устремляет их все к одной цели — к воскрешению мертвых.

«Истинное величие являет человек не в одной из двух противоположных крайностей, а в их соединении и в наполнении того, что между ними», — учит Паскаль.[621] Данте и в этом, как в стольких других особенностях гения, совпадает с Гёте: оба они соединяют «две противоположные крайности» — математическую точность познания с пророческим ясновидением. Но Данте в этом шире, чем Гёте. Гёте соединяет их только в созерцании, а Данте в созерцании так же, как в действии.

> Свет разума, исполненный любви.
> Luce intellettual, piena d'amore.[622]

Необходимость, механика, — в разуме; магия, чудо, — в любви. Магия зодчества для самого Данте, строителя «Комедии», есть первая, а для читателя — последняя из четырех на него действующих магий; первая для него — магия ваяния. Та с наибольшею силою действует в общем строении «Комедии», а эта — в аду.

Цвет Ада единственный — «красный», от раскаленных докрасна железных стен и башен подземного города, Дитэ, или точнее — темно, почти черно-красный, как запекшаяся кровь.

> О милая, родная нам душа,
> Прошедшая сквозь этот красный воздух,
> Чтоб посетить нас, обагривших землю кровью![623]

«Черно-красный», персовый цвет, perso, есть смешение черного с красным, но с преобладанием черного.[624]

Черным по красному писаны все картины Дантова Ада так же, как все рисунки этрусских глин. Здесь опять духовно-физическое родство Данте с Этрурией.

Облики бесов и грешников на кроваво-красном зареве Ада, как из черного камня изваяны.

Ангел, посланный с неба, похожий на крылатого этрусского бога, пролитая сквозь «жирный воздух» ада, «отстраняет его от лица, — махая часто левою рукой».[625] Этим одним движением здесь выражено то, что делает призрачное в сновидениях вещественным. Зрительное ощущение усиливается и сгущается так, что становится осязательным: дымную черную тьму, остаток Ада в Чистилище, Данте осязает на лице своем, как «шершавый мех».[626]

Бес христианского ада, кентавр Хирон, как будто вышедший тоже из ада этрусского, вглядывается с удивлением в Данте, живого среди мертвых.

> И взяв стрелу, концом ее пернатым
> С огромной пасти он откинул ус
> И так сказал товарищам: «Смотрите,
> Как движет все, к чему ни прикоснется,
> Тот, позади идущий; ноги мертвых
> Не делают того».[627]

Мысль отвлеченнейшая — отличие того мира от этого — здесь не мыслится, а чувствуется осязательно; метафизика становится механикой, призрачное в Аду делается вещественным; и даже, по закону сновидений, так что чем призрачней, тем вещественней.

Графа Угодино, гложущего череп врага своего, архиепископа Руджиеро, Данте спрашивает, зачем он это делает.

> Тогда, подняв уста от страшной пищи,
> Он вытер их о волосы затылка
> Изглоданного…
> И начал так…[628]

В этом одном внешнем движении: «вытер уста», — сосредоточен весь внутренний ужас Угодиновой трагедии так, что он остается в душе неизгладимо, как воспоминание бреда.

Знали древние египтяне, знали этруски, — знает и Данте, что тот мир не страшно далек, как это кажется нам, а страшно близок, — вот здесь, сейчас, рядом с нами — в нас самих. В символах-знаменьях, соединяющих два мира, как перекинутые между ними мосты, — самое близкое, простое, земное, здешнее, прикасается к самому дальнему, неземному, нездешнему: «Все, что у вас, есть и у нас»; там все, как здесь, и совсем, совсем иначе, но так же несомненно-действительно или еще действительней.

Это в обеих магиях — ваяния и живописи — одинаково; в Аду, в Чистилище и даже в Раю, но в Аду больше всего, потому что здешний мир всего подобнее Аду.

В третьем круге Ада ростовщики, под огненным дождем, закрывают лица руками, то от горячего дыма, то от раскаленной земли, —

> Как это делают собаки летом,
> И лапами и мордой защищаясь
> От блох кусающих, и мух, и оводов.[629]

Тени в Аду, завидев Ангела, прыгают в воду Стикса, как лягушки в лужу, завидев змею.[630]

Тени в Чистилище, встречаясь, целуются радостно и быстро, на ходу, как это делают муравьи, прикасаясь усиками к усикам, «быть может, для того, чтоб рассказать, куда идут и с чем».[631]

Души блаженных в Раю летают и кружатся, как вороны, в начале дня, когда бьют крыльями, чтоб от ночного холода согреться, и, улетев, одни не возвращаются, а другие, вернувшись, кружатся, все на одном и том же месте.[632]

Так смиреннейшая тварь — псы, лягушки, муравьи, вороны — вовлекается Данте в величайшее, богочеловеческое дело — воскрешение мертвых. Если оно произойдет действительно, мертвое будет оживать целыми слоями, пластами вещества, — звездным, растительным, животным: вот почему только такая бесконечная, в глубину вещества идущая, как у Данте, любовь ко всей земной твари может, побеждая силу смерти, воскресить всю тварь в Царстве Божьем на земле, как на небе.

В то же дело воскрешения вовлекает Данте, вместе с животными, и людей смиреннейших. Тени, безмолвно проходящие в аду, вглядываются в Данте и Вергилия так, «как вечером, под новою луною, встречающиеся на дороге прохожие вглядываются друг в друга; и все они, прищурившись, острят свой взор», —

> Как в лавке старый делает портной,
> В ушко иголки продевая нитку.[633]

В то же дело воскрешения вовлекает Данте и неодушевленные предметы, смиреннейшие. В небе Юпитера, где созерцают лицо Неизреченного высшие духи, один из них вертится, как ударяемый бичом играющего ребенка волчок:

И было для него бичом блаженство.[634]

Чувство неземного нездешнего не ослабляется, а усиливается земною четкостью, наглядностью образов. Более земных, родных, простых и убедительных образов нет нигде, кроме Евангельских притч.

Что, казалось бы, может быть общего между свиным хлевом и загробною вечностью? А вот, оказывается, есть.

Где-то в одном из самых темных и смрадных углов ада, —

Две тени, голые и бледные, кусаясь,
Так друг за другом бегали, как свиньи,
Когда внезапно открывают хлев.[635]

Здесь еще, в аду земном, люди грызутся злее диких зверей; так же будут грызться и там, в аду подземном, в вечности. Страшен львиный гнев, страшна лютость волчья; но насколько страшнее дьявольски-человеческая злость этих двух, друг за другом бегающих с пронзительным, поросячьим визгом кусающихся, «голых и бледных теней»! Данте недаром вспоминает, по поводу этой свиной грызни, о великих всемирно-исторических войнах. Хлев откроют — объявят войну, и два великих народа, кинувшись друг на друга, будут грызться, как две выпущенные из хлева свиньи.

Тот, кто понял, как следует, это Дантово, два мира соединяющее знамение-символ, сколько раз, думая о земных делах, вспомнит ужас его неземной!

«Огненная змейка жалит мучимого грешника туда, откуда берется наша первая пища», — в пупок и, упав к ногам человека, лежит на земле, простертая. Пристально смотрит на нее ужаленный и молчит — «только зевает, как в лихорадочном ознобе или дремоте». Смотрит человек на змею, а змея — на человека. Пасть у нее дымится дымком зеленоватым, а у него — рана. Эти два дыма смешиваются, и двойное чудо совершается в них: превращение змеи в человека, и человека — в змею. Самое страшное здесь то, что это им обоим, хотя и по-разному, но одинаково нравится: хочет животное быть человеком — восстать из праха, возвыситься, а человек хочет быть животным — пасть во прах, унизиться. «Два естества их друг друга соответствуют так, что змея разделяет хвост на две ноги, а человек соединяет их в змеиный хвост». И каждое дальнейшее, согласное, совпадающее, «соответственное» изменение этих двух постепенно, как будто необходимо-естественно, превращающихся тел (в этой-то

естественной необходимости главный ужас) изображено с такою живостью, как бы внутреннего, в этих двух телах переживаемого опыта, что нам, точно уже не читающим о том, а видящим — осязающим то, что в них происходит, начинает казаться, что и с нашим собственным телом может произойти или где-то, когда-то происходило нечто подобное. Мы начинаем вдруг чувствовать в нашем собственном теле жалкую, как бы зародышевую, бескостность, мягкость, лепкость — страшно-уступчивую, на все формы готовую глину в руках ваятеля.[636]

Скажет ли изделие сделавшему его: зачем ты меня сделал таким?

Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для употребления почетного, а другой — для низкого (Рим. 9, 20–21), —

зверя изваять, или Ангела?

Так и в этом символе двух превращающихся тел земная действительность просвечивает сквозь неземную, механика — сквозь магию.

То, что можно бы назвать волею к ужасу, у Данте идет из тех же первозданных глубин существа его, как у св. Августина: «Я ужасаю других, потому что сам ужасаюсь, territus terreo».[637]

Если человек уже и здесь, на земле, кажется самому себе, по страшному слову Паскаля, «непонятным чудовищем», то тем более он может оказаться им в вечности.

«Мертвых душ» певцы — оба, Данте и Гоголь. Мог бы и тот сказать людям, как этот: «Замирает от ужаса душа моя при одном только предслышании загробного величия тех духовных высших творений Бога, пред которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь, весь умирающий состав мой, чуя исполинские возростания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая, какие страшилища от них подымутся».,[638][639]

Таковы две воскрешающие Дантовы магии — ваяния и живописи. Обе действуют во всей «Комедии», но первая — с наибольшей силою в «Аду», а вторая — в «Чистилище».

Только что Данте выходит из Ада, как очи и сердце ему услаждает разлитый по небу «нежнейший цвет восточного сапфира».[640] Не только видит он его глазами, но и всем телом чувствует; эту синеву чистейшую пьет, как умирающий от жажды — студеную воду. Радуге лучей, которыми утренняя звезда переливается на розовом небе, как исполинский алмаз, и радуге цветов, на изумрудно-зеленеющих лугах у подножия Святой горы Очищения, радуется, как только что прозревший слепой.

Если у живописи два начала — рисунок и краска, то первое

начало — во всей «Комедии», а второе — в «Чистилище». Кажется, именно здесь родилась вся живопись итальянского Возрождения, от опаловых, утренних сумерек Джиотто до янтарных, вечерних, — Джиорджионе.

Первая магия ваяния действует с наибольшею силою в «Аду»; вторая — живописи — в «Чистилище»; третья — музыки — в «Раю».

«В юности Данте больше всего услаждался музыкой, и всем лучшим певцам и музыкантам тех дней был другом», — вспоминает Боккачио.[641]

Может быть, в самом раннем детстве, еще до встречи с восьмилетней Биче Портинари, вслушиваясь в звуки флорентийских колоколов, Данте уже предчувствовал то, из чего родится его любовь и такая песнь любви, какой никогда еще не слышал мир, — Святая Поэма.

> Как в башенных часах, зовущих нас к молитве,
> В час утренний, когда невеста Божья
> Возлюбленного Жениха встречает, —
> Вращаются колеса, и звенят
> Колокола столь сладостно: «динь-динь»,
> Что сердце от любви, в блаженстве, тает, —
> Так звездные колеса надо мной
> С такой сладчайшей музыкой вращались,
> Что можно б выразить ее лишь там,
> Где радость наша сделается вечной.[642]

Главная, «магическая», воскрешающая сила древнеегипетских жрецов-заклинателей есть «верный голос», makronon. Та же сила у Данте: в самом порядке и звуке слов его заключена тайная магия: стоит переставить только одно слово или даже один слог, чтобы «верный голос» сделался неверным, и все очарование рассеялось, исчезла вся магия музыки.[643]

> Прекрасное созданье к нам летело,
> В одеждах белых и с таким лицом
> Как трепетанье утренней звезды.
> Par tremolando mattutina stella.[644]

Звуки последнего стиха таковы, что вызывают видение перед глазами слушателя так же неодолимо, как чудесная сила «колдовского внушения».

«Слышал я от самого Данте, что часто, в стихах своих,

заставлял он слова выражать не то, что они обыкновенно выражают у других поэтов», — вспоминает один из ранних истолкователей Данте;[645] это значит: в старых словах он находил новую музыку.

В самой новизне, девственности итальянского «народного языка», volgare, у Данте есть уже магия музыки. В первых звуках молодого языка — такая же неповторимость, невозвратность, единственность, как в первых словах и ласках любви. Многое можно сказать только в первый и единственный раз на том языке, на котором это еще никогда не было и никогда уже не будет сказано.

В песне все зависит от поющего голоса, а в стихах — от лада и звука речи. Стих совершенный непереводим, неповторим на чужом языке, и чем совершенней, тем неповторимей. Дантов стих — предел совершенства: тут между звуком слова и смыслом такая же связь, как между телом и душою; вынуть душу из одного тела и заключить в другое — нельзя: так сказанного на одном языке нельзя сказать на другом.

> Был час, когда паломника любви
> Волнует грустью колокол далекий,
> Как будто плачущий над смертью дня.
> Che paia il giorno pianger che si more.[646]

Пусть каждый читающий переведет эти стихи на свой родной язык и сравнит мертвые звуки перевода с живыми звуками подлинника, чтобы понять, что значит «верный голос» заклинателя, и почувствовать магию Дантовой музыки, воскрешающую мертвых бесконечною силою той «Любви, что движет солнце и другие звезды».

В серафимоподобном, не видимом, но слышимом теле «Божественной комедии», «поющем, вопиющем и глаголящем», — в троичных созвучиях терцин повторяется тысячекратно все одно и то же, воскрешающее мертвых, магически-заклинательное Три.

V. МЕХАНИКА ВЗРЫВОВ

«Молния Трех» — что это значит, понял бы лучше всех христиан, за последние семь веков, Данте. Если не прошлому и не настоящему, то будущему Данте ближе, чем кому-либо из христиан эти два слова, — одно, Гераклита: «молния — кормчий всего»;[647] другое, Иисуса:

Будет Сын человеческий в день Свой, как молния. (Лк. 17, 24.)

Что такое молния? Искра, соединяющая два электрических полюса; разряд двух противоборствующих, в грозовой туче накопленных сил; между Двумя — Третье; в мире вещественном нечто соответственное тому, что происходит в мире духовном, — огненное явление Трех. Молнийное число есть Три, и лучшее знаменье-символ Трех есть молния.

В мире, в человеке и в Боге, «противоположно-согласное» по Гераклитовой мудрости,[648] или по Троичной алгебре Шеллинга: — А, полюс отрицательный, — Отец; + А, полюс положительный, Сын; А, соединяющая Отца и Сына молния, — Дух. Мир начинает Отец, продолжает Сын, кончает Дух.

«Будет Сын человеческий в день Свой, как молния», значит: Второе Пришествие, конец мира, будет молнией Трех.

Тот разряд полярно-противоположных сил, который в порядке вещественном — физике-химии — мы называем «взрывом», в порядке духовном — в политике — мы называем «революцией». Чувство «прерыва» или «взрыва», — внезапного, то страшного, то желанного, но всегда потрясающего перехода из прошлого мира в будущий испытывают, более или менее, все участники политических и социальных революций. Чувство это, доведенное до своего религиозного предела, совпадает с тем, что в религиозном опыте христианства переживается как Апокалипсис, конец всемирной истории. В этом смысле Данте, кажущийся на поверхности своей уходящим в прошлое, на самом деле весь уходит в будущее; весь революционен, потому что весь апокалипсичен. Если он «несовременен» ни своему веку, ни нашему, то, может быть, не потому, что уже был, а потому, что еще не был и только будет.

«Мы находимся уже в конце времен» — это чувство конца всемирной истории — Апокалипсиса, у него первого, не в Церкви, а в миру, так живо, как, может быть, ни у кого.[649]

«Геометрический дух» Паскаля — воля к порядку и строю, к геометрической точности и правильности:

Я был тому геометру подобен,
Который ищет квадратуры круга, — [650]

т. е. в последнем счете, воля к несвободе, к неподвижности, у Данте — только извне, а внутри — воля к движению, к освобождению, хотя бы ценою всех порядков и строев, т. е. в последнем счете, воля к Революции, в смысле религиозном, более глубоком и окончательном, чем только политический и социальный смысл всех доныне бывших революций.

В этом именно, самом глубоком, религиозно-революционном существе своем, Данте — одно из величайших явлений человеческой воли, чем и определяется особенность, единственность его художественного творчества. Только одному из четырех великих, по силе творческой воли равных ему поэтов, Эсхилу — Данте подобен, а трем остальным — Гомеру, Шекспиру и Гёте — противоположен. Эти трое — созерцатели; Данте — деятель. Эти широки; Данте глубок. Эти «центробежны» —идут от себя к миру; Данте «центростремителен» — идет от мира к себе или к Богу. Весь Данте, il Dante (в том смысле, в каком люди XIV века называют этим именем «Божественную комедию»), Данте весь, в жизни и в творчестве, — одна прямая, в глубь, в человека, и в высь, в Бога, идущая линия; одна, в одну точку бьющая молния.

«Более напряженного, чем Данте, я не знаю ничего», — глубоко и верно понял Карлейль. Творчество Данте, так же, как и вся его жизнь, есть нечто, по степени напряженности, в самом деле, единственное в мире. Весь Данте, il Dante, — как слишком натянутая на луке, готовая лопнуть тетива; может быть, лук так натянут умирающим на поле битвы бойцом для того, чтобы пустить в сердце врага, с последним усилием, последнюю из колчана стрелу: этот враг — Смерть, а победа над ним — Воскресение.

Крайняя сжатость, сгущенность, сосредоточенность всего, что Данте думает и чувствует, — главная, и тоже единственная, ни с чем у других великих поэтов, кроме Эсхила, несравнимая сила Данте, — происходит от этой напряженности. Самые сильные слова у него — самые краткие, как будто невольно, из крепко сомкнутых уст срывающиеся, — такие, как этот упрек, обращенный к Беатриче земной:

Жалость убивает ваш смех. [651]
…Я смерть мою прощаю той,
Кто жалости ко мне не знала никогда; [652]

и упрек, обращенный к Беатриче Небесной:

Мне боль такая растерзала душу,
Что я упал без чувств, и что со мною было,
Она одна лишь знает.[653]

Или такие слова, как эти:

Ужели Ты, за нас распятый…
Святые очи отвратил от нас? — [654]

этот вопль человечества к Сыну, как будто отвечающий воплю Сына к Отцу: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты меня оставил?»

Самые деятельные люди — самые молчаливые; меньше всех говорит тот, кто больше всех делает. Данте — один из самых молчаливых, потому что один из самых деятельных людей в мире. Как это ни странно, главная сила этого великого художника слова не в слове, а в молчании.

Внутренняя жизнь человека безгранична; слово ограниченно: это чувствует Данте лучше других художников слова; лучше из всех чувствует, как относится то, что можно и надо сказать, к тому, о чем надо молчать. Чем глубже чувство, тем безмолвнее. Правда в чувстве, ложь в словах. Данте — самый молчаливый, потому что самый правдивый из всех говорящих художников. Так, как никто из них (может быть, опять кроме Эсхила), умеет он останавливаться там, где нужно; сдерживать самое неудержимое в себе, как всадник уздою сдерживает коня над пропастью:

…Узда искусства
Не позволяет дальше мне идти.[655]

Лучше Данте никто не исполнил мудрую заповедь древних мистерий «скрывать глубины», kryptein ta bathea.

Только о предпоследнем, главном для него, он говорит, а о последнем, главнейшем, молчит. В слове для него весь мир, а в молчании — Бог.

Творчество Данте взрывчато, потому что дух его революционен, а революция есть взрыв. Внутренний огонь для Данте горит не как лампада тихим и ровным пламенем, а внутренними вспышками, взрывами, как порох.

Данте, большой любитель всех точных знаний, мог бы согласиться с определением главного творческого метода своего,

как механики взрывов. Лучше многих нынешних философов понял бы он, что значит бергсоновская «мистика механики»,[656] потому что Бог для него есть «Первый Двигатель» небесных тел, «великих колес», rote magne,[657] и необходимость механики — законов движения, есть божественное чудо «любви, движущей солнце и другие звезды».

Только поняв эту «механику-мистику» взрывов, мы поймем главную особенность, единственность Дантова творчества.

Две геометрические точки — два слова, и между ними — молчание, на устах поэта, а в сердце читателя — взрыв; две грозовые тучи, а между ними — соединяющая молния. Главное искусство здесь заключается как бы в астрономической точности, верности этих двух слов, двух точек, между которыми находится взрывчатая область молчания, с пороховою миною, проложенной от сердца поэта — «делателя» — к сердцу читателя, с которым поэт хочет что-то сделать, а хочет он всегда одного — «взорвать», возмутить, опрокинуть, вознести на небо или низвергнуть в ад.

В этом астрономически точном искусстве Данте похож на того «старого портного», который «в темной лавке, в ушко иголки продевает нитку»; но здесь «нитка» — молния страсти в великом сердце поэта, а «ушко иголки» — малое и бесстрастное сердце читателя. Какая сила нужна, чтобы с такою точностью управлять молнией!

Может быть, все отдельные человеческие души уходят корнями своими, как растения в землю, в одну великую общую Душу человечества. Если так, то к ней-то и прокладывает путь Данте, как рудокоп к драгоценной руде; с нею-то он и говорит, ее-то и спрашивает в своих молчаниях, и она отвечает ему тоже молча, глухими, подземными гулами или огненными взрывами чувств, таких же простых, общих и вечных, как она сама.

Прелюбодейная жена, Франческа да Римини, вспоминает свою преступную в глазах людей и Богом осужденную, наказанную адом, но для нее самой, и здесь, в аду, все еще святую любовь к мужнину брату, Паоло Малатеста:

> Любовь, что благородным сердцем рано
> Овладевает, — овладела им
> К недолговечной прелести моей,
> Так у меня похищенной жестоко,
> Что все еще о том мне вспомнить больно.[658]

«К прелести моей» (в подлиннике сказано вернее, «верным голосом»: «к моему лицу прекрасному», de la bella persona, потому что для любящего все тело любимой так же лично, как лицо) —

вот одна из двух геометрических точек, а другая: «все еще мне больно», ancor m'offende; и между этими двумя точками, двумя словами, — молчание — «взрыв»: молния того лезвия, которым застигший любовников муж пронзает вместе обоих. В смерти соединятся они так же, как в любви; были «два одною плотью» в мгновенном вихре страсти, и будут — в вечном вихре ада:

> Те двое неразлучны в вечном вихре,
> И так легко-легко несутся в нем,[659]

Если бы Шекспир или Гёте написали трагедию о любви Франчески, то, может быть, сказанное там было бы слабее, чем умолчанное здесь. Душу человечества Данте спрашивает молча, и она отвечает ему, тоже молча, только символами-знаками, а если бы ответила словами, то, может быть, это были бы его же собственные слова:

> Я узнаю любви древнейшей пламя.[660]

Нарушив новую заповедь, человеческую, в браке, — нарушила ли Франческа, или исполнила заповедь Божию, древнейшую: «Да будут два одною плотью»? На этот безмолвный вопрос Данте могла бы ответить Душа человечества так же, как ответил Сын человеческий:

Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. (Ио. 8, 10–11.)

Как потрясен сам Данте этим ответом, видно из последних стихов песни:

> Меж тем, как говорил один из духов, —
> Другой, внимая молча, плакал так,
> Что я, от жалости лишившись чувств,
> Как тело мертвое, упал на землю.[661]

Брачный закон человеческий Франческа нарушила, а монна Пия исполнила; но и эта, невинная, так же погибла, как та, виновная.

Знатный гражданин Сиены, мессер Нэлло дэлла Пьетра, сначала нежно любил жену свою, монну Пию, а потом, изменив ей для другой, заточил ее в замок среди лихорадочных болот Мареммы, где умирала она недостаточно скоро для мужа и его

любовницы. Духу не имея убить ее сам, потому ли, что был трусом, или потому, что все еще помнил былую любовь свою, мессер Нэлло подкупил слугу для этого убийства, и тот, когда монна Пия стояла однажды у открытого окна, подкравшись к ней сзади, схватил ее и выбросил на площадь замка с такой высоты, что она разбилась насмерть.[662]

Встреченная Данте в преддверии Чистилища, тень ее молит жалобно:

> Увы! Когда вернешься ты на землю
> И отдохнешь от долгого пути,
> То вспомни обо мне. Я — Пия;
> В Сиене родилась, убита я в Маремме, —
> Как, знает тот, кто камень драгоценный
> В знак верности, мне на руку надел.[663]

Снова и здесь, все в той же «механике взрывов», — две точки — два слова: «убита» и «камень драгоценный», а между этими словами — вся умолчанная трагедия любви: между прозрачною голубизною сапфира на обручальном кольце — знаке, увы, обманувшей верности, и тусклою голубизною болотных туманов, — «черно-красная», perso, как воздух ада, на серых камнях замковой площади запекшаяся кровь.

Кто может вместить, да вместит (Мт. 19, 12), — брачную заповедь Отца и Сына. «Кто может?» — на этот безмолвный вопрос, во всех трагедиях любви отвечает Душа человечества: «Я не могу», — с тем огненным взрывом — возмущением, восстанием, — «революцией пола», — который, может быть, некогда «поколеблет силы небесные» в душе человечества.

В каменных, раскаленных докрасна, зияющих гробах мучаются еретики и вольнодумцы, восставшие на Бога; в их числе Дантова «первого друга» отец, флорентинец Кавальканти. Услышав тосканскую речь Данте, «высунул он из гроба голову до подбородка и оглядывался» так, как будто надеялся увидеть с Данте еще кого-то другого; когда же увидел, что нет никого, — сказал ему, плача:

> «Коль в эту мрачную темницу путь
> Тебе открыт певца высоким даром,
> То где ж мой сын? Зачем он не с тобой?»
> И я ему: «Не сам сюда пришел я,
> Но тот, кто ожидает там, —
> Меня привел; а сын ваш, Гвидо,
> Его, быть может, презирал».

В подлиннике: «имел презрение», ebba a disdegno.
Тогда, вскочив, он вскрикнул: «Как,
Его уж нет в живых, и сладостное солнце
Как ты сказал? „Имел“? Так значит,
Его очей потухших не ласкает?»
И видя, что замедлил я ответом,
Он навзничь пал во гроб и больше не вставал, — [664]

как бы второю смертью умер.

Снова и здесь, все в той же «механике взрывов», две точки — два слова: «имел — упал», ebbe — ricadde: и между ними молчание — взрыв:

Великая меня смутила жалость.[665]

Богом осужденных грешников жалеть — значит восставать на правосудие Божие: Данте это знает, и все-таки жалеет Франческу, Пию, Кавальканти, Фаринату, Уголино, отца невинных, в земном аду замученных детей; жалеет все «обиженные души»,[666] — всех «мучеников» ада.[667]

Злейший в мире человек не пожелает врагу своему злейшему вечных мук ада. А Бог пожелал? Если вечно будет грызть Уголино череп Руджиеро, «как жадный пес грызет обглоданную кость»;[668] если муки ада вечны, то, в лучшем случае, Бог и дьявол — два равных в поединке бойца, а в худшем, — дьявол сильнее Бога.

«Как оправдается человек перед Богом?» — это один вопрос Иова-Данте (Иов. 9, 2); но есть и другой, умолчанный Данте, произнесенный Иовом: как оправдается Бог перед человеком?

О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий — с близким своим. Вот я кричу: «обида», и никто не слушает; вопию, и нет суда. (Иов. 18, 21; 19, 7.)

Или Бог, или ад; чтобы оправдать Бога, надо разрушить ад: вот к чему ведет вся Дантова «механика-мистика взрывов». Этого он сам не знает, и этого не хочет; но противиться этому не может так же, как все, одержимые Духом, не могут противиться тому, что с ними делает Дух. Самое глубокое в Данте есть воля к разряду полярно противоположных сил в мире, в человеке и в Боге, — к той молнии, соединяющей отца и сына в Духе, которой кончится мир: «Будет Сын человеческий в день Свой, как молния».

Тайное имя будущего Данте есть имя ближайшего к нему ученика господня, Иоанна: Боанергес, «Сын Грома», «Сын Молнии» (Мк. 3, 17).

Я все хотел постигнуть и не мог, —
Что значит Три…
Вдруг молнией был поражен мой ум, —
Я понял все…

Понял Данте, как никто из христиан за семь последних веков, что значит «молния Трех».

VI. ЕСТЬ ЛИ АД?

Ад есть — это для верующих, религиозно опытных, не слепых, а зрячих людей так же несомненно, как то, что есть безначальное Зло — диавол. Чтобы отрицать существование ада, нужно отвергнуть величайший и подлиннейший из всех религиозных опытов человечества, — тот, что записан в Евангелии.

Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. (Мк. 25, 41.)

И ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.

Будет «тьма кромешная», «где червь их не умирает, и огонь не угасает» (Мк. 9, 44), — эти таинственные слова в речах Иисуса повторяются, конечно, недаром так часто и грозно.

«Что есть ад?.. Страдание о том, что нельзя уже любить. Раз, в бесконечном бытии… дана была духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: „Я есмь и я люблю“. И что же? Отвергло оно… дар бесценный, не возлюбило… и осталось бесчувственным. Таковой, уже отошедший от земли, видит и лоно Авраамово… и рай созерцает, и к Господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что ко Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с любившими, любовью их пренебрегший».[669] Этот религиозный опыт старца Зосимы, а может быть, и самого Достоевского, совпадает с опытом Дантова Ада. Можно совсем отвергнуть загробную жизнь, но приняв ее, нельзя не принять и того, что начатое здесь, во времени, продолжится в вечности. Если в жизни земной величайшее блаженство — любить, а потеря любви — страданье величайшее, то тем более, в жизни вечной, когда мы увидим начало всякой жизни — Любовь, уже лицом к лицу. Это и значит: кто любит, тот знает, что любовь есть блаженство величайшее — рай, а потеря любви — мука величайшая — ад.

Есть ад — это несомненно; но так же ли несомненно и то, что муки ада вечны? Слово «вечный», на арамейском языке Иисуса, не имеет того отвлеченно-метафизического смысла «бесконечного времени», как греческое слово aionion, и слова того же смысла, на философском языке, от Аристотеля до Канта. «Вечность», «век», на языке Иисуса, так же подобны мигу, как бесконечно длительному времени: вечностью может казаться и миг для крайней меры мучений. Словом «вечный» определяется не количество времени, в которое длятся муки, а качество мук.

Сказываю тебе: не выйдешь оттуда (из темницы), пока не отдашь и последней полушки. (Лк. 12, 59.)

Значит, когда-нибудь отдано будет все, и кончится заключение в темнице ада.

Что же значит «вечность мук» в Евангелии?

Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего сего (Мт. 13, 40),

в конце «вечности земной» — «земного века», tou aionos. «Плевелы» — «сыны Лукавого» — «мнимые», «не-сущие», — сгорят, как «солома на огне»; миг сгорания и будет для них «вечностью мук».

«Что такое ад?» — за этим вопросом встает для Данте-человека и всего человечества другой вопрос: «Что такое зло?» «Я искал мучительно, откуда зло, unde sit malum… и не было исхода», — говорит св. Августин о начале жизни своей и мог бы сказать о всей жизни.[670] — «Бога моего не смея обвинять».[671] На вопрос: «Откуда зло?» — он не может и не хочет ответить: «от Бога», и в этом бесконечно прав, потому что во зле не оправданный Бог хуже несущего; людям лучше сказать: «Нет Бога», чем сказать: «Зло от Бога». Но не это ли именно и сказано в надписи на двери Дантова ада:

> Создало меня Всемогущество Божие,
> Высшая Мудрость и Первая Любовь.[672]

Изобретательница вечных мук для ею же созданных тварей, истязательница вечная, — «Первая Любовь»: может ли это быть? Очень вероятно, что если не в уме, то в сердце Данте подымался иногда этот вопрос.

Нет никакого сомнения, что Данте был или, по крайней мере, хотел быть правоверным католиком. Вечные муки ада суть догмат Церкви. «Малым будет число спасшихся, по сравнению с числом погибших».[673] — «Но если бы даже никто не спасся, то люди и тогда не могли бы обвинить Бога в несправедливости».[674] — «Бог справедлив даже тогда, когда человек не мог бы сделать без несправедливости того, что делает Бог».[675] Сколько бы этих страшных слов Августина ни повторял Данте в уме, — в сердце его незаглушим вопрос: «Откуда зло? как оправдать создание мира, лежащего во зле, не допустив одного из двух: или Бог всемогущ, но не всеблаг; или всеблаг, но не всемогущ?»

Правда «Божественной комедии» не в том, как Данте отвечает на вопрос: «Что такое Зло?», а в том, как он об этом спрашивает. «Божественная комедия» есть ответ на человеческую трагедию не потому, что разум Данте успокаивается во внешнем, неподвижном, церковном догмате, а потому, что сердце его и, вместе с ним, сердце всего человечества, мучается и не может и

не хочет успокоиться во внутреннем, непрестанно движущемся опыте Зла и Добра, Ада и Рая.

Вечное и подлинное здесь не Ад, а сам Данте, человек, и все человечество, вместе с ним сходящее в Ад, делающее или принуждаемое Данте сделать тот же опыт Зла и Добра, какой делает он сам. Заживо еще, все люди сходят или сойдут в Ад; знают или узнают все, за пять секунд, минут, часов, дней, лет или десятилетий до смерти, «вечные муки» Ада.

Ленин, говорят, умирая в Архангельском дворце под Москвой, кричал целыми днями и ночами, может быть, не от физических мук, а от ужасных видений бреда, таким нечеловеческим криком, что собаки издалека отвечали на него протяжным воем. И слушая, как сливались эти два голоса, звериный и человеческий, сподвижники Ленина, самые отъявленные из коммунистов-безбожников, чувствовали, может быть, неотразимую действительность того, что религиозный опыт христианства называет «вечными муками ада».

Заживо еще люди сходят в Ад, но никто из них об этом не говорит, потому что, когда это с ними делается, им уже не до того, чтоб говорить. Данте — первый и единственный человек, сказавший об этом так, что все люди услышали, или могли услышать; узнали от него или могли бы узнать все кое-что о сошествии в Ад, с величайшею для себя и действительнейшею пользою, потому что, если тот же путь, рано или поздно, придется пройти всем, то лучше знать заранее, что ждет их на этом пути; или, другими словами, религиозный опыт Данте, страшный и небывалый, единственный записанный опыт человека, сходившего заживо в Ад и вышедшего из Ада, погибавшего и спасшегося, может быть спасителен для всего человечества.

Что такое Дантов «Ад» в только художественной оценке людей нашего времени? Дикая легенда средних веков, нечто подобное орудию инквизиционной пытки; как бы черный, обугленный и окровавленный кол, увитый вязью таких неувядаемо свежих и благоуханных цветов, как Франческа да Римини, Улисс, Капаней, Фарината, Уголино. Снять бы цветы и уничтожить кол. Но этого сделать нельзя, потому что корни цветов, каким-то чудом, вросли в него так, что оторвать их от него нельзя, не убив. Только ради этих цветов сохраняется кол; ложная религия Данте прощается ему ради истинной поэзии. Вот что такое Дантов «Ад», в нелицемерной художественной оценке наших дней. Но, может быть, в оценке религиозной, он будет чем-то совсем иным, и только поняв, чем он будет, мы поймем, что сделал Данте.

Внутреннее содержание «Комедии» так же, как и внешняя

форма — язык, — простонародно, vulgare. Данте для образов «Ада» заимствовал то, что мог слышать от простых людей, на площадях и улицах. Если те две веронские женщины, которые думали, что Данте сходил заживо в Ад, так хорошо понимали и так простодушно верили ему, то потому, что он говорил с ними на их языке, их глазами видел, их сердцем чувствовал. Гордый Данте и здесь смиряется; в духе благороднейший из благородных, избраннейший среди избранных, он идет ко всем, потому что знает, что сказанное — сделанное им — нужно для всех.

Но будучи почти столь же великим для своего времени ученым, как художником, и обладая таким научным ясновидением, что уже предчувствовал, может быть, Ньютонов закон мирового тяготения,[676] мог ли Данте верить, что Сатана, падая с неба, пробил теменем воронкообразную, до центра земли уходящую дыру — Ад; и что этим падением устрашенные воды морей схлынули с гемисферы северной в южную, обнажая материки на той и затопляя их на этой, и что телом Сатаны выдавленная земля образовала на южном полюсе остроконечную, как еловая шишка, гору Чистилища?[677]

Очень вероятно, что все физическое строение Ада для Данте если не вполне, то отчасти так же символично, иносказательно, как для Гёте подземное царство «Матерей». Но сошествие Фауста к Матерям, в каком-то нездешнем порядке, так же для Гёте действительно, как для Данте — его сошествие в Ад. Внутренняя действительность воплощенного в Мефистофеле «Духа небытия» нисколько не уменьшается для Гёте ни козлиным копытом, ни красным блеском адского пламени; так же подлинный ужас нездешнего опыта — «холод междупланетных пространств», которым обвеян «дрянной, мелкий черт» Ивана Карамазова, не уменьшается для Достоевского тем, что, если этого черта раздеть, то наверно отыщется «хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки» и у бесов Дантова Ада. Вечною сказочностью этого Ада нисколько не уменьшается внутренняя подлинность таких религиозных опытов, как эти: память у мертвых идет не к прошлому, назад, как у живых, а к будущему, вперед;[678] «надеяться на смерть они уже не могут»;[679] все они спешат за Ахерон — черту, отделяющую вечность от времени, «потому что правосудьем Божьим так гонимы, что страх для них становится желаньем»;[680] в теле человека, чья душа уже находится в аду, может поселиться, вместо души, дьявол.[681]

По неотразимой, как бы здешней действительности таких нездешних опытов можно убедиться, что Данте где-то действительно был, где до него никто из живых не бывал, и что-то действительно увидел — узнал, чего не видит и не знает никто.

25 марта 1300 года, в Страстную пятницу, на восходе солнца, произошло одно из величайших событий не только Всемирной, но и Священной Истории: Данте Алигьери, флорентинец, начал сошествие в Ад:

Я не могу сказать, как я туда зашел, —
Так полон был я смутным сном,
в тот миг,
Когда я верный путь уже покинул.[682]
…И я упал, как сном охваченный внезапным.[683]

Этот сон, как бы из вечного гранита изваянный, — вот что такое Дантов Ад. Книгу о жизни своей называет св. Тереза Авильская: «Моя Душа», mi alma; так же мог бы назвать и Данте книгу о жизни своей, «Комедию».[684] «Свирепейшим негодованием растерзанное сердце его, saevissimo indognatione cor dilaceratum», бьющееся в этой книге, — сердце всего человечества.

«Ревность по доме Твоем снедает меня». — «Ревность люта, как преисподняя» — Ад (Песнь Песн. 8, 7). Весь огонь Дантова Ада зажжен этой «снедающей ревностью», — как бы внутренности выворачивающим негодованием, возмущением Данте против торжествующего в мире, неотомщенного зла:

О, Господи, когда же, наконец,
Увижу я Твое святое мщенье,
Что делает нам сладостным Твой гнев?[685]

…О, Божий гнев, зачем же дремлешь ты?[686]

…Доколе же, о, Господи, Ты терпишь?[687]

— в этом вопле Блаженных как бы вечная мука Ада для них в самом Раю.

…Души убиенных за слово Божие… увидел я под жертвенником. И возопили они громким голосом, говоря: доколе Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? — И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. (Откр. 6, 9—11.)

«Белые одежды» принять и «успокоиться», хотя бы только «на малое время», Данте не хочет, или не может; требует «святого мщения» немедленно, как обещала ему Беатриче, после того вопля Блаженных в Раю:

…Еще до смерти
Увидишь ты святое мщенье Божье.[688]

«Бог пытке невинных посмеивается; земля отдана в руки злодеев; лица судей ее Он закрывает, — если не он, то кто же?» — этот вечный вопрос Иова-Данте, вопрос человека и всего человечества, — вечная мука Ада.

Есть Бог, судящий на земле (Пс. 57, 12) — не только на небе когда-нибудь, в вечности, но и на земле, сейчас, — в этом для Данте главное, — тот неугасимый огонь, которым распаляется в нем жажда «святого мщения», подобная пламени Ада.

«Гордая душа» у Данте, alma degnosa, — не смиренная — не-смиримая.[689] Что это, — грех или иная, новая святость, не та, что у св. Франциска Ассизского и у всех святых? Если бы все люди были так же покорны и смиренны, как св. Франциск; если бы никто никогда на земле не возмущался против мирового зла, как Иов и Данте, то не было бы «нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (II Петр. 3, 133); не было бы их никогда, если бы не сказал Возмутитель кротчайший и смиреннейший:

Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле. Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный.

Если бы Агнец не был и Львом, то искупление мира не совершилось бы.

Все строение Дантова Ада может быть разрушено, но «душа мятежная», «дух возмущенный», вопиющий из ада — из мира: «доколе ж, Господи?» — останется.

VII. РАЗРУШЕНИЕ АДА

«Бог есть виновник зла, как наказания, но не как преступления», — учит св. Фома Аквинский, но не отвечает на вопрос о происхождении зла, а только обходит его, потому что Бог здесь все-таки признан «виновником зла», Deus est auctor mali, а весь вопрос в том, как оправдать Бога во зле.[690] Так же не отвечает на вопрос и Данте.

> Ангелов увлек в свое паденье
> Проклятою гордыней тот, кого,
> Раздавленного тяжестью миров,
> Ты видел в безднах ада.[691]

Дантов Люцифер не страшен и не соблазнителен, потому что, при всей внешней огромности, внутренне мал и ничтожен. Это нелепое, трехликое чудовище, пугало для маленьких детей, слишком не похож на того, о ком сам Данте знает, что некогда был он «благороднейшим из всех созданий»,[692] и о ком знает Иов, что «был день, когда пришли сыны Божий предстать пред Господа: между ними пришел и Сатана» (Иов. 1, 6). Дантов Люцифер — жалкая, замерзшая в вечных льдах, раздавленная всею тяжестью миров и в сердце земли железными цепями скованная «Летучая Мышь», беспомощно махающая крыльями, как ветряная мельница, жующая трех, может быть, вовсе не величайших грешников, — такая безвредная, что Данте и Виргилий ползут по шерсти ее, как блохи, и она их не чувствует, — самое слабое в мире существо.[693] А настоящий дьявол — существо, после Бога, сильнейшее, по крайней мере здесь, на земле, для таких слабых существ, как люди. Данте и это знает: «дьявол — злой червь, пронзающий весь мир», источил его, как гнилое яблоко.[694] Но если в мире, создании Божием, — такая червоточина Зла, то будет ли побеждено зло добром, дьявол Богом, — еще неизвестно.

Если Христос воистину воскрес, «смертью смерть попрал», то и державу смерти, Ад, победил. Но никаких следов не осталось в Аду от этой победы, кроме трех ничтожных «развалин», ruina;[695] только об одной из них — разрушенной арке моста над шестой ямой восьмого круга — помнят бесы, что она разрушена сошествием в ад Христа.[696] В ад сошел и «сокрушил врата медные, вереи железные сломал» (Пс. 106, 16), — этого на двери Дантова Ада не видно: так же нетронута она, крепко замкнута и

по сошествии Христа, как до него.

«Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55), — на этот вопрос мог бы ответить царь Ада, Сатана: «Все еще там же, где были всегда, — в обоих адах, временном и вечном».

— «Входящие, оставьте все надежды», и надежду на Него, мнимого Победителя Ада. Князю мира сего, уже и сейчас принадлежит большая часть этого мира и, по крайней мере, третья часть того — Ад; но и во второй части, в Чистилище, диавол страшно силен: только что древний Змий появляется там, на цветущем лугу, в виде крошечной «ехидны», biscia, как все полуспасенные души бегут от него в ужасе.[697] И в Земном Раю он все еще так силен, что разрушает «колесницу Христову», Церковь.[698] И даже в Раю Небесном сила его не побеждена окончательно: когда Апостол Петр говорит о превращении Церкви в «помойную яму, где смешаны кровь и грязь, на радость Сатане», — красное зарево вспыхивает на небе:

> Тогда все небо покраснело так,
> Как на восходе иль закате солнца
> Краснеет густо грозовая туча.[699]

Это зарево — как бы взрыв огня — Ада — в Раю. Вот как хорошо знает Данте силу не мнимого диавола, нелепого и жалкого, почти смешного, которого видит в сердце Ада, а настоящего, который в Дантовом Аду если не отсутствует, то остается невидимым, и чей только бледный отблеск мелькает иногда на лице таких «великодушных» грешников, «презрителей Ада», как Фарината, Улисс, Капаней, а яснее всего, может быть, на лице ему, Данте, «родной души», Франчески да Римини.

Кажется иногда, что есть у Данте, сходящего в Ад, кроме Вергилия, еще другой, невидимый Спутник — не светлый и не темный, а Сумеречный Ангел:

> То не был ада дух ужасный.
> Порочный мученик, о нет!
> Он был похож на вечер ясный, —
> Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.[700]

Может быть, в спутнике этом самое страшное и соблазнительное — то, что он так похож иногда на того, кому он сопутствует: «дух возмущенный» в них обоих — один.

Только ли «ревность люта, как преисподняя» — Ад? Нет, и жалость тоже: это узнает Данте, увидев муки Ада. Прежде чем в

него сойти, он уже предчувствует, что самым для него страшным в Аду будет «великое борение с жалостью»:

> День уходил; уже темневший воздух
> Покоил всех, живущих на земле,
> От их трудов, и только я один
> Готовился начать труднейший путь,
> И с жалостью великое боренье
> Мне предстояло.[701]

И, видя муки Ада, он изнемогает в этом борении:

> Великая меня смутила жалость.[702]

Сколько бы ни укорял его добрый вождь, Вергилий:

> Ужель и ты — один из тех безумцев,
> Кто осужденным Богом сострадает?
> Здесь жалость в том живет, кто не жалеет[703]

— эти хитрые доводы разума не заглушают простого голоса сердца, и все-таки первое естественное чувство, при виде мук, — жалеть.

> Здесь вздохи, плачи, громкие стенанья
> Звучали в воздухе беззвездном так,
> Что, внемля им, и я заплакал,[704]
> Вид стольких мук так помутил мне очи,
> Что одного хотел я — плакать, плакать.[705]

Вся душа его исходит в этих слезах, истаивает от жалости, как воск — от огня.

Самая невыносимая из всех человеческих мук — бессильная жалость: видеть, как близкий человек, или даже далекий, но невинный, страдает, хотеть ему помочь и знать, что помочь нельзя ничем. Если эта мука слишком долго длится, то жалеющий как бы сходит с ума от жалости и не знает, что ему делать, — себя убить или того, кого он жалеет. Кажется, нечто подобное происходило и с Данте, в Аду. Надо удивляться не тому, что он иногда почти сходит с ума от всего, что там видит, а тому, что не совсем и не навсегда лишается рассудка.

В последней, десятой, «Злой Яме», Malebolge, где мучаются

фальшивомонетчики, такой был смрад от тел гниющих, как если бы все больные гнилой горячкой «из больниц Мареммы, Вальдикьяны и Сардиньи свалены были в одну общую яму».[706] Кажется иногда, что сам Данте, надышавшись этого смрада, заражается гнилою горячкою Ада и, в беспамятстве бреда, уже не знает, что говорит и что делает.

«Кто ты?» — спрашивает он, нечаянно ударив ногой по лицу одного из замерзших в Ледяном Озере. Но тот не хочет назвать себя и только ругается кощунственно, проклиная Бога или диавола, мучителя.

Тогда, схватив его за чуб, я крикнул:
«Себя назвать ты должен, должен будешь,
Иль не останется на голове твоей
Ни волоска!» — «Так пусть же облысею, —
Он мне в ответ, — себя не назову,
И моего лица ты не увидишь!»
Уж на руку себе я намотал
Все волосы его и больше, чем одну
Я вырвал прядь, а он, скосив глаза
И пряча от меня лицо, залаял.[707]

Кто в эту минуту страшнее, безумнее, — мучимый грешник или мучающий праведник?

В пятом круге, при переправе через Стикс, утопающая тень грешника высовывает голову и руки из липкой и зловонной грязи, чтобы ухватиться за край ладьи.

«Кто ты, сюда до времени сошедший?»
Так он спросил, и я ему в ответ:
«Сюда пришел, но здесь я не останусь.
А кто ты сам, покрытый гнусной грязью?»
И он: «Я тот, кто плачет, видишь!»

Этих двух слов: «кто плачет», казалось бы, достаточно, чтобы напомнить Данте о вечном человеческом братстве в вечных муках двойного ада, земного и подземного. Но страх лютой жалости в нем так силен, что он спасается, бежит от него в безумие, в беспамятство, и, как это часто бывает с людьми, слишком страдающими от жалости, ожесточает сердце свое, чтобы не жалеть — не страдать.

… «Я тот, кто плачет, видишь!»

«Так с плачем же своим и оставайся! —
Воскликнул я. — Под всей твоею грязью
Я узнаю тебя!» Тогда он руки
К ладье простер, но оттолкнул его
Учитель и сказал: «Прочь, пес нечистый!»
Потом меня он обнял и, в уста
Поцеловав, воскликнул:
«О гордая душа' Благословенна
Носившая тебя во чреве!»

Худшего места и времени, кажется, нельзя было выбрать для такого благословения:

И я в ответ: «Хотелось бы, учитель,
Увидеть мне, как он в грязи утонет прежде,
Чем из нее мы выйдем!» — «Не успеешь
Ты берега достигнуть, — он сказал, —
Как утолишь свое желание»…
И тотчас Увидел я, как тех нечистых псов
Вся мерзостная свора устремилась
Так яростно, чтоб растерзать его,
Что все еще за то благодарю я Бога.[708]

Кто, в эту минуту, в большем позоре, — тот, «в липкой грязи», или этот, во славе, венчанный Вергилием? Мог ли бы Данте, один из благороднейших в мире людей, говорить и делать нечто подобное, если б не сошел с ума?

Мука грешников, погруженных с головой в вечные льды, которым плакать мешают все новые, непролитые, на глазах их леденеющие слезы, больше всего похожа на муку самого Данте: вот, может быть, почему, глядя на них, он больше всего сходит с ума.

«Снимите с глаз моих покров жестокий!» — молит один из них, и Данте обещает ему это сделать, под страшною клятвою:

… «Скажи мне, кто ты,
И если глаз твоих я не открою,
То пусть и я сойду на дно тех льдов кромешных!»
И он в ответ: «Я — инок Альбериго…
О, протяни же руку поскорей,
Не медли же, открой, открой мне очи!»
Но я их не открыл, и эта низость
Зачтется мне, я знаю, в благородство.[709]

Кто кого побеждает здесь «благородством» или «низостью», — обманутый грешник или обманувший праведник? Самое страшное тут, может быть, то, что самому Данте это как будто не страшно. Даже в таком припадке безумия наблюдает он за собой, как за посторонним; все видит, все сознает, — ничего от себя и от других не скрывает, — ни даже этой хитрости сумасшедшего:

Коль хочешь, друг, чтоб я тебе помог,
Скажи мне, кто ты…

Но как же не узнает он, чьи глаза глянули на него сквозь наплаканную ледяную глыбу слез, чей голос молит его: «открой мне очи!», как в нем не узнает он себя самого? Или узнает и, еще больше обезумев от страха, еще лютее ожесточает сердце свое против лютой жалости? Но как бы ни ожесточал его, — не ожесточить до конца. Эти мгновенные припадки безумия проходят так же внезапно, как наступают, и снова вся душа его истаивает от жалости, как воск — от огня.

Если трудно не жалеть и низкие души в муках ада, то насколько труднее — высокие.

Томит меня великое желанье
Узнать судьбу тех доблестных мужей,
Что отдали добру всю душу…
На небе ли блаженствуют они,
Иль мучатся в аду? — [710]

спрашивает Данте одну из этих душ и не может или не хочет поверить, что мучаются в Аду и они, эти подвижники добра. Только что видит их издали, как уже чувствует, что они ему — «родные».

Коль от огня была бы мне защита,
Я бросился б к родным теням в огонь,
И думаю, позволил бы учитель
Мне это сделать…

Если бы позволил, то, значит, и он не так уверен, как это кажется, — что «осужденных Богом жалеть могут только безумцы».

И я сказал: «О, верьте, участь ваша
Внушает жалость мне, а не презренье,
И не умрет та жалость никогда…
Мы — из одной земли, и ваши имена
И ваши подвиги всегда я вспоминаю,
Как только слышу я о вас».[711]

С легким сердцем проклясть их и отречься от них он не может, потому что все они слишком похожи на него: так же любят и страдают, как он; так же горды и мятежны; так же, делая, может быть, зло, хотели добра; так же гонимы и презрены людьми.

«Мы — из одной земли»: вот почему великий грешник Данте не может, не хочет, не должен быть святым; он должен поднять за собой к небу всю тяжесть грешной земли. Может быть, он и сам не знает, что больше любит, — небо или землю; что для него действительнее, роднее, святее, — тот мир или этот. Если бы он покинул землю, как покидают ее почти все святые, то с какою легкостью вознесся бы на небо! Но вот, не хочет, не может, не должен покинуть; вместе со всею грешной землей погибнет или спасется. Здесь-то и начинается для Данте, человека и всего человечества, путь к новой святости уже не во Втором Царстве Сына, а в Третьем Царстве Духа.

В огненной столице Ада, в раскаленных каменных, зияющих гробах, мучаются «ересиархи» и вольнодумцы-безбожники.

…Вдруг услыхал я голос:
«О, ты, земли Тосканской обитатель,
По огненному городу идущий,
Живой, — прошу тебя, остановись!
Мне звук твоих речей напоминает
О той моей отчизне благородной,
Которой, может быть, я в тягость был»…

Это голос великого гражданина Флоренции, Фаринаты дэльи Уберти, спасшего отечество.

Он поднялся из огненного гроба,
С лицом таким надменным и спокойным,
Как будто ад великое презренье
Ему внушал.[712]

Кажется, этого жалеть не надо: он так могуч и непреклонен,

так подобен великому духовному праотцу своему, титану Прометею. Нет, жалок и он. «Я, может быть, отчизне в тягость был», — это смиренное слово в гордых устах — не упрек и не жалоба; но такая бесконечно тихая грусть слышится в нем, что видно, как и этот могучий бессилен и беззащитен в любви. Память о беспощадно изгнавшей его, неблагодарной отчизне жжет ему душу больнее, чем тело жжет огонь.

В третьем круге Ада мучаются «богохульники», под вечным огненным дождем.

> И падали на всю песчаную равнину
> Так медленно те огненные хлопья
> Как снег, в безветренном затишье Альп…
> …И вспыхивал от них песок, как трут,
> Под выбивающим огонь кремнем…
> …И я спросил учителя: «Кто этот,
> Там на песке простершийся, огромный?»

Смертный человек, один из семи вождей Фиванских, Капаней, так же, как Фарината, скованному титану Прометею подобен.

Кто такие Титаны? Злые ли демоны? Нет, древние боги, оклеветанные жертвы новых богов, человеколюбцы и страстотерпцы, такие же, как все невинные «мученики» Ада.

> Дети Небес и Земли, венчанные славой,
> Титаны, Пращуры пращуров наших, живущие в Тартаре темном.
> Вы — родники и начала всей страждущей твари, —

молятся им Орфики.[713]

> …И, услыхав, что говорю о нем,
> Он закричал: «Каков я был живой, —
> Таков и мертвый! Пусть же утомит
> Бог кузнеца, чьих молний остриями
> Я был пронзен, в мой день последний…
> Пусть истощит все молнии громов, —
> Он радостного мщенья не узнает!»

В древнего Титана вырастает Капаней, а Виргилий умаляется в смиренного монашка Доминиканского ордена.

«О, Капаней, гордыней непреклонной
Ты сам себя казнишь: за ярость ярость
Неутолимая, — вот злая казнь,
Тебя достойная!» И, обратившись
Опять ко мне, он продолжал спокойней:
«Там, на земле, он Бога презирал,
И здесь, в аду, все так же презирает».[714]

Бог, человеконенавистник и человекоубийца, творец двух адов, временного и вечного, — не Бог, а диавол: такого мнимого Бога презирать — значит Истинного чтить. Если это Данте не понимает умом, то сердцем чувствует; если в душе своей, «дневной», в сознании, — он с Вергилием, то бессознательно, в душе «ночной», — с Капанеем; только правоверный католик — с тем, а с этим — нечто большее. «Было в душе моей разделение». Не было в нем никогда большего «разделения» — раздирания, растерзания души, чем это.

Может быть, и Ахилл, «сражавшийся из-за любви до смерти», так же невинно страдает в Аду, как смертный титан, Капаней.[715]

Медленно проходит мимо Данте и другого великого, из-за любви страдальца, Язона царственная тень:

Скорбит, но мнится, никакая скорбь
Из глаз его исторгнуть слез не может:
Такое все еще величье в нем, — [716]

говорит восхищенный Виргилий, как будто восхищаться величьем осужденных Богом — не такое же «безумье», как их жалеть.

Душу свою погубил Улисс, новых земель открыватель, за божественную радость познания. Цели уже почти достиг — увидел вдали берег новой земли, может быть, той самой, которую некогда увидит Колумб:

Обрадовались мы, но ненадолго:
Вдруг радость наша обратилась в плач, —
когда налетевшая буря разбила корабль, —
И как угодно было то Другому, —
Нас поглотив, сомкнулся океан.[717]

Кто этот «Другой», — Бог или диавол, — знает ли Улисс, знает ли сам Данте?

В буре земной погиб Улисс, а в вечной буре Ада двух погибших любовников, Паоло и Франчески, обнявшиеся тени реют так легко, что кажется, не буря уносит их, а сами летят они вольно туда, куда влечет их сила любви, чьих крепких уз и Ад не расторг. Там, на земле, они друг друга любили так, что и здесь, в Аду, неразлучны навеки. «Что Бог сочетает, того человек да не разлучает», — не разлучит и Бог.

Я на земле его любила так,
Что он меня и здесь, как видишь, не покинул.[718]

В этих двух словах: «не покинул», — все торжество вечной любви над вечными муками Ада; крепче смерти любовь, и крепче Ада.

От жалости к тебе, Франческа, плачу.[719]

Плачет, может быть, не только от жалости, но и от восторга, потому что чувствует вдруг, понимает, если не умом, то сердцем, что прекраснее, чище, святее такой любви нет ничего на земле, а может быть, и на небе.

Я в них узнал обиженные души.[720]

Обиженные кем? Может быть, для того и сходит с ума, чтоб об этом не думать; спасается в безумье.

Кажется, «обиженные души» он узнает не только в них, но и во всех невинных «мучениках» Ада, martiri,[721] — страшное слово в устах правоверного католика об осужденных Богом. Вслушивается в вопль, доносящийся к нему из тех огненных гробов, где мучаются ересиархи, — вслушивается, и вдруг начинает ему казаться, что и это вопль «несчастных обиженных».[722]

Только ли великие и благородные души торжествуют над муками Ада? Нет, и малые, низшие, если могут, хотя бы на одно мгновение, возвыситься, возмутиться за то, что кем-то, в чем-то «обижены».

Мелкого воришки-святотатца, ограбившего ризницу Пистойского собора, Ванни Фуччи, жалкая душонка мучается в яме, кишащей ядовитыми гадами. Вдруг, «подняв руки и сложив пальцы в два непристойных знака, fiche, он воскликнул»:

«Возьми их, Боже: это для Тебя!»

но тотчас две змеи казнят богохульника: горло обвив, одна сдавила его так, как будто хотела сказать: «Ты этого больше не скажешь!», а другая связала руки его, чтоб «непристойных знаков» больше делать не мог.

И с той поры мне милы стали змеи, —

заключает Данте, забыв, чей образ — древний Змей Искуситель. Радоваться должен бы дьявол богохульству, а не казнить за него. Низкую душу змеи казнят за что-то другое. За что же?

> Не видел я во всем аду другого духа,
> Столь гордого, в восстании на Бога;
> Ни даже Капаней столь не был горд, — [723]

удивляется Данте и недоумевает, а может быть, где-то, в самой, самой темной, тайной глубине души, откуда и находит на него безумие, чему-то сочувствует, в этом «гордом восстании», — на кого, на Бога или дьявола, — в этом весь вопрос. Низкой душе Ванни Фуччи, в ту минуту, когда он делает свой «непристойный знак», сам не зная, кому и за что, — внушает ад такое же «великое презренье», как и высоким душам Фаринаты, Франчески, Капанея, Улисса — всех великих презрителей Ада.

Что же дает силу им всем, великим и малым, высоким и низким, торжествовать над Адом? Может быть, и этого Данте не понимает умом, но сердцем чувствует: ад — насилье, а душа — свобода; этого божественного дара не отнимет у нее никто; этого царственного знака помазания с чела ее никто не сотрет. Кем бы ни был создан ад, Богом или диаволом, — праведно и здесь, в аду, восстание души человеческой против насилия, во имя свободы. «Бог поставил свободную волю своего творения так высоко, что подчинил ей судьбу всего дела своего», — мудро и свято понял Шеллинг.[724] Если вечны муки ада, то и восстание на них вечно. Этого не может не чувствовать один из свободнейших в мире людей, Данте.

> О, если ты не не плачешь и об этом, —
> О чем же плачешь ты? —

спрашивает его Уголино, который сам уже не плачет и не возмущается, — только вспоминает о том, что было с ним до этого второго ада, вечного, в том первом, временном, — о смерти четырех сыновей своих от голода.

Когда же день четвертый наступил,
Упав к ногам моим, воскликнул Гаддо:
«Зачем меня покинул ты, отец?
И так, как видишь ты меня, я видел,
Как падали, по очереди, все…
Потом, уже ослепнув, их тела
Я, ползая, ощупывал и звал
Умерших, день и два…
Потом все муки голод победил»,
Когда он кончил, то, скосив глаза,
Опять зубами вгрызся в жалкий череп,
Как жадный пес в обглоданную кость.

Может быть, этот скрежет зубов по кости не более страшен, чем слова Данте:

О, Пиза, ты — позор земли прекрасной…
Коль все твои соседи медлят карой,
То, воды Арно в устье преградив,
Да сдвинутся Капрея и Горгона,
Чтоб затопить тебя в пучине вод…
За то, что обрекла детей невинных
Ты на такую муку, —

«муку», croce, — Крест.[725] Два креста — два невинных; в вопле одного:

Зачем меня покинул ты, отец?

не повторяется ли вопль Другого:

Боже Мой! Боже Мой! для чего ты Меня оставил?

Вот когда мог бы Данте вспомнить надпись на двери Ада:

Создало меня Всемогущество Божие,
Высшая мудрость и первая Любовь.

«Величество Божие — в Трех Лицах… Всемогущество — в Отце… В Сыне — премудрость… в Духе — Любовь», — объясняет сам.[726] Но если бы, вспомнив эту надпись, подумал он о

крестной муке сынов человеческих и Сына Божия, то, может быть, услышал бы в вечных воплях ада три вечных вопроса; первый — к Отцу Всемогущему: «Доколе будут страдать невинные?» второй — к Сыну Премудрому: «Зачем страдают?» и третий — к Духу Любящему: «За что страдают?» И на все эти вопросы один ответ — молчание.

«Что же, понял, наконец, за что я восстал? А ты покоришься?» — шепчет на ухо Данте, сходящего в ад, невидимый Спутник, и Данте молчит, так же, как те Трое. Но ужас этого молчания больше, чем душа человеческая может вынести. Не вынесла бы и душа Данте: сойдя уже не во внешний, а во внутренний ад — безумие, осталась бы в нем навсегда и погибла бы, если бы не спасло ее чудо, — какое, этого он не говорит, так же об этом молчит, как обо всем самом главном для него и последнем. Но кажется, есть у него два намека на это; оба — в Чистилище. Встреченная там, на втором уступе Горы, тень Гибеллиновского вождя, Буанконте да Монтефельтро, павшего в бою под Кампальдино, в котором и юный Данте участвовал, вспоминает о том, как, в последнюю минуту перед смертью, погибавшая душа его спаслась:

Бежав с пронзенным горлом,
Я обагрял горячей кровью землю.
Уже потух мой взор, когда, с последним вздохом
Я прошептать еще успел: «Мария!»
И пал на землю, мертв…
Скажу тебе я правду, ты же людям
Перескажи ее: взял Ангел душу
Мою; но дьявол закричал: «Он мой!
Зачем ты хочешь у меня
Отнять его из-за одной слезинки?»[727]

Ангел все-таки отнял душу у дьявола, потому что и одной слезинки довольно, чтобы омыть ее от всех грехов и спасти.

Это первый намек, а вот и второй. Встреченная Данте, у подножия святой Горы Очищения, тень Манфреда, юного, «белокурого и прекрасного», отлученного от Церкви, великого грешника, убитого в бою под Беневенто, тоже вспоминает, как душа его погибала и спаслась.

«Кто я такой, ты знаешь ли?» — спросил он.
Когда же я ответил, что не знаю,
То, на груди показывая рану,
Он мне сказал с улыбкой: «Я — Манфред…

Пронзенный насмерть, я отдался, плача,
Тому, Кто с легкостью прощает все.
Я знаю, что грехи мои ужасны;
Но бесконечной Благости объятья
К ней приходящих обнимают всех.
О, если б люди это лучше знали, —
Моих костей, лишенных погребенья,
Не мыл бы дождь, и не сушил бы ветер
В чужом краю, на берегу пустынном!
Но пусть я проклят пастырями Церкви,
Так погубить не могут их проклятья,
Чтоб не спасала вечная любовь,
Коль цвет надежды в сердце зеленеет!»[728]

Чудом вечной Любви будет разрушен ад: это поняв, может быть, спасся и Данте.

…Вдруг молнией был поражен мой ум,
Я понял все…

Это будет в Раю; но может быть, и Ада кромешную тьму озарила лучом небесной надежды та же молния.

Данте хочет быть «правоверным католиком» и огненного гроба ересиархов боится пуще всего. Если бы ему сказали, что Адом он разрушил ад, то он не поверил бы и даже не понял бы, что это значит.

Вдруг молнией был поражен мой ум, —
Я понял все, но, в тот же миг,
Потухло все в уме изнеможенном.[729]

Молния вспыхивает — Данте понимает, что ад есть, но что ада не будет; потухает молния — перестает понимать.

Господи… прости им грехи, а если нет, то изгладь и меня из Книги Твоей (Исх. 32, 32), —

молится Моисей, принявший от Бога закон; молится и Авраам о Содоме, уже обреченном, — аде земном:

Господи! Если Ты хочешь, чтоб мир был, то нет правосудия (Закона); а если хочешь, чтобы было правосудие (Закон), то мира не будет: выбери одно из двух, — [730]

или ад — Закон, или мир — Любовь.

Обе эти молитвы понял бы, может быть, Данте, христианин уже не римско-католической, а Вселенской Церкви.

Хочет Бог, чтобы все спаслись. (I Тим. 2, 4.)

Все мы придем в единство познания Сына Божия. (Ефес. 4, 13.)

Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. (Рим. 11,32.)

Все да будет едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ио. 17, 21), —

молится Иисус.

Да будет Бог все во всех,

молится Павел (I Кор. 15, 28).

«Благость Божия… вернет всю тварь к началу и концу единому… ибо все падшие могут возвыситься (не только во времени, но и в вечности) — от крайних ступеней зла до высших — добра», учит Ориген.[731] Церковь осудила это учение (543 г.): «Кто говорит, что… муки ада не вечны, и что произойдет Восстановление всего, apokatastasis, — да будет анафема; изобретатель сего учения Ориген… да будет анафема».[732] Церковь осудила Оригена, но такие великие святые, как Амвросий Медиоланский и Григорий Нисский, приняли его учение о конце Ада.[733]

Это превосходит наш ум,
Как солнечный луч — слабое зренье.
Я не могу смотреть на это прямо, —
Вот почему так мало говорю об этом…[734]

«Есть то… чего мы не можем постигнуть умом… и что познаем только (чувством), как бы во сне, come sognando», — скажет Данте.[735]

Тайну «Восстановления всего», Апокатастазиса, люди умом не могут постигнуть, но познают ее чувством, «как бы во сне». Тайну эту знали великие святые, в Церкви, а первый, кто узнал ее в миру, — Данте.

VIII. КРЕСТ И ПАРАЛЛЕЛИ

«Верую в Три Лица вечных; верую, что сущность Их едина и троична», — отвечает Данте на вопрос Апостола Петра, во что он верует.[736] Так для Данте в раю, в «небе Неподвижных Звезд», внешнем и внутреннем, — в последней глубине и высоте его существа, но не так, на земле. В воле его бессознательной, в «душе ночной», господствует число божественное — Три: Отец, Сын и Дух; а в воле сознательной, в «душе дневной», — число человеческое или демоническое — Два: Сын и Отец, несоединенные, несоединимые в Духе. Три — «во сне» («есть то, чего нельзя постигнуть умом, и что мы познаем только чувством, как бы во сне»), а наяву — Два. «Три свидетельствуют на небе» (I Ио. 5, 7), а на земле — Два.

Тысячелетняя, от III века до Дантова, XIII-го, ересь Манеса — религиозный опыт двух равно бесконечных и противоположных, несоединенных Начал, Бога и Противобога, есть крайняя антитеза христианского опыта Трех, соединяющего два Начала в Третьем, — Отца и Сына в Духе.

В «небе Неподвижных Звезд», — в последней глубине и высоте своей, Данте — христианин, потому что вне христианства, вне Евангелия, нельзя исповедать Троицы.

Всем учением Евангельским
Об этом глубоком Существе Божественном (Троичном)

Мой ум запечатлен, — [737]

скажет он Апостолу Петру все в том же исповедании. В воле своей бессознательной, в «ночной душе», «как бы во сне», Данте — христианин совершенный, а наяву, в «дневной душе», в сознании, — полухристианин, полуманихей, так же, как св. Августин, до своего обращения. «Горе мне, горе, по каким крутизнам нисходил я в преисподнюю!» — в ад, — мог бы сказать и Данте, вместе с Августином.[738]

Как часто в грудь
Себя я бью и горько плачу, каясь
В грехах моих, —

говорит он, уже возносясь в восьмое «небо Неподвижных Звезд».[739] Главный грех его — этот: Два вместо Трех.

В рай восходит он из ада подземного, под знаком Трех, а под знаком Двух, опять нисходит из рая в ад земной.

Но прежде чем судить Данте за манихейскую двойственность, надо вспомнить, как изначальна воля к раздвоению в существе человеческом. Самый корень зла — «первородный грех» — есть не что иное, как отпадение человека от единства с Богом — бунт сына против Отца. Кто сказал людям некогда и всегда говорит: «Будете, как боги», — тот утверждает двух богов, Человека и Бога, как два несоединимых, равно бесконечных и противоположных начала. Это и значит: первый «Манихей» — диавол.

«К (двум) разным целям — (человеческой и Божеской) — ведут два различных пути», — две рядом идущие и несоединенные параллельные линии, — учит Данте.[740]

Он (Распятый) — есть мир наш, соделавший из двух одно и разрушивший стоявшую между ними преграду —

учит Павел (Еф. 2, 14–16).

Только в сердце Распятого, в сердце Креста, скрещиваются две линии — горизонтальная, земная, и вертикальная, небесная, — два пути, человеческий и Божеский: такова божественная геометрия Крестного Знаменья; а два разных пути, — две параллельных, не скрещивающихся линии, — геометрия диавольская. Если Распятый «есть мир наш, делающий из Двух Одно», то диавол есть раздор наш, делающий из Одного Двух. Как бы дурной проводник, стекло между двумя противоположными электрическими полюсами — «преграда» для соединяющей Бога и Человека, Отца и Сына, молнии Трех, — вот что такое диавол. Параллели вместо креста — Два вместо Трех — есть вечное оружие диавола, в борьбе его из-за человека с Богом.

Если «Божественная комедия», так же, как «Новая жизнь», — есть книга Трех, то «Монархия», так же, как «Пир», есть книга Двух.

Двум параллельным линиям, двум несоединимым путям в метафизике Данте, — Вере и Знанию, — соответствуют два таких же несоединимых пути в его политике, — Церковь и Государство.

Кажется, «Монархия» написана им во время итальянского похода Генриха VII, между 1310 и 1312 годами; но книга эта выражает мысль всей жизни Данте.[741] В ней дан ответ на буллу папы Бонифация VIII, Unain Sanctam;[742] «Римский Первосвященник, наместник Того, Кому Бог даровал всякую власть на земле и на небе, господствует над всеми царями и царствами».[743] — «Это будет сделано», — говорит папа. — «Нет, не будет», — отвечает Данте, в конце жизни, в изгнании, так же, как в середине жизни, в отечестве. Тот же голос, что подал он тогда против папы, в Совете Флорентийских граждан, подаст он

против всей Римской Церкви, в будущем совете веков и народов: «Ничего не делать, nihil fíat».

Сообразно двум целям, которые поставил Бог человеку, «нужны ему и две власти: власть Верховного Первосвященника, ведущая людей, согласно с Откровением (верой), к вечному блаженству, и власть Императора, ведущая их, согласно с философией (знанием) к счастью земному».[744] Главное здесь то, что целей две, и путей, к ним идущих рядом, но несоединимых, как две параллельные линии, — тоже два. Он, Распятый на кресте, скрестил два пути, «сделав из Двух Одно и разрушив стоявшую между ними преграду», — говорит Павел. — «Нет, не сделал, не разрушил», — отвечает Данте, а если не отвечает, то, может быть, только оттого, что недодумывает или недоговаривает мысли своей до конца. Не потому ли два равно бесконечных и противоположных Начала, Божеское и человеческое, Вера и Знание, Церковь и Государство, — так несоединимы на земле, что и на небе господствуют те же два Начала, два Бога, как учат новые манихеи — катары, именно здесь, в Ломбардии, где, вероятно, и пишется «Монархия»?

Светская власть должна подчиняться власти церковной, потому что происходит от нее; «император и папа — два неравных светильника, меньший и больший, luminare majus et luminare minus; тот заимствует свет от этого, как луна — от солнца», — так учит Церковь и школа-схоластика средних веков.[745] Нет,

римский Император и римский Первосвященник — два светильника равных, или некогда были и будут равными, — учит Данте.

> Два солнца освещают два пути,
> Мирской и Божий; но одно другим
> Потушено, —

власть императора ослаблена или уничтожена властью папы.

> …И с пастырским жезлом
> Соединился меч; но быть тому не должно.
> …И, смешивая обе власти, Церковь,
> Себя и ношу оскверняя, в грязь,
> Как вьючное животное, упала.[746]

Чтоб Церковь поднять из грязи, надо снова разделить две смешанные власти, светскую и церковную, потому что сам

Христос, перед лицом Пилата, отрекся от власти земной: «Царство Мое не от мира сего».[747] «Основание Церкви — Христос… а основание Империи — закон человеческий».[748] — Римский Первосвященник, «наследник Петра, — может разрешать и связывать все… кроме законов государственных».[749] — «Римская Империя уже имела всю свою власть в то время, когда еще не было Церкви… Следовательно, земная власть императора исходит, без всякого посредства, из самого источника всякой власти» — Бога.[750] — «Против этой истины восстают и Верховный Первосвященник, и все пастыри стада Христова… одушевляемые, может быть, не гордыней, а истинной ревностью о Церкви». — «Но мы должны слушаться их не так, как Христа, а лишь как Петра».[751] Это значит: если Церковь хочет подчинить себе Государство, то мы не должны ее слушаться вовсе. Эта мысль о возможном непослушании Церкви, будучи доведена до конца, сделается началом Преобразования в Церкви Реформации и могла бы сделаться началом Переворота, Революции.

Два пути, Божеский и человеческий, церковный и государственный — две параллельные, некогда прямые, а потом искривившиеся линии; надо снова их выпрямить. Это и делает или хочет сделать Данте в «Монархии».

Два Бога на небе. Две святыни на земле — Римская Церковь и Римская Империя: так можно бы договорить или додумать главную мысль «Монархии». Та же мысль и в «Пире»: римляне — «святой народ… избранный Богом». Сила его не в силе, а в ведущем его, «Божественном Промысле».[752] Лучшие граждане Рима, от Брута старшего до Цезаря, «не людям, а богам подобные, возвеличили Рим не человеческой любовью, а божественной, что не могло быть… иначе, как по наитию Свыше и для особой, Богом самим поставленной цели» — спасения мира.[753]

От Иудеев спасение (Ио. 4, 22), —

говорит Иисус. — «Спасение от римлян», — говорит Данте.

Начатая в «Пире» мысль о «святости» Рима продолжается в «Монархии». Сам Христос освятил Римскую Империю, пожелав в ней родиться и умереть. «Сделавшись человеком, Сын Божий записан был, как человек, в единственную перепись всего человеческого рода, бывшую во дни Кесаря Августа».[754] Римскую Империю освятил Христос и смертью своей: «грех Адама не был бы (справедливо) казнен, если бы Римская Империя не была законною… ибо должно было Христу пострадать, по приговору того, кто имел право судить весь человеческий род, чтобы он весь был казнен во Христе. Но Кесарь Тиберий, чьим наместником был Пилат (судивший Христа), не мог быть законным судьею всего человеческого рода, если бы Римская Империя не была

законною».[755]

Так освящается «народ Божий», римляне, гнуснейшим из всех на земле совершенных злодеяний — убийством Сына Божия. Вот когда «черный херувим» мог бы напомнить слишком искусному логику, Данте:

> А я ведь тоже логик![756]

Римский орел — не менее «святое знамение», sacrosancto segno, чем Крест.[757]

Данте увидит в раю, в шестом небе Юпитера, бесчисленные, рдеющие, подобно рубинам, искры — души святых, не только христиан, но и язычников, образующие тело Римского Орла:

> Духа Святого то были пожары святейшие,
> в том знамении возвеличившие Рим.[758]

Знамение Сына — Крест; знамение Духа — Орел. Если Данте, устами Апостола Иакова, называет Бога «Императором», то потому, что для него Римская Империя «божественна».[759]

«Что мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земные… против Господа и Помазанника (Христа) Его» (Пс. 2, 1) — сказано о Царе Небесном и «можно бы сказать о царе земном», Римском Императоре.[760] «Взял на Себя наши немощи и понес наши болезни», — возвещает Римского Императора, Генриха VII, после Христа, post Christum, пророк Исайя.[761] — «Се, Агнец Божий, взявший на Себя грех мира», — возвещает и Данте все того же Генриха.[762] А райская Сибилла, Беатриче, в пророческом видении о судьбах Церкви, возвещает нового «посланника Божия», messo di Dio, таинственного «Вождя», Dux, спасителя мира.[763] Если для Данте уже и бывший император Генрих, не спасший ни Римский Церкви, ни Римской Империи, подобен Христу, то тем более этот будущий, которому суждено их спасти.

Два Бога на небе — два Христа на земле: Иисус и Римский Император; Тот земную власть отверг, а этот — принял; Тот ведет людей к раю небесному, а этот — к земному. Помнит ли Данте слово Господне:

Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете? (Ио. 5, 43.)

Знает ли Данте, что этот иной — Антихрист? Кажется иногда, что он его не знает и не видит вовсе; что здесь как бы слепая точка в глазу Данте. Очень знаменательно, что самое слово

«Антихрист» ни разу во всех книгах Данте не встречается. В том мире, в аду, — Сатана, а в этом — Антихрист отсутствует, или остается невидимым. Это тем удивительнее, что сам Данте — как бы «человек из Апокалипсиса» — из тех времен, когда суждено явиться «иному Христу», Антихристу: «мы находимся уже в конце времен».[764]

«Я полагаю, что достиг цели моей, — заключает Данте „Монархию“. — Найдены ответы на три поставленных вопроса; первый: нужна ли монархия для блага мира? второй: законна ли была Римская Империя? и третий: прямо ли от Бога происходит власть Императора или через посредство человека (папы)?.. Но ответ на этот последний вопрос не должно понимать так узко, что Римский Император не подчинен Римскому Первосвященнику ни в чем, in aliquo non subjaceat, ибо счастие временное, каким-то образом, quodam modo, подчинено блаженству вечному. Да почтит же Кесарь Петра, как первородный сын чтит отца своего, дабы, просвещаемый его благодатью отеческой, светлее озарял он весь мир, над которым он поставлен Тем, Кто правит вечным и временным».[765]

Как же Данте не видит, что таким заключением книги он разрушает все, что в ней построил, и доказывает обратное тому, что хотел доказать? Прав Гегель: «Соотношение Кесаря и Папы… остается здесь совершенно неопределенным».

Власть Кесаря подчинена ли власти Первосвященника в чем-либо, — на этот вопрос отвечает вся книга: «Ни в чем», а конец ее утверждает обратное: «В чем-то подчинена». Соединимы ли две цели, поставленные Богом человеку, — временное счастье, рай земной, и блаженство вечное, рай небесный? Два противоречивых ответа и на этот вопрос: «Несоединимы», — отвечает вся книга; «Соединимы», — отвечает ее конец: «Временное счастье подчинено, каким-то образом, блаженству вечному». Но если так, то два пути к двум целям пересекаются там, где одна из целей подчинена другой.

Может ли такой умный человек, как Данте, не видеть этого противоречья? А если он видит его, то почему же терпит?

IX. АНТИ-ДАНТЕ

В каждом человеке есть два человека: он сам и двойник его, с его же собственным, но отраженным и опрокинутым, как в дьявольском зеркале, — противоположным лицом.

Ах, две души живут в моей груди!
Хочет одна от другой оторваться…

Нет, обе хотят в смертном бою сойтись. «Две души» и в Данте живут.

«Я не один — нас двое; я в обоих».[766] — «Делая зло, я обвинял что-то другое, что было во мне, но не было мной», — мог бы сказать и грешный Данте так же, как говорит святой Августин.[767]

Есть Христос и Антихрист; есть Данте и Анти-Данте.

Кто кидает камнями в детей? Кто обещает брату Альбериго в аду снять с глаз его ледяную кору и, обманув его, думает, что «низость эта зачтется в благородство» обманщику? Кто говорит о любимой — Беатриче иной:

О, если бы она в кипящем масле,
Вопила так из-за меня, как я —
Из-за нее!

Кто хочет не Единого в Двух, а Двух в Едином? Кто не может сделать выбора между Богом и диаволом, Христом и Антихристом? Данте? Нет, Анти-Данте.

«Что это за чудо во мне, что за чудовище? И откуда оно?.. Или я уже не я?.. Или такая разница между мной и мной? Но если так, то где же разум?» — мог бы спросить себя и Данте, с таким же удивлением и ужасом, как Августин.[768] «Unde hoc monstrum? Откуда это чудовище?» — есть вопрос на вопрос: «Unde sit malum? откуда Зло? откуда Ад?» — мука на муку, ужас на ужас всей жизни обоих, святого Августина и грешного Данте.

Вот что значит противоречие в конце «Монархии». «Где же разум?» Нет разума — есть безумие, противоразум, антилогика. Данте в аду земном так же сходит с ума, как в подземном. Здесь, в конце «Монархии», — не логическое противоречие, а противоборство метафизическое Двух в Одном, — белого Херувима и «черного», человека и «чудовища», — Данте и Анти-Данте.

Временная победа «двойника» над человеком есть Ад; их борьба — Чистилище; вечное торжество человека — Рай. Данте видят все, Анти-Данте — почти никто; или, наоборот: Анти-Данте видят все, а Данте — почти никто.

Главная ошибка Данте в «Монархии» то, что отдает его в руки Анти-Данте, есть не только его ошибка, но и почти всего христианского человечества, за две тысячи лет. Чтобы на вопрос Пилата: «Ты — Царь?» ответить: «Царство Мое не от мира сего» (Ио. 18, 36), в том смысле, как это понял Данте: «Сам Христос отрекся от власти земной», — надо было бы Христу отречься от самого Себя и от главного дела всей жизни и смерти своей: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Если Христос действительно «отрекся от власти земной», как это понял Данте и почти все христианство за две тысячи лет, то что же значит:

Мне дана всякая власть на небе и на земле. (Мт. 28, 18)?

Между тем словом, предпоследним, к Пилату, и этим, последним, которое сказано людям на земле Воскресшим Господом,

— противоречие неразрешимо.

Кажется, ключ к этой темнейшей загадке христианства есть главное и все решающее слово «ныне», в ответ Пилату.

Ныне, non, царство Мое не отсюда, —

это почти в христианстве не услышано или не понято: «ныне — сегодня — сейчас царство Мое еще не от мира сего; но уже идет в мир; будет и здесь, на земле, как на небе». Это понял даже такой человек, как Пилат:

Итак, Ты — Царь?

повторяет он и настаивает. И слышит ответ:

Ты говоришь, что Я — Царь. Я на то и родился и пришел в мир, чтобы царствовать. (Ио. 18, 37.)

Это никем не услышано или не понято; это было, как бы не было. «Царство Мое не от мира сего, — неземное, на земле невозможное» — так поняло христианство, и на этом успокоилось.[769] Две скрещенные в Кресте линии вновь разомкнулись в две параллели несоединимые — в два царства, земное и небесное, — в Церковь и Государство. Этих-то двух царств хочет и Анти-Данте в «Монархии».

Верно угадывает он, но неверно оценивает будущие судьбы христианского человечества в том отделении Церкви от Государства, которое, начавшись в Реформации, закончится в Революции. Временное и частное, нужное в некоторых точках отделение Церкви от Государства может быть спасительным; но их отделение вечное, во всем, для обоих убийственно. Церковь

без государства, как душа без тела, а государство без Церкви, как тело без души. Только что Церковь скажет: «Царство мое не от мира сего», как мир начнет уходить от Церкви. Чтобы ладье Петровой не потонуть, кормчие в обеих Реформациях, внешней, протестантской, и внутренней, католической, выбросят из ладьи драгоценнейший груз — истинную Теократию — Царство Божие на земле, как на небе.

Если государство и Церковь утверждаются, как два религиозно-несоединимых начала, то равновесие между ними невозможно: сначала государство становится рядом с Церковью, потом над нею господствует и, наконец, уничтожает ее, чтобы сделать противоположным двойником, чудовищным оборотнем Церкви.

Данте борется с Анти-Данте и побеждает его не только в конце «Монархии», но и во всей книге, особенно там, где подчиняет бытие народное бытию всемирному. Воля к подчинению обратному — бытия всемирного народному есть воля к вечной, братоубийственной войне народов — самоистребление человечества. Это понял Данте, и в этом он ближе к будущему, чем люди наших дней, не наученные опытом первой великой войны и готовящие вторую, последнюю, — вероятный конец европейской цивилизации в новом Ледниковом периоде. Целые народы бесятся, как животные — в припадке водобоязни, в том повальном умственно-нравственном помешательстве, которое мы называем «национализмом», «расизмом»; кровь целых племен воспаляется, как от укуса тарантула, от лютой похоти к самим себе. Часть хочет быть целым, племя — всеплеменем, народ — человечеством, и все, что стесняет этот чудовищный рост его, хочет истребить так же необходимо-естественно, как пламя лесного пожара истребляет сухой лес.

Миру погибнуть или спастись — значит сейчас больше, чем когда-либо, выбрать одно из двух: или вечную войну, в бытии только народном, национальном, или вечный мир в бытии всемирном. Это первый понял Данте не отвлеченно-умственно, а религиозно-опытно; он первый победил, в XIV веке, то, чего мы все еще не можем победить, в XX — узкую народность, «национализм»; первый понял он, что нет мира для отдельных народов: они погибают, если живут для себя и в себе, — спасаются только в человечестве. И это тем удивительнее, что век Данте совпадает с ранней, еще свежей весной, prima vera, того бытия народного, национального, чья летняя засуха теперь попаляет весь мир; это тем удивительней, что первый великий отчизнолюбец, патриот новых времен, — Данте. Родины больше, чем он, никто никогда не любил; больше никто за нее не страдал.

И вот все-таки имеет он силу выйти из бытия народного во всемирное. Надо было так любить отечество и так страдать за него, как он, чтобы иметь право сказать: «Мир для меня отечество, mundus est patria».[770]

Данте, за семь веков до нас, как бы увидев воочию надвигающийся ужас Последней Войны, ее подымающийся из-под земли, взрывающийся ад.

«Странник, чего ты ищешь?» — «Мира! Pace!» — этот вопрос и ответ — вся жизнь и творчество Данте. Эту главную муку его в земном аду вечной войны, — неутолимую жажду мира, — верно угадывает Франческа да Римини — Беатриче Подземная:

> О, милая, родная нам, душа…
> Владыку мира, будь Он нашим другом,
> Молили б мы дать мир тебе за то,
> Что пожалел ты нас в великой муке, — [771]

вечной муке ада, где воздух «черно-красен», perso, как запекшаяся кровь вечной войны. Кажется иногда, что и мы дышим сейчас тем же «черно-красным» воздухом ада.

Проклял войну и мир благословил великий грешник Данте, как, может быть, никто из великих святых. «Мир всего мира», pax universalis, есть величайшее из благ для человечества. Вот почему пастухам (Вифлеемским) возвещены были свыше не богатство, не наслаждение, не почести, не долгоденствие, не здравие, не сила, не красота, а мир; pace. «Слава в вышних Богу, а на земле мир», — пело Небесное Воинство. Вот почему и Спаситель приветствовал людей словами: «Мир вам», — выражая тем, что единственное для них спасение — мир.[772]

Данте понял, что главное дело Христа — царство Божие на земле, как на небе — есть вечный мир; понял, что сказать:

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. (Ио. 14, 27.)

мог только Тот, Кто «победил мир» (Ио. 16, 33).

Так как отдельные народы и государства не могут никогда успокоиться на том, чем они обладают, но всегда ищут новых приобретений, то войны между ними бесконечны. «Чтобы положить им конец, уничтожить самую причину войны, нужно, чтобы на всей земле… было одно Государство (Монархия) и один государь, который, обладая всем и уже ничего для себя не желая, сдерживал бы подчиненных ему государей, вместе с их народами, в назначенных им границах так, чтобы между ними был вечный мир, pace», — слово это повторяется у Данте, как заклинание.[773] «Странник, чего ты ищешь?» — на этот вопрос отвечает устами

Данте весь род человеческий: «Мира!» «Pace!»

Если война есть крайнее насилие — начало всех рабств, то вечный мир есть вечная свобода. Данте первый понял и это. Два для него святейших слова: «мир» и «свобода», — пламенеют в устах его одним и тем же пророческим духом. «Величайший дар Божий людям… свобода… В ней мы уже здесь, на земле, счастливы, как люди, и в ней же будем там (на небе) блаженны, как боги… Только в Монархии, род человеческий живет (свободно) для себя, ибо только ею устраняются все дурные, порабощающие людей, правления — демократии (в смысле Платоновой и Аристотелевой охлократии) и тирании».[774] Чтобы это понять, надо помнить, что будущая Дантова Монархия очень похожа на предсказанное в Откровении, «тысячелетнее Царство Святых на земле», и что государь этой будущей Монархии есть таинственный «Вождь», Dux, «Посланник Божий», второй Освободитель мира, который мог бы сказать так же, как Первый:

Дух Господень на Мне; ибо Он… послал Меня… проповедовать пленным освобождение… отпустить измученных (рабов) на свободу. (Лк. 4, 18.)

Если так, то будущее Государство Данте есть не что иное, как им предсказанное, но не узнанное, Царство Божие, а будущий Государь — не узнанный Христос.

X. БУДУЩАЯ ЦЕРКОВЬ

Судьбы мира для Данте решаются где-то между будущим всемирным Государством и будущею Вселенскою Церковью, между «Градом человеческим» и «Градом Божиим», Civitas hominum и Civitas Dei, по Августину, — в каком-то их согласии или противоборстве. Но как относится, в религиозном опыте Данте, бывшая Церковь к будущей, — трудно понять, потому что мысли свои об этом он прячет, замуровывает в стену так же, как последние песни Рая, может быть, не только от страха Святейшей Инквизиции.

«До смерти огнем да сожжется», igne comburatur, в этом приговоре над Данте власти мирской — Флорентийской Коммуны, в 1302 году, повторяется суд власти церковной — папы Бонифация VIII:

этого хотят, этого ищут… там, где каждый день продается Христос, — [775]

в Римской Церкви. В 1329 году, через восемь лет по смерти Данте, кардинал Бельтрандо дэль Поджетто сжигает «Монархию» и хочет сжечь кости Данте за «ересь». Медленно, в тоске изгнания, горел он и заживо на этом огне:

> …Огонь тоски неугасимой
> Мне пожирает тело на костях.[776]

Глухо осудит «Монархию» и св. Антонин Флорентийский (1389–1459),[777] а Тридентский Собор, в 1545 году, осудит ее уже громко.[778] Но вековая тяжба Данте с Римскою Церковью все-таки ничем не кончится: он не осужден и не оправдан. Так и остался нерешенным вопрос, кто он такой, — еретик или верный сын католической Церкви. Но может быть, лучше было бы для Церкви осудить его, чем сделать с ним то, что будет сделано, — не увидеть его, не услышать, забыть; потому что, надо сказать правду, как она ни странна и ни маловероятна: в Церкви так же или еще больше, чем в миру, Данте забыт. Мгновенный огонь костра был бы менее жесток, нежели этот вечный холод забвения; огненные гробы ересиархов — меньшая казнь, в аду, чем ледяные гробы «сынов Иудиных» — предателей.

Данте — «еретик» не осужденный. В чем же ересь его? А вот в чем.

«Некогда гнусная алчность, cupiditas, старейшин фарисейских осквернила древнее священство… и погубила возлюбленный

город Давидов (Иерусалим)… Так и вы ныне… влечете за собой все стадо Христово в бездну погибели, — пишет Данте кардиналам Римской церкви, после гибели императора Генриха VII. — Я, хотя и малейшая овца стада, никакой пастырской власти не имеющая, — все же милостью Божьей, есмь то, что есмь… и ревность по доме Его снедает меня… О, Святейшая Матерь, невеста Христова, каких ты себе детей породила, к стыду своему!.. Но знайте. Отцы, что не я один так думаю… И всегда ли все будут молчать, an semper et hoc silebunt?»[779] Здесь уже слышатся первые гулы того великого землетрясения, которое начнется, но не кончится в Реформации.

Логовом своим сделала Римская Церковь «то место, где каждый день продается Христос». — «Древняя Волчица», antica lupa,[780] ненасытимая Алчность, проклятая Собственность, или, как мы сказали бы, «социальная проблема», решаемая навыворот, не человеком и Богом, а человеком и диаволом: вот главная для Данте причина того, что мир погибает во зле, и «род человеческий блуждает во мраке, как слепой».[781]

В небе седьмом, Сатурна, где бесчисленные Огни, души святых, нисходят по высочайшей лестнице, св. Петр Дамианский обличает Римскую церковь.

«Доколе же, о Господи, Ты терпишь?»
Так он сказал, и множество Огней,
По лестнице сошедши, закружилось,
И каждый круг их делал все прекрасней.
И, подойдя к нему, остановились,
И возопили столь великим воплем,
Что я ни с чем его сравнить не мог бы,
И слов не понял, — так был оглушен.
И обратился, в изумлении, к той,
Которая вела меня… Она, как мать
На помощь к сыну, бледному от страха,
Торопится, сказать мне поспешила:
… «О, если б ты услышал в этом вопле,
Который испугал тебя, мольбу,
То понял бы, что суждено тебе
Святое мщенье Божие увидеть
Еще до смерти».[782]

Так начинается Страшный Суд над Римскою церковью, а кончается так:

«Слава Отцу, Сыну и Духу Святому!» — поет весь Рай в небе Неподвижных Звезд, и Данте видит четыре пламенеющих факела

— апостолов Петра, Иакова, Иоанна и Адама. Вдруг белое пламя Петра,

Так, разгораясь, начало краснеть,
Как если бы свой белый свет Юпитер
Во рдеющий свет Марса изменил.
Хор Блаженных умолк, и, в наступившей тишине,
Сказал мне Петр: «Тому, что я краснею,
Не удивляйся; ты сейчас увидишь,
Как покраснеют все от слов моих.
Престол, престол, престол мой опустевший
Похитил он, и пред Лицом Господним,
Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал,
Где кровь и грязь, — на радость Сатане!»

Кто этот «он»? Только ли папа Бонифаций VIII? Нет, и тот, кто за ним, — за маленьким Антихристом — великий.

Тогда все небо покраснело так,
Как на восходе иль закате солнца,
Краснеет густо грозовая туча…
Я думаю, такого не бывало
Затмения на небе с той поры,
Как распят был Сын Божий на земле.[783]

Самое страшное в этом Страшном Суде над Церковью — то, что он так несомненен: кто, в самом деле, усомнится, что если бы Петр увидел, что происходило в Церкви, за тринадцать веков до времени Данте и в последующие века, он покраснел бы от стыда и сказал бы то, что говорит у Данте:

Какого славного начала
Какой позорнейший конец!
О, Божий гнев, зачем же дремлешь ты?[784]

Если же Церковь христианская и глазом не сморгнула от этого Страшного Суда Петрова-Дантова, так же, как Церковь иудейская — от суда Иисусова, это не значит, что Страшный Суд Божий минует ее здесь еще, на земле, и там, в вечности.

Два затмения, — это в раю и то на Голгофе, — равны, потому что две меры зла — одного, искупленного в миру, и другого, еще не искупленного в Церкви, — тоже равны. Сыну Божию, Второму

Лицу Троицы, нужно было сойти на землю, чтобы искупить грех Адама (вот почему он присутствует здесь); надо будет сойти и Духу Святому, Третьему Лицу, чтобы искупить грех Церкви. Так, в обоих искуплениях, тайна Трех совершается. Вот почему «славою Отцу, Сыну и Духу Святому» — Трем. — начинается все; и число Апостолов — три: Петр, Иаков, Иоанн; и все это происходит в третьей части «Комедии», в XXVII песне «Рая»: 2 + 7 = 9, а «корень Девяти, Три, есть начало всех чудес». По этой симфонии чисел, звучащей и здесь, как повсюду у Данте, из последних глубин и высот, — видно, как для него значительно то, что здесь происходит, и как было бы значительно для нас, если бы мы это поняли.

Тот же Страшный Суд над Церковью совершается и в Тридцать Первой, Второй и Третьей песне Чистилища (опять символика — музыка Трех), в видении, возвещающем конец Римской церкви, столь жалкий и страшный, —

> Что у креста Мария
> В лице немногим больше изменилась,
> Чем Беатриче — от того виденья.
> И мне она сказала так:
> «Знай, что Ковчег, разбитый Змеем, был.
> И нет его».

Vaso, «Ковчег» и Carro, «Колесница» есть Римская церковь, а «Змей» — дьявол. Теми же словами, какими говорится в Откровении (18, 8) о Звере-Антихристе: «Зверь, которого ты видел, был и нет его». — сказано и здесь, в «темной загадке Сфинкса», — трудно понять о чем, — только ли о Римской курии или о всей Римской Церкви; этого, может быть, сам Данте не знает, или не хочет знать, потому что это для него слишком страшно.

> …Но пусть не думает виновный,
> Что казнь его минует навсегда.
> …Я вижу звезды,
> Что возвещают миру близкий день
> И неминуемый, когда под знаком
> Пятьсот пятнадцати, Посланник Божий
> Убьет Блудницу вместе с Исполином,
> Прелюбодействовавшим с нею…

Что «Божий Посланник», messo di Dio, чье имя скрыто в

тайнописи римских цифр DXV, DVX, DUX, Вождь, — есть Император будущей всемирной Империи — об этом легко догадаться. Но кто «Блудница», «Распутница», fuia, с «Исполином» Gigante, — только ли Римская курия, с французским королем, Филиппом Красивым, пленившим ее в Авиньоне, или вся Римская церковь, с пленившим ее во всем мире Антихристом, — это понять трудно.

> …Может быть,
> Твой ум смутит пророчество мое,
> Как темная загадка Сфинкса, но событья
> Развяжут этот крепкий узел скоро…
> Запомни же слова мои и так,
> Как слышал от меня, их возвести живущим.[785]

Людям наших дней так же трудно понять, что скрыто в этой «темной загадке», enigma forte, как сыновьям Данте трудно было догадаться о замурованных в стене песнях «Рая». Но, может быть, это скучное для нас видение-аллегория с такою же каменною жестокостью геральдических образов, как в родословных щитах, скрывает более драгоценное сокровище, чем бедная камышовая плетенка в том углублении стены, где замурованы были песни «Рая».

Новая Церковь — этих двух, казалось бы, нужнейших и все решающих слов Данте не произносит ни здесь и нигде, может быть, не только от внешнего страха Инквизиции, но и от внутреннего, — тягчайшей ответственности, падающей на тех, кто произносит эти слова, «не для созерцания, а для действия». Но если Церковь не может не быть в мире всегда, потому что слово Господне: «Церковь Мою созижду… и врата адовы не одолеют ее» (Мт. 16, 18), — не может не исполниться, то конец бывшей Церкви есть начало Будущей. «Был ковчег, и нет его», значит: «Нет старой Церкви — новая будет». Если Данте не говорит о Будущей Церкви, то, может быть, не потому, что мало думает о ней, а потому, что слишком о ней думает и мучается ею; так же не говорит об этом, как о своей земной любви к Беатриче Небесной. Если явное, только земное лицо Комедии есть восстание на Римскую церковь и Страшный Суд над нею, то лицо ее тайное, земное и небесное вместе, есть пророчество о будущей Вселенской Церкви.

Данте, записывая бывшее ему видение о конце Римской церкви, не мог не вспомнить того, что слышал, лет двадцать назад, во Флоренции, от учителей своих в школе Санта-Кроче, двух нищих братьев св. Франциска, Пьера Джиованни Оливи и

Убертино да Казале, учеников Иоахима Флорского, о «явлении Новой Церкви», Novae Ecelesiae fundatio, в Третьем Царстве Духа.[786]

«Ангельский Учитель», Doctor Angelicus, св. Бонавентура, в четвертом небе Солнца, где находится и св. Фома Аквинский, другой учитель Данте, указывает ему на Иоахима Флорского:

> Вот Иоахим, игумен Калабрийский,
> Пророческим наитьем одаренный.[787]

Ось, на которой движется все в «Комедии», есть новое Сошествие Духа, чье имя у Данте: «Гончая», Veltro, — может быть, тайнопись Иоахимова «Вечного Евангелия»:

Vang — ELe — Te — Rn — O
VELTRO.[788]

Если так, то видимое тело «Комедии» — богословское зодчество, — от св. Фомы Аквинского, а невидимая душа ее — пророческое дыхание, — от Иоахима.

«Нынешнее состояние Церкви должно измениться, commutandum est status iste Ecelesiae, — учит Иоахим. — Дни Римской церкви сочтены: новая Вселенская Церковь воздвигнута будет на развалинах старой Церкви Петра»,[789] Вот что значит «темная загадка Сфинкса» в словах Беатриче:

> Знай, что ковчег, разбитый Змеем, был
> И нет его.
> Старая церковь была — Новая будет.

«Нынешняя Римская церковь, в своем земном владычестве, есть Вавилон», — говорит Иоахим теми же почти словами, какими через четыреста лет скажут Лютер и Кальвин.[790] Нынешние прелаты Римской Церкви, «друзья богатых и союзники сильных мира сего, истинные члены синагоги сатанинской, возвещают и готовят пришествие Антихриста».[791] — «Он уже родился в Риме и скоро сделается папою».[792] Это и значит:

> Престол, престол, престол мой, опустевший,
> Похитил он и, пред Лицом Господним,
> Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал,
> Где кровь и грязь, — на радость Сатане!

Большего восстания на Римскую церковь не будет у Лютера и

Кальвина.

Данте — первый великий «протестант», в глубоком и вечном смысле этого слова: protesto, «противлюсь», «восстаю»:

Восстань, Боже, суди землю. (Пс. 82, 8.)

Этого «восстания Божия» первый пророк не в Церкви, а в миру, — Данте.

«Слушаться папы должны мы не так, как Христа (Бога), а лишь так, как Петра» (человека): вот Архимедов рычаг, которым будет низвергнуто земное владычество пап в ложном Римском «боговластии», «теократии».

«Где Церковь, там Христос», ubi Ecclesia, ibi Christus: так, для св. Франциска Ассизского и для всех святых, после первых веков христианства, а для Иоахима и для Данте, наоборот: «Церковь там, где Христос», ubi Christus, ibi Ecclesia.[793] В этом — начало уже не только Преобразования Церкви, Реформации, но и Переворота в ней, Революции. Данте здесь ближе к будущему, чем Лютер и Кальвин.

Двух менее схожих людей, чем Лютер и Данте, трудно себе и представить. Но в самом религиозно-глубоком для них и существенном, есть между ними и общее: та же у обоих «прямота», drittura, по слову Данте; то же бесстрашие в исповедании истины:

> …Презирая ложь,
> Скажи бесстрашно людям все, что видишь, — [794]

этот завет Качьягвидо, великого Дантова предка, исполнили оба: если бы даже хотели, то не могли бы не сказать правды, хотя бы и в виду костра; та же у обоих «душа мятежная», alma sdegnosa, «дух возмущенный», — начало всех «противлений», «протестантств», в вечном смысле.

Нынешние католики, кажется, слишком уверены, что если бы Данте жил во дни Лютера, то кинул бы его в огненный гроб ересиархов. Может быть, и кинул бы, но почтил бы в аду так же, как Фаринату:

> Он поднялся из огненного гроба,
> С лицом таким надменным и спокойным,
> Как будто ад великое презренье
> Ему внушал.

Много общего между Данте и Лютером, но больше все-таки разделяющего, все по той же, главной для них обоих, линии

«протестантства» — «восстания», в вечном смысле этого слова.

Лютер восстает на Римскую церковь извне, Данте — изнутри. «Наша война не с плотью и кровью… а с духами злобы». С духом Римской церкви воюет Данте, а Лютер — с плотью и кровью: так же мало страдает дух Римской церкви от бешеной брани его, как дьявол — от брошенной в него чернильницы. Только одно отрицание старого — обращенное к Церкви, голое «нет», — у Лютера, а у Данте — «нет» и «да», отрицание старого и утверждение нового. Лютер побеждает Римскую церковь только частично и временно; а если бы победил Данте, то победа его была бы вечной и полной. Тихое восстание Данте страшнее для Церкви, потому что не внешне, а внутренне мятежнее, революционно-взрывчатей буйного и шумного восстания Лютера.

Данте — «протестант» и «католик», опять-таки в вечном смысле этого слова: «христианин Церкви Кафолической, Вселенской». Лютер — только протестант. Если идея Церкви потухнет в умах после Реформации, то потому, что в уме самого Лютера она уже начала потухать: Церковь для него только «община». Греческое слово: Ekklesia, в Евангельском подлиннике, он переводит религиозно и исторически-неверным немецким словом: Gemeinde, «община», — опустошая понятие Церкви, как «Тела Христова» — полноты «Наполняющего все во всем» и сводя все глубокое в этом понятии к плоскому, четырехмерное — к двухмерному (Еф. 1, 23). Вот почему в Протестантстве-Реформации будет множество «общин», «церквей», но Церкви не будет.

Лютер логически-правильно думает о Римской Церкви; Данте в ней живет, путаясь в противоречиях, как в «диком и темном лесу», selva oscura, selvaggia; но жизнь больше логики. «Папа — Антихрист», это легко сказать тому, кто о Римской церкви думает, но трудно тому, кто в ней живет. Может ли быть Церковь без папы, и что она такое сейчас — «помойная яма» или «Святейший Престол», — этого Данте не знает наверное и, может быть, не хочет знать, от страха и муки за церковь. Он судит пап, но не папство; как бы ни были грешны те, это для него свято.

Видя папу Адриана V на том уступе Чистилищной Горы, где очищается грех скупости, жалко поверженного лицом на землю, связанного по рукам и ногам не плотскими узами, Данте падает перед ним на колени.

> «Что так тебя повергло?» — он спросил,
> И я в ответ: «Ваш сан, Отец Святейший!»[795]

Папу Бонифация VIII, злейшего врага своего и Господня,

после жалкого и страшного «сидения» в Ананьи, где французский холоп, Чьяра Колонна ударил железной перчаткой по лицу восьмидесятилетнего старца,[796] — Данте жалеет и прощает:

> Я вижу, как в Ананьи входит знамя
> Французских Лилий; вижу вновь Христа,
> Плененного в наместнике своем;
> Я вижу, как вторично Он осмеян,
> И уксусом и желчью напоен,
> И меж разбойниками распят.[797]

Этого Лютер не мог бы сказать, но не потому, что был свободнее, мятежнее, «революционнее», чем Данте, а потому, что меньше чувствовал трагедию Церкви и меньше понимал, что для явления Вселенской Церкви нужно не Преобразование-Реформация, а Переворот-Революция.

Данте чувствует вопрос о Церкви в сердце своем и в сердце мира, как впивающееся жало. Как человек в агонии не знает, хочет ли страдать, чтобы жить, или не жить, чтобы не страдать, так не знает и Данте, хочет ли он быть или не быть в Римской церкви; любит ли ее или ненавидит;

мать ли она или мачеха: Тело Христа или тело Зверя. Кто никогда не был в такой агонии, кто старой церкви так не любил и так за нее не страдал, тот никогда не войдет в Новую Церковь.

> Нет у Воинствующей Церкви большей
> Надежды, чем он, —

слышит Данте из уст Беатриче.[798] Мог ли бы он, не будучи глупцом, этому поверить и не почувствовать, какая ответственность падает на него с этою верою? Или Беатриче ошибалась? Много как будто было у Церкви больших надежд, чем Данте? Нет, не ошиблась: с каждым днем надежд все меньше, а величие Данте растет, так что скоро не будет в самом деле у Церкви большей надежды, чем он.

Выйдя из Чистилища, Данте входит в Рай Земной.

> И взор в меня вперив, сказал Вергилий:
> «Пройдя огонь, и временный и вечный,
> Того предела ты достиг, мой сын,
> Где зрение мое уже бессильно…
> Так будь же сам себе вождем отныне…
> И от меня не жди ни слов, ни знаков.

Свободен ты и здрав в своих желаньях…
Вот почему тебя я надо всем
Короною и митрою венчаю».[799]

Что это значит, объясняет сам Данте, в «Монархии», там, где, говоря о власти императора в будущей Всемирной Империи, вспоминает слова Аристотеля: «властвовать должно тому, кто всех превосходит умом» («ум» значит здесь, конечно, «дух»).[800] Но лучше объясняет Откровение (20, 6):

Будут (победившие с Агнцем) священниками Бога и Христа, и будут с Ним царствовать.

Это и значит: будут увенчаны «короной» императоров и «митрою» пап.

Мы теперь, через семь веков, могли бы знать то, чего не знали современники Данте: нищий, изгнанный, презренный людьми, приговоренный к смерти, но уже венчанный двойным венцом — «короной и митрой», — Данте имел большее право быть духовным вождем человечества, чем все тогдашние папы и императоры. Это могли бы мы знать, но не хотим, и все еще Данте изгнан и презрен, в наши дни, как в свои. Но если надо будет людям, чтобы спастись от второй Великой Войны — второго Потопа, уже не водного, а кровавого и огненного, войти в ковчег новой Вселенской Церкви, то, может быть, поймут они, что самый близкий и нужный им человек — тот, кто один из первых вошел в нее, — Данте.

XI. ДВА ИЛИ ТРИ?

Что такое «первородный грех»? Бунт человека против Бога, заключенный в «похоти знания», libido sciendi, по глубокому слову Августина. Этому учит Церковь и еще до Церкви учила незапамятно-древняя, седая мудрость Вечной Книги:

Бог заповедал человеку, говоря: от всякого дерева в раю ты будешь есть; а от древа познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь… И сказал Змей жене: нет, не умрете; но откроются глаза ваши, и будете как боги.

Эту мудрость Вечной Книги Данте забыл или недостаточно помнит, решая вопрос о том, как относится Знание к Вере. «Знание есть последнее совершенство нашей души и высшее для нее блаженство»,[801] — учит он, предпочитая бытие вторичное, отраженное в познании добра и зла, жизни и смерти, бытию первичному, в победе добра над злом, жизни над смертью, и соглашаясь на тот соблазн первородного греха — «похоть знания», — который погубил Матерь Жизни, Еву:

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла его и ела. (Быт. 9, 16; 3, 4–6).

Это и значит: «Высшее блаженство для человека в знании», — не в самом бытии, а в его отражении; не в том, чтобы человеку быть в Боге, а чтоб «быть, как Бог». «Эти люди, как боги, elli son quasi dei», — говорит Данте о людях, достигших высшего знания.[802]

Знание и Вера, в первоначальном согласии, подобны двум близнецам в одной колыбели. Каину и Авелю. Но, выросши, Каин восстает на Авеля, Знание — на Веру, в братоубийственной распре. Будет ли когда-нибудь распре положен конец, совершится ли великое чудо примирения воскресшего Авеля с убившим его Каином, — нового, верующего Знания — с новою, знающей Верой? Этот вопрос, не только не разрешенный, но и не услышанный святыми в церкви, грешным Данте, первым, услышан и поставлен в миру, в двух книгах: в «Пире» и в «Комедии», или точней, в «Пире» и в «Аде», или еще точнее, где-то между «Адом» и «Пиром».

Как ни трудно поверить, что «Пир» одновременен «Аду», — это несомненно. В 1308 году кончен «Ад», а «Пир» начат между 1306 и 1308 годами: следовательно, обе книги пишутся вместе.[803] В 1291 году, вскоре по смерти Беатриче, когда появляется «Жалостливая Дама», Donna pietosa, будущая «Прекрасная Дама

Философии», — Данте изменяет первой любви своей к Беатриче для этой, второй. Та же измена повторяется и в 1307 году, так что шестнадцати лет любви как не бывало: точно проснувшись от страшного сна — Ада, он все начинает сызнова, с того же времени и места, когда и где заснул: снова выходит из «темного леса, selva oscura, столь горького, что смерть немногим горше» (теми же почти словами говорится в обеих книгах, об этом исходе в «Пире»: [804] «Ты заблудилась, душа моя», tu… se smarrita anima nostra;[805] и в «Аду»:[806] «Верный путь был мною потерян, la via diritta era smarrita, „я заблудился“»; снова видит озаренную солнцем «блаженную Гору», dilettoso monte,[807] — самодовлеющее, от веры освобожденное знание. В эти дни Данте «покинул теологию», — скажет сын его, Пьетро, в истолковании Ада.[808] «Теологию покинул» это и значит: покинул Беатриче, — Вере изменил для знания.

«Всякую другую мысль изгоняет из души моей сладость этой новой любви, так что я забываю ту первую любовь мою для второй».[809] «Пир» и есть не что иное, как «забвение» — измена первой любви и попытка оправдать измену перед людьми, перед самим собой и перед Богом.

«Я боюсь, чтобы эта меня поработившая страсть (к Милосердной Даме) не показалась людям постыдною. Но всякий стыд прекратится, если я скажу, что движущей силой во мне была не страсть (к смертной женщине), а святая любовь» (к бессмертной Даме Философии).[810]

Вы, Ангелы, движущие мыслью Третье Небо (любви), внимайте тому, что сердце мое говорит, и чего никому, кроме вас, я сказать не могу, — таким оно кажется странным мне самому… Странное сердце мое вам одним я открою…

…Против воли смиренной, что мне всегда говорит о Женщине-Ангеле, в небе венчанной, мысль иная, чтоб разрушить ее, восстает…

> Но все еще плачет душа моя о первой любви…

«Ты заблудилась, Душа, — оттого так страдаешь», — Дух новой любви мне говорит, —

> … «Страхом низким страшишься ты этой Дамы (философии).
> Но разве не видишь, как милосердна она и смиренна… в величии своем?

Назови же ее единственной Дамой своей, — и такие чудеса ее увидишь, что скажешь: „истинный Владыка мой, Любовь, — се, раба твоя, да будет мне, по слову твоему!“» [811]

Главная противоположность этих двух прекрасных Дам заключается в том, что ко всему неумолимая и равнодушная Беатриче — Вера незнающая — уходит от земли на небо, а Дама Философия — Знание неверующее — нисходит с неба на землю, «милосердная», pietosa; та порабощает людей, а эта их освобождает: ум, погруженный в знание, «освобождается». — «Дама Философия свободой прославлена».[812]

«Пир» и «Ад», в самом глубоком существе своем, в движущей их воле, так не похожи друг на друга, так противоречивы, что кажется, написаны не одним человеком, а двумя: «Ад» — христианином, «Пир» — язычником. Если в той книге, — Данте, то в этой — Анти-Данте, или наоборот. Но это кажется только на первый взгляд, а вглядываясь глубже и пристальнее, видишь, что две эти книги писали не два человека, а две души в одном.

Ах, две души живут в моей груди!
Хочет одна от другой оторваться;
В грубом вожделенье, одна приникает к земле,
Всеми трепетными членами, жадно,
А другая рвется из пыли земной
К небесной отчизне…

«Ад» написан «душою, рвущейся к небу» — незнающей Верой; «Пир» — «душою, к земле приникающей», — неверующим Знанием. Но если опять-таки вглядеться глубже и пристальней, то видишь, что каждая из этих двух книг написана обеими душами вместе; в каждой — борются они и не могут победить одна другую. В «Аде» есть уже все, что будет в «Пире», а в «Пире» есть еще все, что уже было в «Аде». Там христианин побеждается язычником, здесь — язычник — христианином; но обе эти победы не окончательны, и после каждой из них борьба ожесточается.

«Небожественная — Противобожественная комедия», — это возможное заглавие «Пира» понял ли бы Данте? «Будете, как боги», — этот обман Люцифера, невидимого Дантова спутника в Аду, — не лучший ли эпиграф к «Пиру»?

«Сюда пришел я не своею волей, но тот, кто там стоит (Вергилий), ведет меня, быть может, к той (Беатриче), которую ваш Гвидо презирал» — так можно бы истолковать очень темный и загадочный ответ Данте, в Аду, на вопрос Кавальканти отца о сыне его, Гвидо.[813] Если так, то в этом «быть может», forse, слышится уже, сквозь вещий сон Ада (потому что вся «Комедия»

— видение сна) заглушенный отзвук того, что произойдет в «Пире», наяву. Данте уже и здесь, в «Аде», сомневается, не знает наверное, какая из двух Прекрасных Дам ждет его, в конце пути, — первая ли его любовь, небесная, или вторая, земная, — Беатриче, или философия?

Хочет одна душа от другой оторваться, —

эту главную причину всех мук своих он уже давно, еще в «Новой жизни», предчувствовал: «так я боролся с самим собою»;[814] эта борьба оставалась никому не известной, кроме того несчастного, который мучался в ней.[815]

Муку раздвоения Данте чувствует — это ясно для нас, но что он думает о ней, — трудно сказать, потому что он мучается и наяву почти всегда, «как бы во сне», come sognando — бессознательно, а в те редкие минуты, когда муку сознает, — путается, блуждает в темных мыслях или получувствах, полумыслях, как в том «темном лесу», где заблудился перед сошествием в ад. Но кажется, ход этих мыслей, насколько их можно понять, — таков: «две души», борющиеся в человеке и в человечестве, никогда примириться не могут; чтобы кончить между ними борьбу, надо их разделить окончательно; надо понять, что раздвоение души человеческой — не зло, а добро, установленный Богом закон. Это он и делает, или только хочет сделать, потому что это слишком противоестественно, чтобы можно было сделать это не в отвлеченной мысли, а в жизненном опыте.

«Бог поставил человеку две цели: счастье в жизни земной… знаменуемое раем земным, и вечное блаженство… в созерцании лица Божия… знаменуемое раем небесным. К этим двум целям должно идти двумя различными путями: к первой — через философию, ко второй — через духовное знание».[816] Главное здесь то, что эти два пути различны, diversa: хотя и рядом идут, но никогда не сходятся, как две параллельные линии. Надвое должно человеку разделиться, разорваться, чтобы идти по двум разным путям вместе или то по одному, то по другому: жить в мире, как будто нет Бога, и в Боге, как будто нет мира. Этого последнего страшного вывода Данте не делает, но кажется иногда, смутно чувствует его неизбежность, — оттого и мучается так.

Двум господам никто служить не может, ибо или одного будет любить, а другого ненавидеть; или одному станет усердствовать, а другому нерадеть. (Мт. 6, 24.)

Это он забыл, а если помнит, то, может быть, утешает себя

тем, что служит не двум господам, а одному на двух разных путях, ведущих к двум разным целям. В «Пире» идет он только по одному из этих двух путей, — знанию, к одной из этих двух целей, — «раю земному», невольно или нарочно закрывая глаза на другой путь — веры — к другой цели — «раю небесному»; видит ясно «последнее совершенство души человеческой» только в мысли, рождающей знание, а на чувство, рождающее веру, закрывает глаза.

«Жить, значит, для животных, чувствовать, а для человека, мыслить». Жить, не пользуясь разумом (как «высшим благом»), для человека, «все равно, что быть мертвым».[817] Но если так, то не мертвы ли все, живущие «безумием креста», по слову Павла? Данте не спрашивает себя об этом здесь, в «Пире», на линии Знания; спросит только на другой, параллельной линии — Веры, — в «Божественной комедии».

Все, кроме знания, — «скотская пища, трава и желуди». — «О, блаженны те немногие, кто возлежит за этою трапезою, где вкушается ангельский хлеб».[818] Что же значит: «мудрость мудрецов погублю и разум разумных отвергну» (1 Кор. 1, 19), — знание — знающих? Данте не спрашивает себя и об этом; но что подумал бы он, или почувствовал, если бы кто-нибудь напомнил ему, бывшему ученику св. Франциска Ассизского, носившему пояс-веревку Нищих Братьев, что в том самом городе Болонье, где, вероятно, он пишет или готовит «Пир», — в 1307 году, сто лет назад, св. Франциск проклял ученого брата, основавшего там богословскую школу, за то, что этим, будто бы, «разрушалось все Братство Нищих»?[819] Что почувствовал бы Данте, если бы кто-нибудь напомнил ему эти страшные или только непонятные для нас слова в Уставе Братства (1223 г.): «Кто из братьев не знает грамоты, тот не должен ей учиться», — «Кто не умеет читать… тем самим учиться и других учить мы запрещаем».[820] Нужно было св. Франциску от всего обнажиться духом, так же, как телом, — мнимое знание «надутых гордыней», схоластиков убить, чтобы истинное знание родить: «Я знаю только одно — нищего Христа и распятого; мне больше ничего не нужно».[821]

Нет никакого сомнения, что Франциск отшатнулся бы с отвращением и ужасом от «ангельского хлеба» Дантова «Пира» и предпочел бы ему «скотскую пищу — траву и желуди». Кто же прав, Данте или Франциск? или оба не правы? Это все еще не решенный и даже не услышанный в Церкви вопрос. Может быть, и Данте его не решил, но первый, или один из первых, услышал.

К Данте, в «Пире», ближе св. Франциска «почти божественный дух» Аристотеля, ingegno quasi divino. — «Жизни нашей учитель есть Аристотель».[822] Если так, кто же Христос? «Я есмь путь и

истина и жизнь», — кажется иногда, что это мог бы сказать в «Пире» Аристотель, а не Христос. Мнение Аристотеля для Данте — «как бы вселенское, католическое учение Церкви, quasi cattolica opinione».[823] Если оно не выше Евангелия, то рядом с ним.[824] К «Аду» и здесь ближе «Пир», чем это кажется на первый взгляд. Внутреннее зодчество «Ада» — усиление казней по нисходящим кругам — соответствует не Нагорной проповеди, а «Этике» Аристотеля. Очень знаменательна в устах Вергилия ссылка на Аристотелеву — Дантову «Этику»:

> Или не помнишь ты тех мудрых слов,
> Какими Этика твоя определяет
> Три состояния души, враждебных Богу?[825]

Не только, впрочем, у грешного Данте, но и у святого Фомы Аквинского, великого столпа католической Церкви, — тот же уклон мысли — от Христа к Аристотелю.[826] Здесь, может быть, отшатнулся бы св. Франциск Ассизский и от св. Фомы, с таким же ужасом, как от грешного Данте.

Сторожу земного рая в Чистилище, самоубийце Катону, говорит Виргилий о Данте:

> Свободы ищет он, — сколь драгоценной, —
> Ты, жизнь отдавший за свободу, знаешь.[827]

Вечно будет людям памятна «жертва несказанная суровейшего подвижника свободы, Марка Катона… Чтобы в мире зажечь к ней любовь, он лучше хотел умереть, чем жить рабом».[828]

— «О, святейший дух Катона! кто посмел бы о тебе говорить?»[829]

— «В ком из людей образ Божий явлен больше, чем в Катоне?» — скажет Данте, в «Пире», забыв о христианских святых и подвижниках так, как будто никогда никакого христианства и на свете не было.

Первого учителя безбожного и богопротивного знания, Аверроэса, обличавшего «Трех Обманщиков», Моисея, Христа, Магомета[830] и «лаявшего на Господа, как бешеный пес»,[831] Данте увидит, вместе с Орфеем, Эмпедоклом, Сократом, Сенекой и другими великими учителями древности, в ясной области Лимбов, Элизиуме святых язычников:

> Там, на лугу, зеленом и цветущем,

Мужи с медлительным и важным взором,
В чьих лицах был великой власти признак,
Беседовали в сладкой тишине.[832]

Церковью осужденный за ересь ученик Аверроэса — Антихриста, теолог Сигер Брабантский (1226–1284), начал первый учить в Париже, на улице Соломы, близ Сорбонны, где Данте мог слышать его, — о двух несоединимо-параллельных путях Веры и Знания, доказывая в блестящей игре силлогизмов, что бытие Бога, загробную жизнь, Искупление и прочие святейшие истины веры он вынужден принять, как христианин, но должен отвергнуть, как философ.[833] Данте увидит его в четвертом небе Солнца, в сонме великих учителей Церкви, рядом с обличавшим его в ереси, св. Фомой Аквинским; тот на него Данте и укажет:

То пламя вечное — душа Сигера,
Который зависть в людях возбуждал,
Когда учил на улице Соломы,
Глубоким истинам в искусных силлогизмах.[834]

В той же игре силлогизмов не менее искусный игрок, «один из черных херувимов», мог бы напомнить Сигеру и ученику его, Данте:

…А я ведь тоже логик, —
Ты этого не знал?[835]

Наша природа человеческая в корне зла, потому что искажена первородным грехом, — учит св. Августин. «Наша природа человеческая в корне добра, la nostra buona natura», — учит, вместе с ересиархом Пелагаем, злейшим врагом Августина, Данте в «Пире», где как будто нет вовсе ни первородного греха, ни ада, ни дьявола, а следовательно, как будто нет и Искупления.[836] Вся природа, не только человеческая, но и стихийная, — такая же «Милосердная Дама», Donna pietosa, для Данте, как и наука о природе, философия. Только в «Чистилище», превратится эта «Милосердная Дама» в беспощадную, «Каменную», Donna pietrosa, — в «древнюю ведьму». Сирену-обманщицу:

«Я — сладостно поющая Сирена,
Манящая пловцов на ложный путь,

Кто полюбил меня, тот скоро не разлюбит.
Так чар моих могущественна власть!»
Еще уста поющей не сомкнулись,
Когда явилась мне Жена Святая, —
Беатриче — Вера, обличительница ложного Знания, —
И, разодрав ей спереди одежду,
Мне показала чрево той нечистой,
Откуда вышел смрад такой, что я проснулся.[837]

В благоуханиях Пира уснул, — проснулся от смрада в Аду.

«Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь», учит Евангелие (Лк. 17, 14); путь пространен и врата широки, — учит Пир. Кажется иногда, что Данте хочет здесь, освободившись от ада и чистилища, прямо войти в Рай Земной, о Рае Небесном вовсе не думая.

«В зрелом возрасте „человек должен раскрыться, как благоухающая роза“,[838] а в старости благословить пройденный путь… Смерть наша да будет безгорестна… Как спелое яблоко падает с ветки само, не будучи сорвано… так душа должна отделиться от тела безболезненно».[839]

Dies irae, dies illa — этого грозного напоминания Данте не слышит, на светлом Пире Знания, — услышит в темном аду Веры.

Что вкушается на пире, — «ангельский хлеб», или амброзия Олимпийских богов, или огненная пища титанов, или то волшебное, на кухне ведьм приготовленное снадобье, которое даст или не даст Фаусту, человеку и всему человечеству, вечную молодость, — это решит будущее; а пока ясно одно, — что начатый у Данте «пир» до наших дней продолжается, и что если бы довести до конца то, что соблазняет Данте в «похоти знания»: «будете, как боги», — то этим концом была бы наша воля к познанию, как «воля к могуществу». — «Духом божеской, титанической гордости возвеличится человек… и явится Человекобог. Ежечасно побеждая, уже без границ, всю природу волею своею и наукою, человек… будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных», — предскажет этот желанный или страшный конец веселого Дантова пира Достоевский;[840] а за пятнадцать веков до него св. Августин уже предсказал: «Чем я хотел уподобиться Тебе, Господи, хотя бы превратно? Не тем ли, что мне было сладко преступать закон… и, будучи рабом, казаться свободным… в темном подобии всемогущества Божия, tenebrosa omnipotentiae similitudine?»[841]

Кажется, и Данте иногда предчувствует, какой бедой может

окончиться Пир. Сколько бы ни убеждал он себя, ни обманывал, что Параллели вместо Креста, — два рядом идущих, несоединимых пути, Вера и Знание, — не зло, а добро, установленный Богом закон, — в этом разделении, раздирании души между двумя правдами, двумя целями, земной и небесной, — вечная мука его — внутренний ад: «мука эта была для меня так тяжела, что я не мог ее вынести».[842]

Кажется, он и сам иногда понимает, что слишком удобная «двойная бухгалтерия» — двоеволие, двоедушие, — «служение двум господам», есть «низость», vilta. «Сердце мое соглашалось на это… но, согласившись, говорило: „Боже мой, что это за низкая мысль!“» [843]

Может быть, Данте чувствует себя, в иные минуты, одним из тех «малодушных», ignavi, не сделавших выбора между Богом и диаволом, которые казнятся в преддверии ада, хотя и легчайшей, но презреннейшей казнью.

> Они принадлежали к злому сонму
> Тех Ангелов, что не восстали
> И не были покорны Богу,
> Но были только сами за себя.
> Отвергло небо их, и ад не принял…
> Их мир забыл, и милосердье Божье,
> И правосудие равно их презирает.[844]

Может быть, в такие минуты мука Данте, тягчайшая, — самопрезренье.

«О, какие это были муки моего рождающего сердца, какие вопли. Боже мой!.. Этого никто не знает, кроме Тебя», — мог бы сказать и Данте, как св. Августин. — «Я искал Тебя, Господи, как только мог; я хотел понять веру мою… и очень устал»… — «Боже мой, единственная надежда моя, услышь меня, не дай мне изнемочь в поисках моих, от усталости и отчаяния… дай силу искать Тебя до конца. Ты один видишь силу и немощь мою; исцели немощь, укрепи силу. Ты один видишь знание мое и неведение… Я стучусь, — отвори! Дай мне знать Тебя и любить!»[845]

Если так молился Данте вместе с Августином, то, может быть, и его молитва исполнилась. Тем же чудом небесно-земной любви спасся он и здесь, в земном аду, как там, в подземном.

Волю средних веков, к «вере, ищущей разума», fides quaerens intellectum, превращает он в волю грядущих веков к «разуму, ищущему веры», intellectus quaerens fidem.[846] Этим-то он и близок нам и нужен сейчас, как никто из людей нашего времени,

только верующих или только знающих.

Данте — грешник и, может быть, даже великий, потому что и в этом — во грехе — он так же велик, как во всем. Но в черноте старой греховности его вспыхивают вдруг ослепительно-молнийно-белые точки новой, в христианстве еще небывалой, уже за-христианской, Третье-Заветной святости. Если бывший Данте — весь еще в черноте греха, включающего в себя и грешную «похоть знания», libido sciendi, то в этих белых точках святости, включающей в себя и святую волю к знанию, — весь Данте будущий.

В центре земли, на самом дне ада, сковано вечными льдами исполинское тело Люцифера. Данте с Вергилием ползут, точно блохи, по волосам этого тела, как по ступеням ужасающей лестницы к центру земли, «куда влекутся все тяжести». И здесь Вергилий делает сам и принуждает спутника сделать нечто, для него непонятное:

> …Перевернувшись
> С мучительным усильем, обратил
> Он голову туда, где были ноги.

И снова лезут они все по той же косматой лестнице — волосам Люциферова тела, теперь уже не вверх, а вниз; но Данте, все еще не понимая, думает, что продолжает спускаться, возвращаясь в ад, пока, наконец, Виргилий не объясняет ему: «когда перевернулся я, ты перешел за центр земли и в гемисфере нижней находишься теперь».[847]

Что в эту минуту чувствует Данте, — только ли ужас неимовернейшего из всех путей? Нет, может быть, и нечто подобное тому, что чувствовал Колумб, устремляя корабли свои сквозь бури океана и «тысячи смертей», все на Запад, на Запад, в неизвестный мир; что чувствовал и предтеча Колумба, древний подвижник знания, новых земель открыватель, Улисс, готовясь устремить свой последний корабль в тот же неизвестный мир.

> …И спутникам моим сказал я: «Братья,
> Прошедшие сквозь тысячи смертей,
> Чтоб Запада далекого достигнуть, —
> Не откажите посвятить пути,
> Никем не хоженному, против солнца,
> В необитаемый и неизвестный мир, —
> Остаток дней, теперь уже недолгих.
> О, вспомните призванье человека
> Высокое: не в слепоте и страхе,

Как зверю, жить, но возвышать свой дух
Божественною радостью познанья!»[848]

Радость эту, может быть, чувствует и Данте, когда, выйдя из подземных недр, первый из людей верхней гемисферы, видит на неизвестном небе нижней — сверкающее в красоте несказанной, четверозвездие Южного Креста.[849]

Когда из мертвенного воздуха я вышел,
Печалившего сердце мне и очи,
То усладил их разлитой по небу…
Прозрачному до высшей сферы звезд…
Сладчайший цвет восточного сапфира. —
И в нем четыре я звезды увидел,
Невиданные от начала мира.
Как радуется им не наше небо!
О, вдовствующий Север наш, пустынный,
Лишенный тех божественных огней![850]

Этим-то невиданным Крестом и будет крещено у Данте, как та разлитая не на нашем небе, синева «восточного сапфира» — новорожденное Святое Знание грядущих веков; тем же Крестом скрещены, соединены, в неземной геометрии, две параллельные линии — знающая Вера и верующее Знание.

После Александрийских астрономов, Данте первый, до Колумба, угадывает шаровидность земли и существование великого неизвестного материка — бывшей Атлантиды, будущей Америки.[851] За три века до Галилея, за четыре до Ньютона, предчувствует он закон мирового тяготения.[852] Та же новая воля к опытному знанию — в «Божественной комедии», как в «Атлантическом кодексе» Леонардо да Винчи.

В Огненном Небе, Эмпирее, неземное «восхищение», raptus, не мешает Данте, математику, определять с точностью, как относится к западному горизонту и меридиану Иерусалима та астрономическая точка, где он находится.[853]

Вот как изображает он закат, на высоте Чистилищной Горы: «Солнце стояло на небе, как стоит оно, в тот час, когда первые лучи его искрятся там, где кровь свою пролил Создавший солнце, и когда, под высоким созвездием Весов, падает Эбр, а воды Ганга сверкают, в полуденный час».[854] Это значит: был час, когда на высоте Чистилищной Горы — закат, в Иерусалиме — восход, в Индии — полдень, а в Испании полночь. В этой широте астрономического взгляда на мир — та же упоительная радость

полета у Данте, какую чувствовал, должно быть, и Винчи, изобретая человеческие крылья, и нынешние летчики чувствуют, когда горят над ними, без лучей, в ледяной черноте стратосферы, чудные и страшные дневные звезды.

По тем волнам, куда я путь мой правлю,
Никто еще не плавал никогда, — [855]

скажет Данте, может быть, с большим правом, чем мог бы сказать Колумб, потому что новый материк духовный, открытый Данте больше, чем материк вещественный, открытый Колумбом.

Того, о чем теперь сказать я должен,
Не говорил ничей язык, и не писало
Ничье перо, и никому о том
Не грезилось.[856]

«Я хочу показать людям никогда еще никем не испытанные истины» — это мог бы сказать, и в наши дни, Данте.[857]

«Многое я уже видел, как бы во сне», — говорит он о начале жизни своей и то же мог бы сказать об ее конце.[858]

Любовь с моей душою говорит…
Но слов любви мой ум не понимает.[859]

Сердце поймет, когда в чуде небесно-земной любви будут Три — Одно.

Безумен тот, кто думает, что разум
Постигнуть может бесконечный путь,
Который Трех в одно соединяет…
Довольствуйтесь же, люди, малым знаньем
И помните, что, если б все вы знали,
То Деве было б незачем рождать.[860]

Две параллельные линии, не пересекающиеся в кресте — два пути. Вера и Знание, несоединимые в малом разуме человеческом, соединяются в великом Разуме Божественном — Логосе. «В Нем была жизнь, и жизнь была Свет человеков» (Ио. 1, 4), —

Свет разума, исполненный любви

Luce intellectual, piena d'amore, — [861]

свет молнии, соединяющей небо и землю.

Как соединяются в Логосе разъединенные в космосе. Древо Жизни и Древо познания, — в этом вопросе — все, для чего Данте жил и все, что он сделал. Он мог бы сказать о всей жизни своей и обо всем своем творчестве то, что говорит о бывшем ему, в Огненном Небе, Эмпирее, видении Трех:

Я был тогда геометру подобен,
Который ищет квадратуры круга —
И не находит…
Так я хотел постигнуть и не мог…
…Вдруг молнией был поражен мой ум,—
Я понял все…

Вещее знамение — символ того, что должно произойти с отступившим от Христа человечеством наших дней, чтобы оно могло, вернувшись ко Христу, спастись, — есть Данте, геометр, испепеленный молнией Трех.

Если когда-нибудь мир, в наши дни, так страшно и жалко погибающий, под демоническим знаком Двух, выйдет из-под него и спасется, под знаком божественным Трех, то потому, что Данте, так же погибавший и спасшийся, — первый не в Церкви, а в миру, против мира и против себя самого, — сказал:

не Два, а Три.

XII. ДАНТЕ И ОН

Если у Данте одно из самых страдальческих лиц, какие только запомнились человечеству, и углы рта опущены, как бы с несказанною горечью, и плечи сгорблены, как бы под раздавливающей тяжестью, то, может быть, главная причина этого — не бедность, не изгнание, не унижение, не одиночество, не тягчайшая из мук его, — бездействие, а что-то другое, о чем он никогда никому, ни даже себе не говорит, и на что невнятный намек слышится только в этих страшных словах:

> …О, Юпитер,
> За нас распятый на земле, ужели
> Ты отвратил от нас святые очи?[862]

Так ли это? Не грешные ли очи отвратили мы от Него? Медленно страшно охладевает сердце мира ко Христу; охладевает и сердце Данте. Точно черная тень легла между ним и Христом; точно Христос обидел его какой-то нездешней обидой, какой-то горечью неземной огорчил. Может быть, не наяву, когда думает он о Христе, а во сне, когда мучается Христос, — сердце его плачет: «не знаю, не знаю, не знаю кто кого разлюбил, я — Тебя, или Ты — меня!»

Кажется иногда, что между Христом и Данте происходит всю жизнь нечто подобное тому, что произошло в начале жизни между ним и Беатриче, когда она отказала ему в «блаженстве приветствия»: «я почувствовал такую скорбь, что, уйдя от людей туда, где никто не мог меня слышать, я начал плакать… и плача, уснул, как прибитый маленький мальчик».[863]

Кажется иногда, что есть два Данте: огненный, вспыхивающий, как молния, и потухающий, серый, холодный, как пепел: молнийный — обращен к Отцу и Духу, а пепельный — к Сыну.

Данте не то что разлюбил Христа, но как будто перестал любить или не захотел знать, что любит Его. К церкви ближе он, чем к Евангелию; к Евангелию ближе, чем к Христу; ко Христу ближе, чем к Иисусу. В том, что Христос воистину Сын Божий, он не сомневается. «Самая зверская, подлая и пагубная из всех человеческих глупостей то, что нет загробной жизни», — говорит он и мог бы прибавить: «Глупость такая же и то, что Христос не Сын Божий».[864] Данте верит во Христа, но любит его меньше, чем верит. — «Как бы я хотел любить Тебя, Господи! как бы я

хотел отдать Тебе душу мою и тело мое! как бы я хотел отдать Тебе… о, если бы я знал что!» — этой молитвы св. Франциска Ассизского не мог бы повторить Данте.[865] Сердце его не «истаяло», как сердце Франциска, «памятью Страстей Господних пронзенное».

Кажется иногда, что Данте не понял бы этого «незаписанного» слова Господня:

> Кто не несет креста своего, тот Мне не брат.[866]

В Сыне Человеческом Данте как будто не видит и не чувствует Брата. Холодом веет от таких геральдических образов, как Христос — «пеликан»,[867] или «грифон», запряженный в колесницу, на которой едет Беатриче в триумфальном шествии Церкви.[868]

Понял бы, вероятно, Данте, что ни Богоматери, ни даже Беатриче нельзя назвать «Венерой», а что Христа нельзя называть «Юпитером», не понимает. Что подумали бы христианские мученики, умиравшие за отказ почтить Олимпийских богов, если бы узнали, что Иисус некогда назван будет «распятым Юпитером»?

> Со мной ты будешь вечным гражданином,
> В том городе, где Римлянин — Христос, —

предрекает возлюбленному своему Беатриче.[869] В двух Люциферовых пастях две одинаковые жвачки — Иуда, предатель Христа, и Брут, убийца Юлия Цезаря.[870] Равенством этих двух казней не утверждается ли хотя бы от противного и в какой-то одной точке равенство двух святынь, — той, что идет от царя земного, Цезаря, и той, что идет от Царя Небесного, Христа?

Если Данте в исповедании веры своей перед апостолом Петром не упоминает ни словом о воплощении Сына Божия в Сыне Человеческом, то едва ли это случайность, так же, как то, что в «Комедии» нет ни Голгофы, ни Воскресения Христа, ни Евхаристии или все это есть, но только во внешнем церковном догмате, а не во внутреннем религиозном опыте самого Данте; нет вообще Сына Человеческого, есть только Сын Божий.[871]

Очень «опасная тайна» всей «Божественной комедии», по слову одного из новейших истолкователей, заключается в том, что Искупление совершилось в жертве Голгофской только наполовину, потому что «Римский Орел» — не менее «святое знамение», sacrosancto segno, и не менее действительное орудие

спасения, чем Крест.[872] В тайном строении Дантова мира эти два орудия находятся на двух концах земной оси: на одном из них, в Иерусалиме, — Крест, а на другом, — в земном раю, на вершине Чистилищной Горы и Древа Жизни, — Орел.[873] Если после первой победы над злом, силою Креста, не совершится и вторая победа, силою Орла, то первая — тщетна.[874]

В чем большее отступление от Христа, — в том, чтобы утверждать, как Ницше и все его бесчисленные ученики, что христианство совсем «не удалось», или в том, чтобы утверждать, как Данте, что оно удалось «наполовину»?

Что такое искупление для Данте? «Мщение», vendetta, совершаемое — страшно сказать — Отцом над Сыном: «мщение совершить над Христом — славу эту дало ему (Тиберию) Правосудие Божие».[875] Большее извращение основного христианского догмата трудно себе и представить.[876]

«Что направляет стрелу твою к этой цели (к любви)»? — спрашивает апостол Иоанн, и Данте отвечает: «философские доводы», filosofici argomenti.[877] Трудно себе и представить большее извращение христианского опыта.

Это будет иметь необозримые для всего христианского человечества последствия в том, что сам Данте называет «великим отказом», il gran rifiuto, «отступлением» от Христа.[878]

Отступи от меня, чтоб я мог подкрепиться, прежде, нежели отойду и не будет меня (Пс. 38, 14), —

скажет Христу все христианское человечество, — праведно или неправедно, — этого Данте не может или не хочет решать, мучаясь этим не наяву, а только во сне: «ужели Ты отвратил от нас святые очи?»

Духа называет Сын «Утешителем», как будто знает, что чем-то невольно огорчит людей, от чего надо будет их «утешить» Духу. Может быть, один из огорченнейших и в утешении наиболее нуждающихся — Данте. Что отделяет его от Христа? То же, что Первый Завет отделяет от Второго, Царство Отца — от Царства Сына, а может быть, и Второй Завет — от Третьего, Царство Сына — от Царства Духа, по Иоахимову «Вечному Евангелию».

На две половины разрублено человечество Его мечом,
не мир пришел Я принести, но меч. (Мт. 10, 34.)

В той половине, языческой, до удара меча, все или почти все погибли, а в этой половине, христианской, после удара, — кое-кто спасется. Тем же мечом и душа Данте разрублена — «разделена»: «было в душе моей разделение». Две половины человечества и в его душе хотят и не могут срастись, как два обрубка змеиного тела. «Душа человеческая, по природе своей,

христианка», учит Тертуллиан. Нет, полухристианка, полуязычница, как это видно по душе Данте.

…Сомненья древний голод
Меня терзает вот о чем…
Родился человек на берегах у Инда,
Где о Христе никто не знает и не слышал;
Был праведен во всех своих делах,
Насколько разум наш постигнуть может;
И жизнь прожив безгрешно, — умирает,
Крещения лишенный. Кто ж осудит
Его, каким судом, и по какой вине?[879]

Данте знает или чувствует, что единственный ответ на этот вопрос: «а ты кто человек, что споришь с Богом?» — вовсе не ответ, а затыкание рта (Рим. 9, 20).

…В это царство (рай),
Без веры во Христа, вступить не мог бы
Никто, ни прежде, чем ко древу
Был пригвожден Господь, ни после.
Но знай, что многие твердятся «Христос!
Христос!»
И дальше будут от Христа, чем те,
Кто никогда его не знал.[880]

Дальше будут от Христа знавшие Его, и все-таки спасутся; ближе будут ко Христу не знавшие Его, и все-таки погибнут? Разум Данте молчит, не спрашивает: «За что?» — но сердце его тихо плачет, как у того «прибитого маленького мальчика».

…Я в них узнал обиженные души.[881]

Данте, может быть, и сам — одна из этих душ.

«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев, родных мне по плоти, мог бы сказать и Данте, как Павел» (Рим. 9,3).

Праведного язычника, Рифея Троянца, Данте видит в раю, в сонме великих святых.

За то, что отдал прямоте душевной
Там, на земле, он всю свою любовь,

Бог открывал ему глаза слепые,
От благодати к благодати,
На будущее искупленье наше;
И он уже в него поверил так,
Что не терпел языческого смрада
И обличал порочный род людской.[882]

Спасся праведный, почти святой, язычник Рифей, а не менее святой Виргилий погиб:

Я небо потерял за то, что во Христа
Не верил; нет иной вины за мной.[883]

Это могли бы сказать с Вергилием все погибшие невинные, в дохристианском человечестве, потому что не верить во Христа, еще не пришедшего, — какая же это вина?

Как много есть желающих бесплодно,
Таких, кто мог бы утолить желанье,
Но мучиться им будет вечно!
Я мудрого Платона разумею,
И Аристотеля, и множество других, —
так он (Вергилий) сказал, —
…и, вдруг челом поникнув,
Умолк, в смущении.[884]

А когда опять заговорит, то скажет:

…праведным судом
Я обречен на вечное изгнанье.[885]

Изгнан, вместе с некрещеными младенцами, в жалкий, детский ад, где слышатся «не громкие вопли, а только тихие вздохи» неутолимой тоски.[886] Если разум Данте соглашается и с этим «праведным судом», то сердце его с ним согласиться не может, но опять молчит, не спрашивает: «За что?» а только тихо плачет, как один из тех некрещеных младенцев в аду.

Праведность всего дохристианского человечества олицетворяется для Данте в «мудром учителе», «сладчайшем отце» его, Вергилий, в ту минуту, когда говорит ему поэт Стаций, обращенный им в христианство язычник:

Ты был тому подобен, кто светильник
Несет во мраке позади себя,
Светя, в ночи другим, но не себе, —
Когда предрек: «Век новый наступает,
Свет правды скоро воцарится в мире,
Божественный нисходит с неба Отпрыск…»
Я обращен тобою ко Христу.[887]

В эту минуту Виргилий для Данте — его же собственная, языческая тень: так же несет и он «светильник во мраке, позади себя, путь освещая другим, но не себе; и так же осужден, если не в том мире, то в этом, на „вечное изгнанье“».

Только что появляется в земном раю Чистилища небесный вождь Данте, Беатриче, — вождь его земной и подземный, Вергилий, исчезает перед нею, как ночная тень перед солнцем. Пристально глядя на Беатриче, Данте не замечает сразу этого исчезновения и обращается к Виргилию, «с таким же доверием, с каким дитя, в испуге или в печали, к матери бежит».

Но не было Вергилия со мной,
Ушел отец сладчайший мой, Вергилий,
Кому мое спасенье поручила
Владычица моя. И все, что видел
Я здесь, в земном раю, не помешало
Слезам облить мои сухие щеки…
И потемнеть от них лицу.[888]

С этими-то слезами, может быть, и отвращает он грешные очи от Христа, или Тот отвращает от него «святые очи». Данте, который «видит все», — только не это — Лик Христа — вдруг слепнет: не может или не хочет заглянуть Ему прямо в лицо. Так же, как у тех двух учеников, на пути в Эммаус, глаза у него «удержаны» (Лк. 24,16).

Я был, как тот, кто хочет вспомнить
Забытое виденье, и не может.[889]

С огненного неба. Эмпирея, нисходит Христос в восьмое небо Неподвижных Звезд.

И мне сказала Беатриче: «Вот Христа
Над миром торжествующее войско»…

…И я увидел тысячи лампад;
Все были Солнцем зажжены одним,
Как все земные звезды — нашим солнцем.
И сквозь его живое пламя Лик
Просвечивал таким могучим светом,
Что вынести его не мог мой взор…

Чтобы не видеть этого Солнца — Лика Христова, Данте отвращает от него глаза и смотрит в лицо Беатриче.

«Зачем ты так влюблен в мое лицо,
Что и смотреть не хочешь на прекрасный,
В лучах Христа цветущий, Божий сад…
Где Роза, в ней же Слово стало плотью,
Где Лилия, чье сладкое дыханье
Ведет нас всех по верному пути?»
Так мне сказала Беатриче, и, покорный
Ее веленью, попытался вновь
Я разомкнуть мои слепые вежды.
Но точно так, как на земле, бывало,
Под солнечным лучом, прорвавшим тучу,
Цветущий луг я видел, в блеске солнца,
А сам покрыт был тенью, — так и здесь
Увидел я бесчисленные сонмы
Молниеносных лиц, но озарившей
Их молнии не видел…
О, Тихий Свет Христов, вознесся Ты на небо,
Чтоб слабых глаз моих не ослепить.[890]

Так, в этом мнимом видении Христа обнаруживается действительная невидимость Его для Данте. Вечно для него памятное видение — Беатриче, а Христос — «видение забытое», visione oblito. Солнцем Беатриче — ее улыбкой — затмевается для него «Солнце Христа». Ближе ему, нужнее, действительнее Христа — Беатриче.[891] Данте не знает и не видит Христа, или меньше знает и видит Его, чем Беатриче, потому что меньше любит Его, чем ее, или меньше помнит свою любовь к Нему, чем к ней. Вместо Него — Она. Данте видит Его только в ней.

Взгляни ж теперь на этот лик (Марии),
Подобнейший Христову Лику:
Ты в нем одном Христа увидеть можешь.[892]

Лик Беатриче, земной девушки в прошлом, — Небесной Девы, Марии в настоящем, — Матери-Духа в будущем: Лик Единой в Трех. Это и значит: Данте может увидеть Его, Сына, только в Ней — в Матери.

XIII. ДАНТЕ И ОНА

Выше сфер высочайших
возносится вздох сердца моего;
новая мысль, которую Любовь
внушила сердцу, плача,
влечет его к себе.[893]

Этот религиозный опыт Данте повторится и в опыте Гёте:

Вечная женственность
Влечет нас к себе.

«Снизу вверх влечет», pur su lo tira, у Данте; «влечет нас к себе», zieht uns hinan, у Гёте.

«Новую мысль» о чуде любви, побеждающем закон тяготения, Данте записал, вероятно, в 1292 году, вскоре по смерти Беатриче; но чудо это началось еще раньше, в 1274 году, при первой встрече девятилетнего мальчика, Данте, с восьмилетней девочкой, Биче.[894]

…Я вела его
Очарованьем детских глаз моих.[895]

Это началось в детстве и продолжалось всю жизнь.

С тех юных дней, как я ее увидел
Впервые на земле, — ей песнь моя…
Не прекращалась никогда.[896]

Не прекращалось и то чудо любви, которое святые называют «подыманием тела», levitatio.

…Правящая небом, Любовь…
Меня подняла.[897]

Так же несомненно осязательно, физически, как силу земного тяготения, влекущего вниз, чувствует Данте, не только в душе своей, но и в теле, силу притяжения обратного, влекущего вверх.

Сила эта исходит из глаз Беатриче:

…к солнечной Горе (Очищения)
Я поднят был прекрасными очами.[898]

Взор ее, живой и умершей-бессмертной, — тот Архимедов рычаг для него, которым подымаются и возносятся все земные тяжести к небу.

Стоя на вершине горы Чистилища, где находится рай земной, и откуда начинается путь в рай небесный, Беатриче смотрит на полуденное солнце в зените так прямо и пристально, «как никогда и орел на него не смотрел», а Данте смотрит на нее так же пристально и прямо, «в ее глаза вперив свой взор». И чудо совершается: вместе с нею возносится и он «выше сфер высочайших», но так плавно-тихо, что этого не чувствует и только по бесконечно растущему свету, —

…Как будто Всемогущий
На небе солнце новое зажег, —

и по тому, что весь воздух вокруг него ослепительно сверкает, «как только что вынутое из огня, кипящее железо», — он догадывается, что с ним происходит что-то необычайное; но что именно, понимает только тогда, когда Беатриче ему говорит:

Знай, ты теперь уже не на земле,
Как думаешь, но молнии так быстро
Не падают, как ты летишь туда,
Где молнии родятся.[899]

Так рабство всех рабств, закон тяготения, преодолевается чудом свободы — полета. При восхождении по чистилищной лестнице, —

Так прибавлялося желание к желанью
Быть наверху, что, с каждым шагом,
Я чувствовал, что у меня растут
Невидимые крылья для полета.[900]

Внешним крыльям, механическим, Леонардовым, и нашим, противоположны эти внутренние, живые крылья Данте: те — чужие, эти — свои; человек остается на тех таким же бескрылым и

в небе, каким был на земле; только для того летит, чтобы упасть — умереть, или опуститься и жить, ползая по земле, как червь. Но никогда не упадет и не опустится тот, кто летит на этих внутренних крыльях, живых.

Взят человек от земли — родился, и отойдет в землю — умрет; это значит: притяжение земли есть притяжение смерти, а победа над ним — победа над смертью, вечная жизнь — вечный полет.

Первый человек в раю был бессмертен, потому что свободен от закона тяготения: мог летать, как птица или Ангел, а если не летал, то, может быть, потому, что не успел за слишком короткий, хотя и вечный, миг Рая (Талмуд). Сила земного тяготения начинает действовать в душе и в теле человека, вместе с грехопадением пал Адам — согрешил, и вышел из Рая; отяжелел — умер. Глубочайший смысл всей человеческой трагедии Данте — любви его к Беатриче, так же, как всей «Божественной комедии», — возвращение изгнанного человека и человечества в Рай: «Цель всего моего творения и всех его частей — вывести человека из состояния несчастного (Ада) и привести его к состоянию блаженному» (Раю); преодолеть в душе и в теле человека силу земного тяготения, влекущего вниз, силой тяготения обратного, влекущего вверх; победить порабощающий закон механики, необходимости, чудом свободы — полета. Дело Беатриче, дело любви, земное и небесное, — освобождение Данте, человека и человечества.

Ты сделала меня, раба, свободным…
Освободи же до конца…
Чтоб дух, от смертной плоти разрешенный,
К тебе вознесся, —

молится Данте.[901]

«Величайший дар Божий людям — свобода», — скажет он и в «Монархии».[902]

Из всех даров, какими одарил
Творец свои созданья, величайший
И драгоценнейший, — свобода воли,
Которая всем существам разумным,
И только им одним, была дана, —

скажет он и в «Комедии».[903]

Самое свободное и освобождающее в мире, потому что самое

легкое и закон мирового тяготения наиболее побеждающее, — Дух. Вот почему первое слово Сына, обращенное к людям, слово о Духе Освободителе:

Дух… послал Меня… проповедовать пленным освобождение… отпустить измученных (рабов) на свободу. (Лк. 4, 18.)

Вот почему, по Иоахимову «Вечному Евангелию», в Первом Завете Отца — закон; во Втором Завете Сына — любовь, а в Третьем Завете Духа — свобода.[904]

Бог есть Отец: таков второй, позднейший, религиозный опыт человечества, а первый, изначальный: Бог есть Мать. Прежде, чем Богу сказать и услышать от Него: «Отец», — люди сказали Ему и от Него услышали: «Мать».

Как утешает кого-либо Мать… так утешу Я вас. (Ис.66, 13.)

Это было в начале и, может быть, будет в конце. Будет Утешителем Дух, в явлении Духа-Матери. Бога Отца люди помнят, а Бога Мать забыли и тщетно стараются вспомнить в поклонении земной Матери Сына, Деве Марии. Данте первый вспомнил Мать. Лучше, чем кто-либо, мог бы он понять это «незаписанное» в Евангелии слово Господне, Аграфон:

Матерь Моя — Дух Святой.
Mater mea, Spiritus Sanctus.
Ile mèter mou to agion pneuma.[905]

Религиозный путь Данте — путь всего человечества: от Матери к Сыну в прошлом, а в будущем обратно — от Сына к Матери.

Antiquam exquirite Matrem,
Матери древней ищите, —

этот ветхий и новый, вечный завет Вергилия и всего дохристианского человечества исполнил Данте.

Две любви к Беатриче соединяются в сердце его, — та, которою жених любит невесту, и та, которою сын любит мать.

…Я обратился к той,
Которая вела меня… и так,
Как матерь к сыну, бледному от страха,
Спешит, она ко мне на помощь поспешила.[906]

Это в середине пути; это и в начале:

> …От жалости ко мне она вздохнула
> И на меня взглянула молча так,
> Как смотрит мать на бредящего сына.[907]

В тайне божественного материнства соединяется для Данте Беатриче с Пресвятою Девою Марией:

> Дал ей Всевышний воссесть
> В небе Смиренья, там, где Мария.[908]

Это в первом видении Рая, около 1292 года, вскоре по смерти Беатриче, и через двадцать восемь лет, около 1320 года, в последнем видении, — то же. Солнечно-желтым сердцем, «Вечная Роза», Rosa candida. Rosa sempiter na,[909] цветет под солнцем вечной Весны, в Огненном небе. Эмпирее Сонмы Блаженных, неисчислимые, образуют ее лепестки. В первом, высшем круге их, — Дева Мария; у ног Ее — Ева, «древняя Матерь», Mater antiqua; эта «род человеческий ранила, — та исцелила». А в третьем круге, у Евиных ног, — Беатриче.[910] Но в этих трех Одна — Матерь-Дух. Если этого Данте еще не знает наяву, то «уже видит, как бы во сне», quasi come sognando, gia vedea.[911]

Теми же почти словами, какими Ангел Благовещения говорит. Деве Марии:

Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя (Лк. 1, 35), —

Данте говорит о Беатриче:

> Сила Божия нисходит на нее… Дух Небесный…
> …Вот для чего создана была она от вечности.[912]

Теми же почти словами говорит Данте о ней, какими Символ Веры говорит о Христе:

> Ради нашего спасения сошла Она на землю.[913]

Смертную женщину, никому, в те дни, еще неизвестную девушку, Биче Портинари, возносит он выше всех святых, — может быть, выше самой Девы Марии.[914] Это «ересь» и «кощунство», если нет «Третьего Царства Духа», а если оно есть, то это новый, в христианстве небывалый, религиозный опыт, уже

по ту сторону христианства, — не во Втором Завете, а в Третьем.

О, тихий Свет Христов, вознесся Ты на небо,
Чтоб слабых глаз моих не ослепить.
И в тот цветок, на небе пламеневший,
Единственный, чье сладостное имя
Я призываю вечером и утром, —
Я погрузил всю душу…
И между тем, как та Звезда живая
Все затмевала так же здесь, на небе,
Как некогда затмила на земле, —
Сошедший с неба, огненный венец
Обвил ее, вращаясь в чудном блеске,
И музыка тишайшая земли…
И для души сладчайшая, громами,
Что раздирают на четверо тучу,
Казалось бы пред тою тихой песнью,
Что славила Божественный Сапфир,
В чьей синеве еще синее небо.
И так звучала песнь Святого Духа:
«Я — вечная Любовь, венец блаженства,
Которым дышит девственное чрево,
Обитель Сына Божья на земле».
И повторяли все Огни: «Мария!»
И вознеслась на небо Матерь к Сыну.
И, как дитя, напившись молока,
У груди матери, к ней простирает руки,
Так все они простерлись к Ней с любовью…
И хором пели все: Regina coeli, —
Так сладостно, что не забуду ввек.[915]

Может быть, Беатриче, ушедшая в Белую Розу, снова выходит к Данте Девой Марией, так же, как Мария, ушедшая к Сыну, выйдет снова Матерью-Духом. Как бы две «Дамы Щита», Donne di Schermo: Беатриче скрывает от Данте Деву Марию, а Дева Мария скрывает от него Духа-Мать.

Ближе всех святых к Данте — Бернард Клервосский (1090–1153), потому что больше всех любит Землю Мать, так же как Матерь Небесную.

Я — Девы Марии верный служитель.[916]

Кажется иногда, что над ними обоими, святым Бернардом и

грешным Данте, совершилось нежнейшее чудо любви — «кормление молоком» Богоматери, lactatio. В 1111 году, когда юный Бернард молился ночью в пустыне Сэн-Ворльской (Saint-Vorle), в часовне Девы Марии, перед Ее изваянием, и произнес слова:

Матерью тебя яви,
Monstra te esse matrem, —

изваяние вдруг ожило, и Царица Небесная сжала один из пречистых сосцов своих так, что брызнувшие из него капли молока упали в полураскрытые от восхищения уста Бернардо.[917]

O clemens, o pia,
O dulcis Virgo Maria, —

эта сладчайшая песнь могла родиться только на этих устах, вкусивших божественной сладости того молока, которым был вскормлен Младенец Христос. Горькою полынью кажется Ангелам, по сравнению с нею, и мед райских цветов. Только на тех же устах могла родиться и эта молитва святого Бернарда за грешного Данте:

О, Дева Мать, дочь Сына своего,
Всей твари высшая в своем смиреньи…
Услышь мою молитву! Горячее
Я не молился никогда
И за себя, чем за него молюсь…
Спаси его, помилуй… Видишь, сколько
К Тебе Блаженных простирает руки,
Со мной и с Беатриче, за него![918]

Так же, как первый, подземный вождь Данте, Виргилий, исчезает, только что появляется на пороге Земного Рая вождь его, второй, небесный, — Беатриче, — исчезает и она, только что св. Бернард появляется на пороге Света Неизреченного — молнии Трех.

…Я обернулся к ней, горя желаньем
Спросить о том, чего не мог постигнуть…
Но в светлых ризах я увидел старца.
С отеческою благостью лицо

Он обратил ко мне,
И я воскликнул: «Где же Беатриче?»
И он в ответ: «Она меня послала
Желание твое исполнить до конца.
И если взглянешь ты на третий круг
В Небесной Розе, то на троне славы
Ее увидишь там»… Глаза я поднял
И увидал ее в сиянье вечном…
Так и морское дно не отстоит
От тех высот, где молнии родятся,
Как было далеко ее лицо.
Но все же видел я его так ясно,
Как будто не был от него ничем
Я отделен. И к ней я обратился
С молитвою… И молча на меня
С далекою улыбкой оглянувшись
В последний раз, — она вернулась снова
К Источнику Предвечному любви.[919]

В эту минуту Данте не отделен от Беатриче уже ничем: тело ее так же, как тело Пресвятой Девы Марии, есть огненное, всего его объемлющее и проникающее дыхание Духа-Матери. Он — в Ней; Она — в нем. То, чего он хотел и не мог достигнуть на земле, — тайны брачной любви: «будут два одною плотью», — здесь, на небе, исполнилось.

Вся «Божественная комедия», так же как вся человеческая трагедия Данте — любовь его к Беатриче, есть не что иное, как совершаемое над ним чудо Пресвятой Девы Марии, а через Нее, может быть, и чудо Духа-Матери.

XIV. ТРИ

Истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я ушел; ибо если Я не уйду. Утешитель не придет к вам, а если уйду… то пошлю Его к вам.

Это предсмертное слово Христа к ученикам, вспоминаемое райской Сибиллой, Беатриче, в видении о грядущих судьбах Церкви,[920] исполнится и на судьбах Данте: Лика Христова не видит он в Первом пришествии, — только во Втором увидит; Сына в Нем самом не видит, — увидит только в Духе.

…О Юпитер,
За нас распятый на земле, ужели
Ты отвратил от нас святые очи?
Или, быть может, в бездне сокровенной
Премудрости своей, Ты нам готовишь
Неведомое благо?[921]

Вся «Комедия» есть не что иное, как утвердительный ответ на этот вопрос: да, «неведомое благо» готовится людям в грядущем явлении того Божественного Существа, под видом «Гончей», Veltro, о котором возвещает Виргилий, когда, по выходе из «темного леса», перед сошествием в ад, Данте встречает «Волчицу».

Тебе иным путем отсюда выйти должно…
Затем, что здесь Волчица стережет…
Всех убивая встречных…
Лютый голод
Ее таков, что никогда ничем
Насытиться не может:
Чем больше ест она, тем голодней.
Со многими блудит она зверями,
И будет с большим множеством блудить.
Но Гончая придет убить Волчицу.
Не золото той Гончей будет пищей,
Но добродетель, мудрость и любовь.
Меж войлоком и войлоком родится
И жалкую Италию спасет…
Волчицу же из городов и весей
Загонит снова в ад, откуда в мир
Ее когда-то выманила зависть.[922]

Самое близкое к Данте и частное явление этой «древней Волчицы», antica Lupa, есть Римская Курия, или даже вся Римская Церковь, а самое далекое и общее — «алчность», «жадность», cupidigia — то царящее в мире зло, которое мы называем «социальным неравенством».

О Жадность, всех живущих на земле
Ты поглотила так, что к небу
Поднять очей они уже не могут![923]
Будь проклята, о древняя Волчица,
Что в голоде своем ненасытимом,
Лютее всех зверей![924]

Кто эта «Волчица», понять легко. Но кто же «Гончая»? Много у Данте темных загадок, крепко замкнутых дверей, от которых ключи потеряны; но из всех загадок темнейшая, крепчайшим замком замкнутая дверь, — эта.

Кажется, два самых ранних истолкователя «Комедии», Безымянный, Anonimo (между 1321 и 1337 гг.) и Пьетро Данте, ближе всех остальных к разгадке. Оба они видят в «Гончей», Veltro, «Христа Судию» Второго Пришествия.[925] Очень вероятно, что истолкование это идет от самого Данте, через сына его. Но если так, то, по-видимому, сам Данте не хотел разгадать загадку до конца; или те, кто от него слышал истолкование, не поняли его, как следует, потому что если имя Veltro, как очень на то похоже, есть тайнопись Иоахимова «Вечного Евангелия» — откровение уже не Второго Лица, Сына, а Третьего, Духа, то и само явление Божественного Существа, чей геральдический образ для Данте есть ослепительно белая и быстрая, как молния, «Гончая», будет явлением тоже не Сына, а Духа.[926]

Вот для чего «святые очи отвратил от нас Распятый»: чтобы «приготовить нам неведомое благо». Два бывших и ведомых блага: первое — создание мира; второе — Искупление, а третье, будущее, неведомое, — явление Духа. В этом третьем благе будет что-то прибавлено к начатому, но не конченному в первых двух: мир создал Отец, искупил Сын, оправдает Дух. Это, идущее от Духа, третье благо и есть, может быть, то, что Ориген называет «восстановлением всего», apokatastasis ton panton, и о чем говорит Павел:

Да будет Бог все во всем. (I Кор. 15, 28.)

Вот что значит: «лучше для вас, чтоб Я ушел».

О, тихий Свет Христов, вознесся Ты на небо,
Чтоб слабых глаз моих не ослепить!

«Отступи от меня, чтоб я мог подкрепиться»…

Сын «ушел» — «отступил», чтобы мог прийти Дух.

Каждый бедный человек, каждый пастух в Апеннинских горах и каждый нищий брат св. Франциска Ассизского, понял бы в те дни, что значит: «меж войлоком и войлоком родится». Очень дешевая и грубая шерстяная ткань, которая шла на одежду бедных людей и рясы нищих братьев, изготовлялась из «войлока», feltro.[927] Это значит: будет рождение Духа в такой же нищете, как рождение Сына в вифлеемских яслях, на соломе. Данте согласен и в этом, как во всем, с первым благовестником Духа, Иоахимом Флорским: «Истинный монах (служитель Духа) ничего не почитает своим, кроме кифары».[928]

Будущее всемирно-историческое действие Духа становится понятным в борьбе «Гончей», Veltro, с «Волчицей». За семь веков до нас Данте понял то, чего, и в наши дни, почти никто не понимает, — что страшный узел социального неравенства, грозящий именно в наши дни затянуться в мертвую петлю и задушить человечество, может быть развязан только в Третьем Завете — в Царстве Духа, Veltro.

Главная сила святости христианской. Новозаветной, — в личном спасении, в правде о человеке, а в спасении общественном, — в правде о человечестве, — будет главная сила святости Третье-Заветной. Данте мог бы согласиться с Августином: «Вся жизнь Града Божия будет общиной, sorialis».[929] — «Лишним владеть, значит владеть чужим»[930] — «Общая собственность — закон Божественный; собственность частная — закон человеческий».[931]

«Древняя Волчица», antica Lupa, есть ненасытимая Алчность, Cupidigia, — проклятое богатство, частная собственность, а «Гончая», Veltro, есть благословенная Бедность, Общность имущества. Дело великого святого, Франциска Ассизского, — разрешение социальной проблемы, второе чудо Умножения хлебов, начатое в Церкви, — продолжает великий грешник Данте, в миру. Общество человеческое будет строиться в Третьем Завете по образу того, что св. Тереза Испанская называет «Божественным Обществом» Пресвятой Троицы. Все металлы человеческие — церкви, государства, народы, сословия («классы» по-нашему) — сплавит в один нужный для царства Божия сплав всемирно-историческое явление Духа, которое Данте предчувствует как «молнию» Трех.[932]

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут едино. (Ио. 17, 21.)

Только в Третьем Царстве Духа совершится «великий переворот» совсем иной качественно, чем тот, который мы

называем «социальной революцией». Собственники — «богатые, великие, сильные мира сего, — учит Иоахим, учитель Данте, — будут унижены, а нищие, малые, слабые, — возвышены… И увидят они наконец правосудие Божие, совершенное над их палачами и угнетателями».[933]

Только тогда, после великого переворота, наступит «покой субботний», по Иоахимову Вечному Евангелию, — «мир всего мира, pax universalis», по Дантовой «Монархии»,[934] и воздвигнут будет из новых камней, на развалинах старого «Града человеческого — диавольского» (civitas hominum — civitas diaboli, по Августину), «тысячелетнее Царство Святых» — Вселенская Церковь, «Царство Божие на земле, как на небе».[935] Это и будет предсказанное Данте «совершенно неведомое нам», третье «благо».

Каждым биением сердца, каждым дыханием, каждым тройным созвучием стихов — терцин (terzina, значит «тройной — троичный стих»), и всем исполинским тройственным зодчеством «Комедии» — «Адом», «Чистилищем», «Раем», — Данте повторяет бесконечно, бесчисленно, одно-единственное: Три; не Отец, — Один; не Отец и Сын, — Два, а Отец, Сын и Дух, — Три. Это пережить, сделать, и значит узнать — увидеть будущего Данте, чтобы с ним, погибавшим и спасшимся, и нам, погибающим, спастись; потому что, может быть, не только в спасаемых, великих Святых, но и в погибающих, великих грешниках, таких, как Данте и мы, совершается вечное движение Духа, от Иисуса к нам.

Первым исповеданием Трех кончается «Новая жизнь». — «Часто и недаром упоминалось в повествовании моем (о жизни Беатриче) число Девять; то же число имело и в смерти ее великий смысл».[936] Ибо, «в первый час девятого дня месяца, по счислению Аравийскому, отошла от нас душа ее благороднейшая, а по счислению Сирийскому, — в девятый месяц года; по нашему же счислению, — в тот год, когда девять раз исполнилось число совершенное (десять: 10 x 9 = 90, — год смерти Беатриче, 1290)… Ибо этим числом (Девятью) была она сама… Три есть корень Девяти… Если же Три, само по себе, производит Девять, и если начало всех чудес — Три: Отец, Сын и Дух Святой, Три в Одном, то Дама эта была сопровождаема числом Девять для того, чтобы показать, что сама она была Девятью — тем чудом, чей корень есть… единая Троица».[937]

В жизни смертной женщины совершается для Данте чудо Пресвятой Троицы. Тут надо выбрать одно из двух: это или кощунство кощунств, ересь ересей, или в этом религиозном опыте Данте заключена какая-то великая, новая, для нас непонятнейшая и неизвестнейшая истина.

«Новая жизнь» кончается первым явлением Трех, а последним — «Комедия».

Когда третий вождь Данте, св. Бернард, после молитвы за него к Пресвятой Деве Марии, так же исчезает, как два первых вождя, Вергилий и Беатриче, Данте остается один, лицом к лицу с Единым в Трех.

Ни слов мне не хватает, чтоб сказать,
Ни памяти, чтоб вспомнить то виденье.
Как у того, кто чувствует, проснувшись,
Лишь смутное в душе волненье сна,
Но ничего уже не помнит ясно, —
Так у меня почти совсем исчезло
Из памяти то чудное виденье,
Но сладость, им рожденная, осталась…
О, горний Свет, превосходящий все,
Что скудный разум наш постигнуть может,
Верни душе моей хотя немного
Из явленного мне, и даруй силу —
Того огня хотя бы только искру
Векам грядущим передать![938]

Большей власти над человеческим словом, чем Данте, никто не имел; но вот эта власть изменяет ему. Как путник в горах, по мере восхождения на высоты, видит, что кончаются деревья, злаки, мхи, — так видит Данте, что на той высоте, которой он достиг, все человеческие слова кончаются.

Отныне будет речь моя, как смутный лепет
Сосущего грудь матери, младенца.[939]

Но может быть, лучше всех внятных слов выражает этот младенческий лепет благоговейный ужас и восторг перед Неизреченным Светом.

…Таков был этот Свет,
Что, если б от него отвел я очи,
То слепотою был бы поражен.
Но вынести его я мог тем легче,
Чем дольше на него смотрел.
О, Благодать Неисчерпаемая, ты дала
Мне силу так вперить мой взор в тот Свет,
Что до конца исполнилось виденье![940]

Тот же свет осиял и Павла на пути в Дамаск и скольких еще святых: можно сказать, что первичный опыт святости и есть явление этого Света. «Блеск ослепляющий, белизна сладчайшая, — вспоминает св. Тереза Испанская. — Солнечный свет перед этим так темен, что и глаза на него открывать не хотелось бы. Разница между этими двумя светами такая же, как между прозрачнейшей, по хрусталю текущей, отражающей солнце, водою — и темнейшей по темной земле под темным небом текущей… Тот Божественный Свет кажется естественным, а солнечный — искусственным. И так внезапно являет его Господь, что если бы надо было только открыть глаза, чтобы увидеть его, мы не успели бы… Я это знаю по многим опытам».[941]

Дантова опыта не знала св. Тереза, но вот эти два опыта совпадают с такою точностью, что совпадение это делает более чем вероятным их подлинность.

…В той бездне изначальной, я увидел
В одной любви соединенным все
Рассеянное бесконечно в мире…
И понял я, что Бог — простейший Свет…
…Там, в глубине Субстанции Предвечной,
Явились мне три пламеневших круга
Одной величины и трех цветов.
Казалось первый отражен вторым,
Как радугою — радуга, а третий был
Как бы одним огнем, равно дышавшим
Из них обоих. О, как тщетно слово
Пред тем, что мыслью понял я тогда;
Как тщетна мысль пред тем, что я увидел!
О вечный Свет, себе единосущный,
Себя единого в Отце познавший,
Собой единым познанный лишь в Сыне,
Возлюбленный Собой единым, в Духе!
В том круге огненном, что мне сначала
В Тебе казался светом отраженным, —
Когда я пристальней в него вгляделся,
Увидел я внутри, — того же цвета,
Как самый круг, — наш образ и подобье.

«Наш образ», человеческий, в Боге, есть Лик Христа. Вот когда наконец Данте увидел Его, лицом к лицу: увидел, но все еще не узнал и не понял.

И погрузил в Него я взор мой так,
Что был тому геометру подобен,
Который ищет квадратуры круга…
Я все хотел постигнуть и не мог,
Как сочетается тот Образ с кругом,
И как в него он вписан, и зачем.
Вдруг молнией был поражен мой ум, —
Я понял все, но в тот же миг
Потухло все в уме изнеможенном.
И обращала все мои желанья,
Как ровно-движимое колесо,
Опять к себе единой та Любовь,
Что движет солнце и другие звезды.[942]

Две молнии: эта — в конце жизни, и та, в ее начале, в детской любви к Беатриче.

…В тот день, как в мир она пришла…
Я был еще ребенком, но внезапно
Такую новую узнал я страсть…
Что пал на землю, в сердце пораженный,
Как молнией.[943]

Между этими двумя молниями Трех вся жизнь и все творчество Данте.

«Плыл архиерей на корабле по Белому морю и услыхал, что живут на пустынном островке три старца, спасаются, а сами так просты, что и молиться не умеют, как следует. Захотел увидеть их, подплыл к островку, вышел на берег и видит: стоят рядом три старца древних, сединой обросших, — большой, средний и малый, — за руки держатся.

— Как вы Богу молитесь? — спросил архиерей.

И самый древний старец сказал: „Молимся мы так: трое нас, Трое Вас, помилуй нас“. И как только сказал это, подняли все трое глаза к небу и сказали: „Трое Вас, трое нас, — помилуй нас!“

Усмехнулся архиерей: „Это вы про Святую Троицу слышали, да не так вы молитесь“.

И начал их учить молитве Господней. Долго учил, весь день до ночи: старцы были очень беспамятны. Наконец кое-как выучил, сел на корабль и отплыл. Взошел месяц. Стоит архиерей на корме, глядит в море, туда, где островок скрылся. Вгляделся — бегут по морю старцы, корабль догоняют, белеют и блестят их седые бороды. Бегут, рука с рукой держатся; крайние руками

машут, остановиться велят. Поравнялись с кораблем и заговорили в один голос:

— Забыли, раб Божий, забыли твое учение… ничего не помним, научи опять!

Перекрестился архиерей и сказал:

— Доходна до Бога и ваша молитва. Не мне вас учить.

И поклонился в ноги старцам».[944]

Трем «великим богам», Кабирам, — Большому, Среднему и Малому, — совершались в незапамятной древности таинства на о. Самофракии, а на о. Крите, в Кносском дворце-лабиринте баснословного царя-бога Миноса, найдены три глиняных столбика, соединенных в подножии; три голубя сидят на них, по одному на каждом, знаменуя сошествие Трех. Второй дворец Кносса, где найдены столбики, построен за пять веков до Троянской войны (около 1600 г.). Вот когда уже люди поклонялись Трем.[945] Просты были, не умели молиться, как следует, и молились, глядя на три столбика: «Трое Вас, трое нас, — помилуй нас!» И погибая в бурных волнах морских, видели, как в блеске молний, тремя белыми чайками, над черною бездною волн, бегут к ним на помощь три Великих Кабира — Три старца.

В Ханаане, у дуба Мамврийского, явился Господь Аврааму:

Он возвел очи и взглянул, и вот Три Мужа стоят перед ним. (Быт. 18, 2.)

И тотчас узнал он Господа, чье имя — Elohim, «Боги»; Три Бога в Одном. Кажется, оттуда, из Ханаана, и произошло имя Кабиров: Kabru, Великие. А имя вавилонское — Ka-ab-rat: Отец Эа, Мать Иштар и Сын Таммуз. Но люди Сенаара знали их уже в довавилонской, шумерийской, почти невообразимой для нас, как бы допотопной, древности.[946] Им поклонялись и предки Египтян, в столь же бездонной древности, додинастической (VII–VIII тысячелетье): Отец Озирис, Мать Изида, Сын Гор.[947]

Едва человек узнал что-то о Боге и поднял глаза к небу, как увидел Трех. А когда родился на земле Человек, знавший Бога так, как никто не знал до Него и после Него, то вся жизнь этого Человека, от минуты, когда люди услышали из отверзшихся над водами Иордана небес глас Отца: «Ты — Сын Мой возлюбленный» (Мк. 1, 11), и Дух сошел на Сына, — до той минуты, когда Иисус Воскресший сказал ученикам последние слова свои на земле:

Идите, научите все народы, крестя их во имя

Отца и Сына и Святого Духа. (Мт. 28, 19), —

вся жизнь этого Человека была очевидным, всемирно-историческим действием Трех, совершающимся и в жизни всего христианского человечества до «великого отступления» от

Христа, il gran rifiuto, которое, начавшись во дни Данте, продолжается до наших дней.

Увы, мой друг, старо и ново, Веками лжи освящено, Всех одурачившее слово:

Одно есть Три, и Три — одно.

Кто прав, — Данте, знающий, что людям нельзя спастись без Трех, или этого не знающий Гёте — весь мир наших дней? Были, вероятно, в жизни Данте такие минуты, когда он спрашивал себя, кто сошел с ума, — он или весь мир, и когда, может быть, чувствовал то же, что человек в параличе, который, проснувшись ночью в доме, где начинается пожар, хочет вскочить, закричать, и не может и знает, что он, вместе со всеми, глубоко спящими в доме, погибнет в огне. То же чувствуют и в наши дни те, кто понял, что сделал Данте, когда сказал никому непонятное и ненужное: Три.

«Кто сошел с ума — я или мир?» — от этого вопроса, если его услышать и понять, как следует, можно в самом деле сойти с ума, или отчаяться не только в себе и в людях, но и в Том, в Ком отчаяться значит упасть в последний круг ада — в «Иудину пропасть», Джиудекку, где в вечных льдах леденеют предатели, потому что отчаяться в Нем — значит Его предать, как предал Иуда. Если бы мы могли довести до конца то, что начинается в этом вопросе: «кто сошел с ума?» — мы поняли бы, почему полусошедший с ума, полуотчаявшийся Данте замуровал в стену именно последние песни «Рая», где возвещается миру то, над чем посмеется Мефистофель-Гёте — дух всего отступившего от Христа человечества наших дней:

Одно есть Три, и Три — Одно.

Если же Данте все-таки не сошел с ума и не отчаялся, а жил и умер с бессмертной надеждой, то потому, что знал, как бессильны над ним люди в этом главном деле его — благовестии Трех.

Так погубить не могут их проклятья

(и то, что хуже всех проклятий, — мертвый сон в доме, где пожар), —

> Чтоб не спасала вечная Любовь,
> Пока надежда в сердце зеленеет.[948]

Вот для чего Данте, поэт бессмертной надежды, так нужен в наши дни, чтоб не сойти с ума и не отчаяться тем, кто понял, что значит Три.

Так же, как движется тело человека в трех измерениях пространственных, — движется и душа его в трех Измерениях Божественных; так же, как действует закон мирового тяготения

физического на тело человека, — действует и на душу его закон мирового тяготения духовного: вот почему все, кто религиозно движется только в двух измерениях — в плоскости, как будто нет ни глубин, ни высот, — раздавливаются тяжестью или проваливаются в пустоту. Это и происходит с людьми наших дней.

«Страшно много человеку на земле терпеть, страшно много ему бед».[949] Три главных беды: Голод, Рабство, Война. Очень возможно, что, после первой Великой Войны, наступит для всей Европейской цивилизации вторая Ледниковая ночь; но если и в этой ночи где-нибудь, на пустынном островке или в пропастях земли будут молиться три Старца: «Трое Вас, трое нас, — помилуй нас!», то и этого будет достаточно, чтобы возобновилось прерванное всемирно-историческое действие Трех в снова христианском, или уже за-христианском в Третий Завет вступившем человечестве. И если тогда, выйдя из Ада, люди снова начнут восхождение на гору Чистилища, в Рай Земной — в Царство Божие на земле, как на небе, то с каким умилением и с какой благодарностью вспомнят они забытого и почтут презренного Данте, великого благовестника Трех.

Что сделал прошлый или что сделает будущий Данте? Вечный религиозный опыт — догмат о Троице — он раскрыл или раскроет по-новому, «не для созерцания, а для действия». Новое тут именно в том, что догмат этот всегда открывался в созерцании, и только у Данте впервые открывается во всемирно-историческом действии. Цель его можно бы выразить тремя словами, простейшими и понятными для всех, всегда и везде: Мир, Хлеб, Свобода.

Три человеческих муки — Голод, Войну и Рабство — утоляют Трое: Отец, Сын и Дух. Хлеб — от Отца:

взяв (Иисус) семь хлебов и воздав благодарение (Отцу)… дал ученикам… И они раздали народу… И ели (все) и насытились. (Мк. 8, 6–8.)

Мир — от Сына:

мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. (Ио. 14, 27.)

Свобода — от Духа:

Дух… послал Меня… проповедовать пленным освобождение… отпустить измученных (рабов) на свободу. (Лк. 4, 18.)

Кажется, чуткому уху слышно, как бьется сердце Данте — сердце будущего мира: «Мир, Хлеб, и Свобода; Отец, Сын, и Дух, — Три!» Но так же, как налипшие на трансатлантическом кабеле ракушки не слышат вести, передаваемой от одного

материка к другому, — люди не слышат, вот уже семь веков, и сколько еще веков не услышат передаваемого Данте из прошлого в будущее самого непонятного для них, неизвестного и как будто ненужного слова, а на самом деле единственно нужного и единственно спасающего: Три.

notes

Примечания

1

V. N. XXIX.

2

Parad. XXX, 115–126.

3

Goethe. Faust. I, Hexenkueche.

4

De Monarchal. 1, 15 (Opere di Dante, ed. Bemporad. Firenze, 1921, p. 358.

5

Epist. ad Cane Grande, XIII, 15.

Boccaccio, Vita de Dante, XII.

Boccaccio, Vita de Dante, XII.

Voltaire, Diet. Phil. De Sanctis. Pagine Dantesche, 161.

9

Purg. XIV, 10–21.

10

M. Scherillo. Alcuni capitoli della biografia di Dante, 1896, p. 437.

11

«Une amplification stupidement barbare».

12

Nietzsche, Die Goetzendaemmerung.

13

Dante's widerwertige, on abscheuliche Grossheit…

14

Comi. I, III, 5.

15

Exod. III, 5.

16

Inf. I, 7.

17

J. Symonds. Dante, 1891.

18

Purg. XX, 94–96.

19

Purg. XX, 94–96.

20

Inf. I, 10–12.

21

Goethe, Faust, I, Vor dem Tor.

22

Purg. III, 133–135.

23

De Vulg. eloqu. I, VI, 3 — «terris amenlor locus quam Florentìa non existât».

V. N. XIX, Canz. I.

V. N. XIX. Canz. I.: «color di perle ha».

26

Purg. II, III, 114.

27

V. N. XXIII.

28

De Vulg. eloqu. II, VI, 5.

29

Leon Bruni, Vita di Dante-Solerti, 103: «Populе mee, quid feci libi?»

30

De Monarch. I, XII, 6.

31

V. N. I.

32

Inf. XXIII, 94.

E. del Cerro. Vita di Dante, p. 2.

34

Par. XV, 97.

L. Prieur. Dante et l'ordre social (1923).

36

Inf. VI, 61.

R. Davìdsohn. Firenze ai tempi di Dante (1920), p. 452.

L. Bruni. Vita di Dante (Solerti, p. 98).

39

G. L. Passerini. Vita di Dante (1929), p. 37.

Par. XXII, 109 ff.

41

Del Cerro, p. 10.

G. Villani. Chron. (Solerti, p. 3).

43

G. Subodori. Vita giovanile di Dante (1906), p. 10.

F. X. Kraus. Dante (1897), p. 23.

M. Barbi. Dante (1933), p. 7. H. Hauvette. Dante (1919), p. 88.

A. Vellutello. Commento alla D. C. ed. 1564 (Solerti, p. 203).

Com. IV, 11.

48

Par. XVI, 1.

49

Inf. XV, 75.

L. Bruni (Solerti, p. 98).

51

G. Boccaccio. Vita di Dante (Solerti, p. 13).

G. Salvadori, p. 121., M. Barbi, p. 14.

53

Par. XVI, 61.

Inf. III, 61 ff.

G. Salvadori, p. 12.

M. Scherillo. Alcuni capitoli della biografia di Dante (1896), p. 93.

Inf. XXIX, 25.

Rime 78, 4. — M. Scherillo, p. 12.

59

Par. XVI, 16.

Par. XV, 85.

61

Par. XV, 89.

62

Par. XV, 139.

V. N. XXIII.

Scherillo, p. 28. — Paserini, p. 37, 51.

Inf. I. 42., 45.

Purg. XXX, 50.

67

Purg. XXX, 43.

Inf. XXIII, 37.

V. N. XII.

Inf. VIII, 44.

Inf. V, 109.

Passerini, p. 11, 50; Prieur, p. 47.

73

V. N. II.

V. N. II

75

Purg. XXX, 33.

Purg. XXX 34.

77

Purg. XXX, 115.

Rime, 111.

Rime, 67, 57.

Par. XXX, 28.

Boccaccio (Solerti, p. 17).

Par. XXII, 112.

83

Inf. XV, 55.

Mon. I, 1.

Scherillo, p. 499.

L. Bruni (Solerti, p. 99).

Scherillo, p. 450.

G. Sahadori, p. 14.

Conv. II, 13.

F. Buti, ed Gianini, 2, 735.

Landino, 16, 106.

Inf. XVI, 106.

Conv. II, 12.

F. Sacchetti. Novella 114: Dante che tutto vedea.

Тютчев.

V. N. III. — M. Barbi, p. 13.

M. Paleologue. Dante (1909), p. 225 — Scherillo, p. 144.

G.Villani, Cron. VIII, 10.

Scherillo, p. 134.

100

Tesoretto V. 2520.

101

Ariosto, sat. VI:
Senza quel vizio son pochi umanisti,
Che fe a Dio forza, non che persuase
Di far Gomorra e i suoi vicini tristi.

102

Tesoretto V, 2849. — Scherillo, p. 141.

103

Inf. XV, 25.

104

Inf. XV, 82.

105

Conv. II, 6.

V. N. II.

107

V. N. XII.

108

Purg. XXX, 42.

109

Purg. XXX, 122.

Inf. Ili, 51.

111

I del Lungo. Beatrice (1891), p. 13, 58, 67 — E. Lamma. Questioni dantesche (1902), p. 68; 73.

R. Davidsohn, p. 347.

113

V. N. XXII.

del Zungo, p. 3.

A. Bassermann. Dantes Spuren in Italien (Ital. Ubs.), p. 34.

del lungo, 65.

117

V. N. III.

118

Rime 4.

119

V. N. IV.

120

V. N. V.

121

V. N. III.

122

V. N. III.

123

V. N. III.

D. Compagni, Cron. I — F. Sacchetti. Novella 68.

125

F. Torraca, Nuovi studi danteschi (1921), p. 514 — H. Hauevette, p. 96.

126

M. Barbi, p. 191.

127

Conv. IlI, 13.

128

Par. XXVI, 25.

129

R. de Gourmont, Dante, Beatrice et la poesie amoureuse (1922), p. 47.

V. N. XII.

131

V. N. XII.

J. Symonds. Dante (1891), p. 47.

133

Purg. XXIV, 52.

L. Bruni (Solerti, p. 104).

135

G. Villani, Cron. VII, 88.

V. N. III.

V. N. XXIX: «Lo fattore de li miracoli è tre».

138

G. M. Filelfo. Vita Dantis (Solerti, p. 163): Beatricem, quam amasse fingitur Dante, mulierem nunquam fuisse opinor.

139

Passerini, p. 59 — C. Fabricotti. Saggi Danteschi (1929), p. 11. — I. del Lungo, p. 65.

L. Bruni (Solerti, p. 99).

141

V. N. II; XIX.

142

V. N. II.

143

Boccaccio. Vita di Dante (Solerti, p. 54).

Conv. I,1.

145

Rime 29.

F. N. XIX.

Monaci in Studi di fil. rom. V, 205.

R. de Gourmont, p. 28.

149

Andreas Capellanus, De amore (éd. Trojel), p. 280: «maritalis affectus et coamantium vera dilectio penitus indicantur esse diverse et ex motibus differentibus suam sumunt originem».

E. Anitchkof. Joachim de Flore (1931), p. 111.

151

Andreas Capellanus 312: «causa conjugii ab amore non est excusatio recta».

E. Anitchkof, 318.

Ib., p. 99.

F. Tocco. L'Eresia nel Medio Evo (1884), p. 409.

E. Anitchkof, p. 69. — P. de Labriolle. Crise montaniste (1913).

V. N. XXIX.

E. Anitchkof, p. 325.

F. Tocco, 74. —Du Plessis. Coll. iud.: iste mundus est creatus a malo Deo.

F. Tocco, 90, 408.

E. Anitchkoj, 80, 289.

161

Andreas Capellanus, 15.

Ib., 243.

H. Hauvette, 98, 105.

V. N. V.

V. N. VII–X.

166

V. N. X.

V. N. XXXVII.

V. N. X.

169

V. N. XII.

170

Rime 29.

V. N. XXXI.

172

Rime 29.

173

Inf. III, 50.

V. N. XIV.

175

V. N. XI.

V. N. XI.

177

V. N. XX.

F. Torraca, 511 —Я. Hauvette, 363.

179

Inf. V. 126.

Inf. V. 109.

181

Inf.. V, 109.

182

F. X. Kraus, 11 — Choise di Montecassino, S. XIV: «essendosi (Dante) fatto a certo convito in cui trovasi Beatrice, venutagli questa incontro, cadde come mezzo morto e transportato sopra uno letto, vi stette alquanto fuor del sensi».

183

F. X. Kraus: «illa (Beatrice) occurrente sibi per scalas cecidit semimortuus».

184

Purg. XXXI 88.

185

V. N. XV.

M. Scherillo, 314.

187

Rime 67.

F. N. XIX.

189

Purg. XXXI, 133.

190

Purg. XXXII, 5.

191

Par. XVIII, 20.

192

Purg. XXX, 43.

193

Purg. XXX, 55.

Purg. XXXI, 2.

195

Purg. XXXI, 67.

196

Purg. XXX, 79.

197

Purg. XXXI, 47.

198

Purg. XXX, 124.

199

Purg. XXXI, 52.

200

Purg. XXXI, 58.

201

Purg. XXX, 85.

V. N. XIX.

203

V. N. VIII.

V. N. XIII.

del Lungo, 70.

V. N. XXII.

V. N. XXIII.

L. Bruni Solerti, p. 99.

209

Ib., p. 100.

Ib., p. 99.

211

V. N. IX.

V. N. XIX.

213

Inf. XXI, 129.

Purg. V, 85.

V. N. XXIV.

V. N. XXVII.

V. N. XXIV.

F. Torraca, p. 514.

219

Rime 52.

Scherillo, p. 465.

V. N XXVII.

V. N. XXVIII.

Scherillo, p. 365. — A. Bartoli. Storia della lett. it., V, 544.

Conv. II, 2.

225

Boccaccio. Vita di Dante: magro, barbuto e quasi tutto trasformato.

V. N. XXXIII.

Scherillo, p. 388.

V. N. XXXI.

229

G. Villani, Cron/ VII 88 — Scherillo, p. 465.

230

V. N. XXX.

231

V. N. XL.

232

Inf. III, 1.

233

V. N. XXXV.

V. N. XXXVI.

V. N. XIX.

Inf. V, 136.

V. N. XXXVI.

V. N. XXXVII.

V. N. XXXVIII.

V. N. XXXVII.

241

Conv. II.

Inf. I, 7.

243

Inf. I, 34 f.

Pietro Dante. Comment. (1845), p. 489: «in hoc vitio luxuriae fuisse multum implicitum».

245

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 53): «trovo amplissimo luogo la lussuria».

Purg. XXIV, 43. — F. P. Luiso. Chiose di Dante le quali fece el figiuolo (1904).

247

Augustin. Conf. VIII, 7.

R. Davidsohn, p. 351 (Luxuria «quae Dantem omnium morum habitibus rutilantem adulterinis amplexibus venenavit»).

G. Papini. Dante Vivo (Trad, fran.), p. 173.

250

Rime 111.

251

Boccaccio. Commento (ed. Guerri) I, 74: «vicino allo stremo di sua vita».

Ep. IV: «Regnat itaque Amor in me, nulla refragante virtute».

253

Rime 116.

Bartoli, Kraus, Valli, Rossetti etc. etc…

255

Rime 58.

V. N. XIX.

257

Rime 103.

Papanti. Dante secondo la tradizione e i novellatori (1873), p. 193 («Dante, poeta, giaciuto con una meretrice…».

259

Достоевский. «Бр. Карамазовы» III, 3.

260

Purg. XXIII, 46.

Inf. XXX, 130; 148.

Пушкин.

Barbi. Opere di Dante (1921), p. XI.

Augustin. Conf. II, 4.

Purg. XIX.

Purg. XXVII, 8.

V. N. XXXIX.

V. N XLII.

269

Inf. I, 1.

E. Lamma, p. 141, 158 — G. Federzoni. Quando fu composta la Vita Nuova? (1899).

Boccaccio. Commento, p. 91.

Purg. XXX, 46.

Purg. XXX, 73.

Гоголь. «Вий».

Тургенев. «Клара Милич».

276

R. Ortiz. Canzoniero di Dante (1923), p. 115: «Chi siamo? Chi siamo?»

277

A. E. Mariette. Dendérah IV, p. 68–70, pl. 90 — A. Morel. Rois et dieux d'Egypte, p. 136. — W. Budgé. Osiris and the Egyptian Resurrection (1911), p. 94.

278

Д. Мережковский. «Тайна Трех», 1925, 170–200 («Тайна двух в Озирисе»).

V. N. XXXVII.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 19).

281

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 19).

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 19).

283

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 19).

Giannozzo Manefti. Vita Dantis (Solerti p. 121).

285

Petrarca. Epistolae (1601), fol. 445.

Rime 104.

Inf. XVI, 44. — A. Bassermann, p. 38.

«Frullani-Gargani». Casa di Dante, p. 38. — R. Davidsohn, p. 349 — Passerini, p. 152.

289

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 278).

Ib. P. 23.

291

Purg. XXX, 126.

292

Purg. XXXI, 55.

293

Purg. XXIII, 82.

Conv. IV, 28.

E. Anitchkof, p. 354.

Ib., p. 392.

297

Par. XII, 140.

298

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 23): «Senza guardare d'onde s'era partito e dove andava, con abbandonate redine quasi tutto al governo… si diede».

299

Purg. XX, 10.

Inf. 1,194.

301

Par. XXVII, 121.

Vita (Solerti, p. 24): «in due parti perversissimamente divisa».

Tesoretto. V, 166:
«Che già non puo campare
Terra rotta diparte».

Inf. VI, 61.

305

Purg. VI, 83.

Par. XXVII, 140.

L. Bruni (Solerti, p. 101).

Ib., p. 102: «Dante… uomo senza parte».

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 25).

L. Bruni (Solerti, p. 102) — M. Barbi. Dante (1933), p. 228.

311

Inf. III, 1.

M. Barbi, p. 17 — F. X. Kraus, p. 44.

E. Lamma, p. 41; 45.

M. Barbi, p. 17–21; Bul. Soc. Dant. It. VI, 289.

315

G. Villani. Cron. IX, 136.

Ugo Foscolo. Discorso sul testo del Poema di Dante.

317

D. Compagni. Cron. I, 13.

L. Prieur. Dante et l'ordre social (1923), p. 63.

319

Purg. VI, 126.

320

Purg. XXX, 133.

321

L. Bruni (Solerti, p. 29).

322

G. M. Fileljo. Vita Dantis (F. X. Kraus, p. 102): Lucullina suppelex — G. Manetti. Vita Dantis: «Perinde semiprinceps quidam in Republica ob summam ejus elegantiam reguare videbatur».

323

F. Tonaca, p. 518.

Conv. II, canzone.

Par. VIII, 55.

G. Biagi u. G. L. Passerini. Codice diplomatico dantesco (1911). — U. Dorini. Condizione economica del Poeta — Passerini, p. 152.

D. Compagni. Cron I 20. — L. Prieur, p. 53.

Passerini, p. 134 — Barbi, p. 18. — G. A. Scartazzini. Dante (1879), p. 189.

N. Zingarelli. Vita di Dante (1914), p. 35.

Barbi, p. 19 — Passerini, p. 134 — Scartazzini, p. 190. — E. del Cerro. Vita di Dante (1921), p. 62.

L. Bruni (Solerti, p. 102).

Passerini, p. 134. — Scartazzini, p. 190. — E. del Cerro, p. 62 — Barbi, p. 19.

Pierre Gauthier. Dante le Chretien (1930), p. 254.

K. Federn. Dante (1889), p. 168.

N. Zingarelli, p. 35.

Pierre Gauthier, p. 253.

E. del Cerro, p. 60.

Barbi, p. 17.

339

Passerini, p. 125: «Dante Alagherii consuluit, quod de servitio faciendo domino Papae nihil fiat».

Par. XVII, 51.

341

Purg. XXXIII, 34.

342

D. Compagni. Cron. II, 4, Passerini, p. 139, Zingarelli, p. 39, del Cerro, p. 67.

343

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 52): «Se io vo, chi rimane? Se io rimango, chi va?»

D. Compagni. Cron. II, 4.

Pierre Gauthier, 253.

Inf. XIX, 22, 52.

Passerini, p. 140.

Purg. XX, 73.

I. del Lungo. Dell' esilio di Dante (1881), p. 4.

D. Compagni ap. C. Balbi. Vita di Dante (1857), p. 175.

E. del Cerro, p. 68. — Passerini, p. 141.

del Lungo, p. 6.

353

Libro del Chiodo, 1302; I del Lungo, p. 104; Passerini, p. 143; P. Fraticelli. Vita di Dante (1861), p. 147.

I. del Lungo, p. 7.

Ср. пр. 21 — E. del Cerro, p. 72.

G. Villani, IX, 136; «sanz' altra colpa colla detta parte Bianca fue scacciato».

Boccaccio et Bruni (Solerti p. 26, 102).

Ср. пр. 21 — Passerini, p. 144.

359

Par. XVII, 48.

360

Rime 104.

361

Augustin. Contra Academicos I, 1: «occulto quodam ordine regitur».

Par. XXV, 2.

D. Compagni. Cron. ap. C. Balbi. Vita di Dante (1857), p. 180.

Par. XVII, 55.

L. Bruni (Solerti, p. 103) — Passerini, p. 160 — Zingarelli, p. 42.

См. сноску выше.

367

Passerini, p. 164

Par. XVII, 61.

369

Inf. XV, 71.

Ottimo Commanto. Par. XVII, 61 — C. Balbi, p. 246 — Balbi, p. 23 — Papini, p. 89, 254.

Par. XVII, 70 — Passerini, p. 174 — E. del Cerro, p. 88.

L. Bruni (Solerti, p. 103).

Passerini, p. 175.

Conv. IV, 12.

Bassermann, p. 367 — Passerini, p. 182.

Fraticelli, p. 45 — Zingarelli, p. 46.

Zingarelli, p. 44.

378

Boccaccio. Compendio XI; Genealogia XV; Comento, Lez I; Vita (Solerti, p. 27) — Hauvette, p. 161 — Passerini, p. 201.

Par. X, 137.

O. Hecker. Boccaccio-Funde (1902), p. 19, 22 — A. Farinelli Dante e la Francia (1908). I, 95.

381

G. Villani. Cron. X, 136.

Conv. I, 3.

383

Par. IX, 127.

Inf. XXVI, 1.

Par. XXXI, 37.

Vulg. Eloqu. I, 6.

Conv. IV, 27.

Purg. XIV, 124.

389

Inf. X, 22.

Vulg. Eloqu. II, 6.

391

Rime 104.

Ep. II.

393

Purg. XI, 135.

Par. XI, 71.

395

Purg. VIII, 118.

Par. XVII, 88.

Zingarelli, p. 670.

Par. VI, 141.

Conv. I, 2.

Conv. IV, 27.

401

Inf. VIII, 49.

Mon. I, 3: «Intelectu scilicet vigentes aliis naturaliter principari».

G. Paranti, p. 151 (Foclietta, Clarorum Ligurum elogia, p. 254).

Par. XVII, 105.

405

Ср. пр. 41.

Par. XVII, 24.

Inf. XXIV, 52.

Par. VI, 140.

409

Par. XVII, 127.

410

Rime 104.

Vulg. Eloqu. I, 17.

Passerini, p. 206.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 52).

Passerini, p. 199.

«Fuss'io pur lui! ch'a tal fortuna nato, / Per l'aspro esilio suo, con la virtute, / Dare' del mondo il piu felice stato».

Purg. XXVII, 142.

Passerini, p. 245.

Ih., p. 223.

419

G. Villiani. Cron. Vili, 101.

D. Compagni Cron. III, 53.

421

G. Villani. Cron. IX, 53.

Purg. XX, 94.

E. G. Parodi. L'ideale politico di Dante (1921), p. 106.

Inf. XXXIV, 139.

425

Purg. I, 13.

Ep. V.

427

Purg III, 106 — L. Prieur, p. 175.

Scartazzini, p. 390.

Passerini, p. 224 (D. Compagni).

Ep. VII.

Zingarelli, p. 70.

Fraticelli, p. 183.

Ep. VII.

Ep. VI.

Passerini, p. 253.

Там же.

Machiaveli. Istorie fiorentine. Proemio.

Zingarelli p. 74 — Passerini, p. 258.

Zingarelli, p. 75 — C. Balbi. Vita di Dante (1857), p. 345.

L. Bruni (Solerti, p. 103).

Passerini, p. 259 — Balbi, p. 344.

Par. XXX, 140.

Passerini, p. 245; 260.

Pierre Gauthier, p. 232.

Barbi, p. 165 (G. Villani).

Passerini, p. 261 — Zingarelli, p. 76 — Scartazzini, 395 — Kraus, p. 78.

Par. XXX 148.

Par. XXX, 136.

Inf. XXXIII, 49.

L. Bruni (Solerti, p. 104).

451

Mon. I, 1.

Inf. III, 35.

Scartazzini, p. 403.

Ib., p. 412 — Zingarelli, p. 412.

Fraticelli, p. 231 — Passerini, p. 293.

Ib., p. 294.

Ep. XII.

Scartazzini, p. 415 — Balbo, p. 372.

459

Kraus, p. 89 — Zingarelli, p. 79 — Passerini, p. 287.

Fraticelli, p. 253 — Passerini, p. 287.

461

Balbo, p. 375 — Passerini, p. 299 (Rep. ital. script. XXIII, 3).

Rime 108 — Pierre Gauthier, p. 181.

463

Ep. XIII — Passerini, p. 300, Barbi, p. 64.

G. Paranti, p. 140.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 57).

Petrarca. De rebus memorandis II, 3 cap. 46.

Par. XVII, 126.

Petrarca. Senilia X, 2.

L. Bruni (Solerti, p. 104).

Inf. IV, 123.

471

Par. 1,47.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 36).

473

Purg. XXI, 67.

Boccaccio, ib.

Purg. XIX, 40.

V. N. VIII.

Boccaccio, ib., p. 38.

См. сноску выше.

Inf. V, 39 — Conv. IV, 20.

Boccaccio, ib., p. 36.

Ib., p. 51.

G. Villani. Cron. IX, 136.

483

Purg. VI, 61.

Purg. X, 121.

Par. XXIX, 55.

Purg. X, 130.

Purg. XIII, 138.

Inf. VIII, 44.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 53).

Purg. XXXIII, 96.

P. Rajna. Dante e la Lunigiana (1909), p. 233 — Passerini, p. 199.

Ib., p. 284 — Bassermann, p. 246.

493

Par. XXI, 106.

Par. XXV, 1.

Par. XXI, 118.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 28).

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 28).

C. Ricci. L'ultimo rifugio di Dante (1921), p. 50.

Inf. XXVII, 37. — Purg. XIV, 99.

Inf. XXX, 71. — Ricci, p. 142.

501

Inf. V, 97.

502

Inf. V, 91.

503

Ricci, p. 89.

Ib.. p. 160 — Martinetti. Dante a Ravenna, p. 18.

Boccaccio Vita (Solerti, p. 31) — Ricci, p. 161 — C. Schloss. Dante e il suo secondo amore (1923), p. 67.

Petrarca. Epistolae (1601), fol. 445.

Ricci. 75.

S. Muratori. Ravenna (1931), p.44.

509

Par. VI 61.

S. Muratori, p. 39.

A. Bassermann, p. 218 — Ricci, p. 117.

Purg. XXVIII, 19.

513

S. Muratori, p. 16.

Par. XXXI 37.

Ib., 5.

Purg. XXIII, 86.

517

Par XXXIII, 76.

Par. XXII, 133.

V. N. XLI.

Ricci, p. 63 — C. Balbo, p. 415.

Ricci, p. 251–290 — Passerini, p. 116–177.

Ricci, p. 82–86.

Ib.. p. 255, 101.

Passerini, p. 114.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 58).

Ricci, p. 172 — L. Rocca. Di Alcuni commenti (1891), p. 34.

527

Purg. XIV, 20.

Ricci, p. 64. —F. Macri-Leone. La bucolica latina (1889).

«Aligerius scripsit latine eglogas et alia».

Petrarca, Ep. de reb. fam. XXI, 15. — I del Lungo, p. 43.

Passerini, p. 327, 229.

F. D'Ovidio. Studi sulla Div. Com. (1901), p. 76 — M. Scherillo. Alcuni capitoli (1896), p. 216 — Passerini, p. 321.

L. Valli Universo dantesco, p. 351.

E. del Cerro, p. 221.

G. Papanti, p. 47.

Kraus, p. 749 — Ricci, p. 175.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 61).

V. N. XXIV.

Purg. VIII, 1.

Ricci, p. 149 — Passerini, p. 333 — Papini, p. 110.

Phil. Villani. Vita (Solerti, p. 86).

G. Vaiarti, Cron. IX, 136.

543

Ricci, p. 148 — Passerini, p. 334.

P. Federici. Rerum Pomposianarum historia (1781) — S. Busmanti. Pomposa (1881).

Ricci p. 223.

Ib., 136 — Passerini, p. 335.

Inf. XVII, 81.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 57) — Ricci, p. 168 — F. Macri-Leone. Introduzione alla Vita di Dante del Boccaccio (1888), p. CVII: «sotto la veste del leggendario e del maraviglioso qualcosa di vero… si debbe nascondere».

Boccaccio, ib., p. 58 — Ricci, p. 254.

Boccaccio, ib.: «avvenne ch'egli, sanza avere alcuna di lasciarli, si mori».

A. D. Sertillanges. Thomas d'Aquin (1931), p. 161 — E. Bruyne. Thomas d'Aquin (1928), p. 63.

Par. XXXIII, 106.

Inf. II, 31.

Ricci p. 226.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 59).

См. сноску выше

Ib., p. 30 — Ricci, p. 158, 224, 408.

C. Balbo, p. 95.

559

Purg. XXX, 31.

Ep. XIII.

Ep. XIII.

F. de Sancitc. Pagine dantesche (1921), p. 196; Storia leti ital. I, 73.

V. N. XLII.

I. del Lungo, p. 16.

Scartazzini, p. 461.

Par. XXIII, 63; XXV, 1.

Ep. XIII.

Ep. XIII.

569

A. Julicher. Gleichnisreden Jesu (1910), p. 33. — M. J. Lagrange. Evangile de J. Chr. (1930), p. 13.

570

Достоевский. «Бр. Карамазовы», XI, 9.

Jûlicher, p. 118.

Д. Мережковский. «Иисус Неизвестный». II, 3.

Inf. IX, 61.

Ep. XIII.

Purg. XXXIX, 132. — Inf. XXXIV, 37; V, 10; XVII, 14.

Purg. VIII, 19.

Тютчев.

Д. Мережковский. «Тайна Трех» (1925).

Parg. I, 103.

Acta Sanctorum. Oct. II, 742.

581

Purg. XV, 115.

Ep. XIII.

583

Mon. III 16.

Mon. 1,4.

Ep. XIII.

Papini, p. 219.

H. Bergson. L'évolution créatrice III, 293.

Th. Mainage. Les religions de la préhistoire (1921), p. 217.

J. de Morgan, l'humanité préhistorique (1921), p. 69.

590

Д. Мережковский. «Тайна Трех»; «Атлантида — Европа», — Vergil, Ecl. IV, 6.

591

См. сноску выше.

См. сноску выше.

593

См. сноску выше.

Gebhard. Fkademische Abhandlungen, p. 298, 335.

См. сноску выше.

См. сноску выше.

Inf. XX, 46.

Inf. XX, 55.

Vergil. Ecl. IV, 6.

P. Dorme, La religion assyro-babylonienne (1910), p. 294.

601

A. Jeremias. Handbuch der altorient. Geisteskultur (1913), p. 145.

602

Д. Мережковский. «Тайна Трех».

603

Purg. XXX, 109.

Boccaccio. Comm. (Solerti, p. 72).

F. D 'Ovidio. Studi danteschi (1926), p. 361.

Papini. p. 26.

I del Lungo. Beatrice (1891), p. 3.

Purg. XXXII, 4.

609

Par. XXII, 1.

Par. XXXIII, 1.

Inf. II, 31.

612

Par. XXVII, 139. — C. A. Fabricetti. Spunti ed appunti su Dante Vivo di G. Papini (1933), p. 29.

613

Inf. III, 60.

Conv. II, 6.

615

Inf. XXV, 125.

Inf. XXX, 61.

617

Д. Мережковский. «Тайна Трех».

Eduard Meyer.

A. Moret.

Thomas Aqu., Eth. I, 1.

621

Pascal. Penseés.

Par. XXX, 40.

623

Inf. V, 88.

Conv. 1, 20.

625

Inf. IX, 82.

Purg. XVI, 1.

Inf. XII, 77.

Inf. XXXIII, 1.

629

Inf. XVII, 48.

Inf. IX, 76.

631

Purg. XXVI, 34.

Par. XXI, 34.

633

Inf. XV, 18.

Par. XVIII, 42.

Inf. XXX, 22.

Inf. XXV, 79.

Augustin. Sermo, 40.

638

Pascal. Penseés, 420.

«Избр. места из переписки с друзьями».

Purg. I, 13.

Boccaccio. Vita (Solerti, p. 37).

Par. X, 139.

J. Symonds. Dante (1891), p. 216.

Purg. XII, 88.

Ottimo Commento (1827) I, 183.

Purg. VIII, 4.

Heraklit, fr. 64; 8.

Heraklit, fr. 64; 8.

Conv. II, 14.

Par. XXXIII, 133.

651

V. N. XV.

652

Rime 67.

653

Purg. XXXI 88.

Purg. VI, 118.

655

Purg. XXXIII, 141.

H. Bergson. Les deux sources (1932), p. 334.

Purg. XXX, 109.

Inf. V, 100.

659

Inf. V, 75.

Purg. XXX, 48.

Inf. V, 139.

M. Barbi — Bull. Soc. Ital. Dant. XXV, 60. — C. Grabherr. La Divina Commedia (1936), II, 64.

663

Purg. V, 130.

Inf. X, 58.

665

Inf. V, 72.

Inf. V, 109.

Inf. X, 2.

Inf. XXXIII, 77.

669

Достоевский. «Братья Карамазовы», VI, 3.

Augustin. Conf. VII, 7.

Ib., Ill, 7.

Inf. Ill, 5.

Augustin, Civ. Dei XXI, 12.

Augustin. Don. persev. 16; Enchir. 99.

Augustin. Op. imperf. III, 24.

M. Paléologue. Dante, p. 259. — C. A. Fabricotti. Saggi danteschi (1929), p. 150.

677

Inf. XXXIV, 121 — M. F. Flamini. Insignificanti reconditi (1903) I, 96. — H. Hauvette, p. 227.

Inf. X, 97.

Inf. III, 46.

Inf. III, 126.

Inf. XXXIII, 12.

Inf. I, 10.

683

Inf. III, 136.

A. R. Hoornaert. Sainte Thérèse ecrivain (1925), p. 286.

685

Purg. XX, 94.

Par. XXVII, 57.

Par. XXI 135.

Par. XXII, 14.

Inf. VIII, 44.

Thomas Aqu. Summa th. I, 2 q. 49 a. 2.

691

Par. XXIX, 55.

Purg. XII, 24.

Inf. XXXIV, 55.

Inf. XXIV, 108.

Inf. V, 34; XII, 4; XXIII, 136.

Inf. XXI, 106.

Purg. VIII, 97.

Purg. XXXII, 129; XXXIII, 34.

Par. XXVII, 19.

700

М. Ю. Лермонтов.

701

Inf. II, 1.

Inf. V, 72.

703

Inf. XX, 28.

Inf. III, 22.

Inf. XXIX, 1.

Inf. XXIX, 46

Inf. XXXII, 97.

Inf. VIII, 31.

Inf. XXXIII, 91.

Inf. VI, 82.

Inf. XVI, 46.

Inf. X, 22.

713

Hymn. Orph. XXXVI.

Inf. XIV, 28.

Inf. V, 65.

Inf. XVIII 83.

Inf. XXVI, 136.

Inf. V, 105.

Inf. V, 116.

Inf. V, 109.

Inf. X, 2.

Inf. IX, 123.

723

Inf. XXV, 1.

Schelling. Philosophie der Offenbarung. p. 359.

Inf. XXXIII.

Conv. II, 5.

Purg. V, 98.

Purg. Ill, 118.

Par. XXXIII, 140.

G. Dolman. Jesus-Jeschua, p. 157.

Prat. Origène (1907), p. 105. — Orig. De princ. 3 1 21; C. Gels. 7, 3; In Matth. 13, 2; In. Joh. 1, 16.

Denzinger. Enchridion, 211.

Tixeront. Histore des Dogmes (1931), II, 200; 231. — Greg. Nyss. Katech. Rede 26, 35, 40; Seele und Auferst. 72, 104, 105, 157.

Conv. III, Ganz. II.

Conv. III, 15.

Par. XXIV, 139.

Par. XXIV, 142.

Augustin. Conf. III, 6.

Par. XXII, 107

Don. III, 16

Zipgarelli, p. 88.

Papini, p. 101.

Gauthier, p. 254.

Mon. III 16

745

Kraus, p. 757.

Purg. XVI, 106; 127.

Mon. III, 15.

Mon. III, 10.

749

Mon. III, 8.

Mon. III, 13.

751

Mon. III, 3.

Conv. IV, 4.

Conv. IV, 5

Mon. II, 11

Mon. II, 12.

Inf. XXVII, 122.

Par. VI, 32.

Par. XIX, 100.

Par. XXV 41.

Mon. II, 1.

Ep. VI.

Ep. VII.

Purg. XXXIII, 37.

Conv. II, 14.

Mon. III, 16.

Augustin. Conf. VIII, 5.

Ib., X, 30.

Ib., VIII, 10.

769

Д. Мережковский. «Иисус Неизвестный», III, 9.

Vulg. Elodu. I, 6.

771

Inf. V, 91.

Mon. I, 4.

Conv. IV, 4.

Mon. I, 12.

Par. XVII, 51.

Rime, 104.

777

Kraus, p. 765.

C. Balbo, p. 431.

Ep. IX.

Purg. XX, 10.

781

Par. XXVII, 140.

Par. XXI, 135; XXII, 1.

Par. XXVII, 7.

Par XXVII, 57.

Purg., XXXIII 6.

E. Buonaiuti. Dante come profeta (1937), p. 1— Papini, p. 73; 230 — Urbertino da Casale. Arbor vitae crucifixae V, 9.

Par. XII, 140.

Papini, p. 225 — E. Bohmer. Jahrb. dtsch. Dante Ges. II, 363 — P. Cassel II Veltro (1890).

Exp. in Apocal., fol. 83.

Ib., fol. 194, — Denifle. Arch. Lit. Kirch Gesch. I, 119.

791

P. Fournier, Joachim de Flore (1909), p. 9 — Super IV Evangelia fol. 186, 200.

E. Buonaiuti. Gioacchino da Fiore (1921), p. 164.

Paluoloque p. 166.

Par. XVII, 127.

Purg. XIX, 130.

Gathier, p. 255 — Federn, p 169.

Purg. XX, 86.

Par. XXV, 52.

Purg. XXVII, 126.

800

Mon. I, 3.

801

Conv. I, 1.

Conv. IV. Canz. III.

803

Passerini, p. 268 — Zingarelli, p. 53.

Conv. II, Canz. I.

805

Inf. I, 3.

Inf. I, 77.

«scripturas… teologiae… omissas»

Conv. II, 12.

Conv. I, 2.

Conv. II. Canz. I.

II, 15.

812

Inf. X, 61.

813

V. N. XXXVIII.

V. N. XXXVII.

815

Mon. III, 16.

Conv. IV, 7.

Conv. I, 1.

818

Actus. B. Francisa, ed. Sabatter, p. 183 — Opuscula. S. Francisci, p. 66 — M. Beaufreton. S. François d'Assise (1925), p. 41 — Thomas da Celano. Vita secunda II, 71.

819

См. сноску выше.

820

См. сноску выше.

821

Conv. IV, 23.

822

IV, 6.

Papini, p. 162 — M. Scherillo. Alcuni capitoli (1896), p. 487.

Inf. XI, 81.

825

P. Mandonnet. Dante le theologien.

Purg. I, 71.

827

Mon. II, 4.

Conv. IV, 28.

829

De tribus impostoribus — Epistola sine titulo.

См. сноску выше.

831

Inf. IV, 112.

E. Gebhart. L'Italie mystique (1928), p. 325.

833

Par. X, 136.

Inf. XXVII, 123.

Conv. IV, 27.

Purg. XIX, 19.

Conv. IV, 27.

Conv. IV, 28.

839

Достоевский. «Бр. Карамазовы», XI, 9.

Augustin. Conf. II, 6.

841

Conv. II, 2.

V. N. XXXVIII.

Inf. III, 34.

Augustin. Conf. VII, 7; De trin. XV, 50.

845

L. Prieur, p. 27.

Inf. XXXIV, 76.

847

Inf. XXVI, 112.

Purg. I, 13.

849

Purg. I, 22.

R. Fornaciari. Studi di Dante (1901), p. 102 — G. Finali. Colombo e il viaggio d'Ulisse (1895) — A. Chiapelli, Trilogia di Dante (1905), p. 58 — H. Hauvette, p. 281, 359.

851

Inf. XXXII, 2, 73. XXXIV, 110. — C. A. Fabricotti. Saggi danteschi (1929), p. 150 — M. Paléoloque, p. 259.

Par. XXX, 1.

853

Purg. XXVII, 1.

Purg. II, 7.

855

Par. XIX, 7.

Mon. I, 1.

Conv. II, 12.

Conv. III, Canz, II.

859

Purg. III, 34.

Par. XXX, 40.

Par. XXXIII, 137.

862

Purg. VI, 118.

863

V. N. XII.

Conv. II, 8.

Joh. Jorgensen. Frans af Assisi (Frz. Ubs., 1912), p. 106.

W. Bauer. Leben Jesu (1909), p. 384.

867

Par. XXV, 113.

Purg. XXIX, 107.

869

Purg. XXXII, 101.

Inf. XXXIV, 55.

Papini, p. 150, Scartazzini, p. 266.

Par. VI, 32; XVIII, 107 — L. Valli. Chiave della Div. Com. (1925), p. 11, 38.

Ib., p. 34.

Ib., p. 36, 39 — Ders. Struttura morale dell'universo dantesco (1935). — G. Pascoli. Minerva oscura (1917).

Par. VI, 88.

Papini, p. 167.

Par. XXVI, 24.

Inf. 111,60.

Par. XIX, 70.

Par. XIX, 103.

881

Inf. V, 109.

Par. XX, 121. — M. Scherillo. Alcuni capitoli (1896), p. 465.

883

Purg. VII, 7.

Purg. III, 40.

885

Purg. XXI, 16

Inf. IV, 25.

Purg. XXII, 67.

Purg. XXX, 43.

889

Par. XXIII, 49.

Par. XXIII, 19, 28, 70.

891

Papini, p. 176.

Par. XXXII, 85.

V. N. XLI.

H. Hauvette, p. 195, 267.

895

Purg. XX, 122.

Purg. XXX, 28.

897

Par. I, 74.

Par. VII, 113.

899

Par. I, 46; 91.

Purg. XXVII, 121.

901

Par. XXX, I, 85.

902

Mon. I, 12.

903

Par. V, 19.

Exp. in Apocal., fol. 94; Concordia V, 84.

905

Hieronymus. In Mich. VII; In Jes. XL, 12; In Ezech. XVI, 13 — A. Resch. Agrapha (1906), p. 238.

Par. XXII, 1.

907

Par. I, 100.

V. N. XXXIV.

Par. XXX, 124; XXXI, 1.

910

XXXII, 1.

Conv. II, 12.

Conv. III, Canz. II.

913

Rime, 69.

Papini, p. 76, 180.

Par. XXIII, 88.

Par. XXXI, 102.

A. Martin. S. Bernard, p. 10.

Par. XXXIII.

919

Par. XXXI, 55.

Purg. XXX III, 4.

921

Purg. VI, 117.

Inf. I, 94.

923

Par. XXVII, 121.

Purg. X, 10.

925

Kraus, p. 511 — H. Hauvette, p. 175.

Osser. Rom. 31. 1. 1937. Papini, p. 226. — L. Filomusi Guelfi. L'allegoria del poema di Dante (1910), p. 26.

927

Kraus, p. 476 — Papini, p. 282, 286.

Exp. in Apocal. fol., 183.

Augustin. Civ. Dei XIX, 17; Sermo, 285; Ad Joh. VI, 25.

См. сноску выше.

931

См. сноску выше.

Par. XXXIII, 140.

Exp. in Apocal. fol., 199.

Mon. I, 4.

Exp. in Apocal. fol. 83.

V. N. XXVIII.

V. N. XXIX.

Par. XXXIII, 55, 106, 76.

939

См. сноску выше.

См. сноску выше.

941

M. Bouix. Vie de Sainte Thérèse (1923), p. 300.

Par. XXXIII, 115.

943

Rime, 67.

944

Толстой. «Три старца».

A. Evans. Palace of Minos at Knossos (1921), p. 222.

Th. Friedrich. Kabiren und Keilinschriften, p. 91.

Plutarch. Isis und Osiris.

Purg. III, 133.

949

Достоевский. «Братья Карамазовы». III, 3.